

ISSN 0132-0637

Октябрь

8 1998

1998

8

Октябрь

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1998

АВГУСТ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ХАЗАНОВ. Далекое зрелище лесов. Роман	3
Послесловие. Несколько вопросов Борису Хазанову ..	71
Ирина ЕРМАКОВА. Белый звук. Стихи	73
Александр ВЯЛЬЦЕВ. Люди из ущелий. Записки бродячего человека ..	76
Сергей СОЛОУХ. Картинки	96
Маргарита ШАРАГОВА. Два рассказа	114

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Геннадий ШПАЛИКОВ. Предисловие к празднику. Страницы дневника. Стихи. Публикация Дарьи Шпаликовой. Подготовка текста Ларисы Омелькиной	136
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Ирина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА.
Дети, отцы и деды 161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Анатолий НАЙМАН.
Паладин поэзии 177

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Маканин и Цветков ищут героя «внизу»

Алексей ЦВЕТКОВ.
Герой рабочего класса 184

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Обратная сторона солнца 187

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 189

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **В. В. ПУХАНОВ** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.06.98. Подписано к печати 27.07.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9250 экз. Заказ № 2197. Цена 16 руб. 50 коп.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,

ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —

214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Далекое зрелище лесов

РОМАН

I

Не так уж далеко пришлось ехать, но, когда свернули с шоссе, стало ясно, что и к обеду не удастся добраться до места. К четырем стихиям классической древности следовало бы добавить пятую — грязь. Чтобы облегчить экипаж, пассажир вылез и хлопал рядом по топкому лугу, между тем как водитель, плохо различимый за мутным стеклом, героически вращал баранку, качаясь и сотрясаясь в ревущей машине, и как-то даже не прямо, а косо продвигался по чудовищному проселку.

Прибыли в пятом часу. В кепке и брезентовом армяке, в резиновых сапогах путешественник напоминал сельского чиновника: бухгалтера, заготовителя или агронома. Как свидетельствует исторический опыт, администрация долговечней тех, кто является объектом администрирования, и в принципе нетрудно представить себе колхоз без колхозников.

Путешественник взошел на крыльцо, попробовал оторвать от двери приколоченную наискось доску. Дом был куплен за бесценок у родственницы бывших хозяев. Без формальностей: я тебе деньги, ты мне ключ. Дом, в сущности, не принадлежал никому. Водитель вытащил из багажника ломик, отодрали доску, отомкнули скрежешущий замок. В полутемных сенях справа находились чулан и вход в сарай. Слева низкая разбухшая дверь вела в избу. Глазам приезжего предстала отгороженная печью от жилой половины кухня, в углу на табуретке стояла бочка с зацветшей водой, плавал ковш; висела полка с посудой; на плите под закопченным печным сводом стояли чугуны, жестяной чайник; из печурки торчал ухват. Здесь было все необходимое для жизни, лишь сама жизнь исчезла. Низкое окошко, затянутое паутиной, смотрело в огород.

Что касается собственно жилья, то оно представляло собой сумрачную, довольно просторную комнату, лавок не было, дощатый стол был придвинут к одному из двух окон, деревянная кровать завалена тряпьем, в углу полка, где когда-то стояли иконы, к потолку привинчены крюки. На стене обрывки плакатов и часы-ходики. Приезжий толкнул маятник. Маятник покачался и стал. Он попробовал подтянуть гири, цепочка с гирей оборвалась, упали на пол ржавые стрелки. Он приладил их кое-как. Тем временем шофер сорвал доски, прибитые снаружи к наличникам, распахнул ветхие ставни, в горнице стало светлей. На численнике, как называли здесь отрывной календарь, стояла старинная дата: возможно, день смерти.

И, собственно, больше ничего не было известно о хозяйке; родственница, давно жившая в городе, позабыла степень родства и не знала, сколько лет было старухе, которая доживала здесь свои дни, да, кажется, здесь и родилась. Или пришла из заречной деревни, робкая, круглолицая, восемнадцати лет переступила впервые этот порог. Приезжий, как был, в армяке и заляпанных сапогах, уселся на табуретку. В окна ненадолго заглянуло выбравшееся из-за туч солнце. Он оглянулся: часы стучали как ни в чем не бывало, часы шли, под окном журчал дождь, сыпал снег, река вздувалась, поднялись над почернелыми лугами ледяные, желтые от навоза дороги, земля расступилась, вода сошла, земля подсохла и оделась травой. Одна беременность следовала за другой, с крюков

свисали на веревках люльки. Лил дождь. Воды вышли из берегов. Сидя посреди избы, как на камне, приезжий окунал ноги в холодный поток; он не старался вообразить, кто здесь жил, зачинал детей, что происходило, а скорее созерцал свое воображение и вспоминал то, чему никогда не был свидетелем. Река несла прочь обломки жизни, предметы, лица. Все плыло и уносилось, и постепенно воды очистились и засверкали на солнце, это была чистая и свободная от воспоминаний стихия памяти.

Снаружи урчал мотор. Путешественник вышел. Водитель хлопнул капотом машины. Водитель был двоюродный брат приезжего и номинальный владелец дома. Куда ты торопишься, перекусим, сказал приезжий. Может, останешься на ночь? Нет, отвечал брат, я поеду через Ольховку; дальше, зато по грунтовой дороге. Он внес в избу корзину с провиантом. Приезжий из города тащил следом свой чемодан и плетеную бутылку с керосином. Они обнялись, словно капитан и моряк, которому предстояло жить на необитаемом острове.

II

С тех пор, как бессмысленность моего образа жизни стала для меня очевидной, я понял, что не могу продолжать свое существование, не исполнив того, что предстало передо мной сначала издалека и в тумане, затем все ближе и все настойчивей.

Если я упоминаю о моих прежних занятиях, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что с прошлым покончено. Прошлое — и в этом, быть может, состояло его единственное оправдание — было не чем иным, как бессознательным приурочиванием к труду, ради которого мне понадобилось сломать привычную жизнь. Я вправе назвать этот труд моим *Magisterium magnum*. Нижеследующее докажет, что я не зря изъясняюсь столь выпендренным языком, недаром употребляю этот алхимический термин: да, мне предстоял особого рода подвиг напоподобие тех, к которым готовились, изнуря себя постом и укрепляясь молитвой, посреди перегонных аппаратов, плавильных печей и реторт. У меня, разумеется, не было реторт, у меня была чернильница. Дабы совершить задуманное, я должен был погрузиться в одиночество и тишину, короче говоря, я должен был ехать.

В сумерках я вышел на крыльцо, погода разведрилась, надо мной блистало огромное синее и серебряное небо. Дом стоял на краю деревни или того, что от нее осталось. Соседняя завалившаяся изба, очевидно, была давно уже брошена, дальше вдоль улицы, если можно было назвать ее улицей, темнело несколько строений. Справа за околицей дорога, по которой мы прибыли, спускалась с бугра, и низко над ним сияла Венера. Стояла тишина, какой я в жизни не слышивал.

Впереди за дорогой расстилалась пустошь. Я знал, что дальше за пустошью должна быть речка, но не мог в полутьме отличить прибрежные заросли от далеких лесов на темном горизонте. Внезапно что-то пронеслось с легким присвистом, метнулось вровень со мной в темно-блестящих, как слюда, окнах моего жилья, что-то вздохнуло и слабо вскрикнуло вдаль. Не могу сказать, сколько времени просидел я на ветхих ступеньках моей жижины, очарованный тишью померкших небес. В комнате было так темно, что я вошел, простирая руки, как слепой, затем во мраке проступили окна, на стене белел календарь, и чье-то тело покоилось на кровати. Ибо на самом деле я уже лежал, словно умерший, накрытый ватным одеялом, умерший для самого себя — того, прежнего, в моей бывшей жизни. И, повернувшись на бок, я закутался в ветхое тряпье и уснул.

Прошло совсем немного времени — с этим ощущением я пробудился. Но было уже светло. День стоял в низких окнах сумрачного жилища. Человек, ныне пишущий эти строки, с трудом себя узнающий, как змея, сбросившая кожу — я и не совсем я, — прошлепал босиком в сени, мучительно зевая, вышел на крыльцо — солнце пылало за домом, на клочковатой траве перед избой, на изрытой, подсыхающей дороге лежала угластая тень. В майке, с полотенцем через плечо, словно дачник, в башмаках на босу ногу носовел пробирался по влажной тропинке среди путаницы побегов: пустошь, затянутая ползучим сорняком, в синих искрах росы, была колхозным огородом. Поле было обширнее, чем казалось, глядя с крыльца, как будто тени удлинители его, кое-где глинистая

почва обнажилась, попадались кустики свеклы, под конец тропинка пропала в густой траве. И когда, стуча зубами от холода, шуруша мокрыми брюками, я выбрался из зарослей и увидел внизу нечто вспыхивающее огнями, зыбкое и ослепительное, то засмеялся от счастья.

Окунувшись в ледяную воду, я тотчас потерял дно под ногами; речка была неширокая, мутная, течение сносило пловца. С некоторым усилием я приблизился к противоположному берегу, почувствовал под ногами топкое дно и, размахивая руками, в темной медленной воде между ветвями ивы добрался до подмытого рекой берега. За деревьями расстился солнечный луг. Я дрожал от озноба, мне было необыкновенно весело, голый, как дикарь, я прыгал и бегал взад-вперед по лугу, хлопал себя по бокам, испуская нечленораздельные звуки. Я шел вдоль обрывистого берега, высматривая свою одежду на другой стороне; течение отнесло меня довольно далеко. Река сделалась уже, темней, я давно прошел место, где бросился в воду. Солнце согрело меня. Я приблизился к роще. Первопроходец вошел в лес. Поток перегородило упавшее дерево, снизу за него уцепились растения, и блескучая вода неустанно расчесывала зеленые пряди.

Я вернулся и вскоре увидел на другом берегу, на песке свое полотенце. Надо было поторапливаться; немного спустя я шагал по огородному полю; отсюда была видна вся деревня.

III

Следовало немного убраться в избе, я отложил это скучное занятие на другое время. Я и так уже потерял много времени. Вместе с тем я заметил, что день еле движется. Было все еще раннее утро.

Обыкновенно я начинаю работу с того, что пишу, не забывая о стиле, как Бог на душу положит; стараюсь лишь следовать ходу своих мыслей, хотя, по правде говоря, неизвестно, что от чего зависит. Некоторые представляют себе дело так, что сперва в голове у писателя рождается что-то такое, сюжет или «замысел», а потом он садится за стол, но я-то знаю, что никакого сюжета у меня в голове нет, а просто я надеюсь, что процесс писания разбудит мысль. Старомодно-выспреннее выражение «взяться за перо» в моем случае означает то же, что рвануть пусковую рукоятку, потому что сам собой мотор не заводится. Я чувствую отвращение и страх, чуть ли не ужас перед чистым листом бумаги, похожий на ужас, который испытываешь на краю глубокой ямы, мне кажется, что я забыл все слова, мною владеет суеверие, я думаю лишь о том, чтобы заполнить эту пустоту, забросать яму — не важно чем.

Я заранее знаю, что почти все, что я нацарапаю на этом листе — я пишу только пером, — никуда не годится и будет порвано в клочки, вышвырнуто в корзину, словно в помойное ведро, с бранью и улюлюканьем; да, мне случалось и топтать ногами мое детище, и осыпать сочинителя вслух непристойнейшими ругательствами; и все же я знаю, эти мелкие строчки (как все близорукие люди, я пишу бисерным почерком) будут для меня утешением, доказательством, что я что-то сделал; ибо я ненавижу приниматься за дело.

Из сказанного видно, что было время, когда я относился к своей литературе всерьез. Мною написано несколько повестей и три романа, из которых, правда, ни один не удостоился быть напечатанным. Обычная история: редакции либо ничего не отвечают, либо ссылаются на переполненный портфель; если же я набирался отваги навестить самому этих господ, то обыкновенно выслушивал кислые комплименты, человек листал рукопись, говорил, что он в общем-то «за», из чего следовало, что кто-то другой был против. Если бы вы согласились, говорил он, кое-что сократить, я, например, нахожу вступительную часть излишней.

Потеряв терпение, я как-то раз возразил, что Флоберу один приятель предлагал выкинуть всю первую часть его романа, вплоть до свадьбы Эммы с доктором Бовари; редактор скучно поглядел на меня и спросил: в самом деле?

Любопытно, что в этих переговорах никогда не вставал вопрос об идеологической неполноценности моих творений. Редакционные чины делали вид — возможно, старались убедить самих себя, — что действуют исключительно из эстетических соображений или, как выразился кто-то из них, «в ваших же интересах». Находили ли они в моем творчестве явный идейный изъян, оставалось неясным; впрочем, это малоинтересная тема.

Итак... я уселся за стол, тень перед домом приблизилась к завалинке. И часы, несмотря на то что маятник по-прежнему висел неподвижно, обнаружили косвенные следы жизни: лишь теперь я заметил, что стрелки за ночь каким-то образом передвинулись.

Я ждал — можно было бы сказать: ждал вдохновения. Но по крайней мере в моем случае — а теперь в особенности — этот термин был неуместен. То, о чем идет речь, не имело ничего общего с литературными упражнениями. Полный решимости взяться за труд, в торжественном ожидании я сидел над девственно-белым листом бумаги. Мысли переполняли меня, и оттого, быть может, я не знал, с чего начать. Я встал — лучше сказать, мое тело поднялось и вышло через сени в огород. Там рос бурьян, и, собственно, никакого огорода давно уже не было. У задней стены дома под куском толя сложена была поленница, серые и обросшие мхом отличные дрова, — я мог готовить себе пищу на печи. Сколько времени я собирался прожить в деревне? Это, как говорится, зависело. Но, как я уже имел случай отметить, время текло здесь иначе. Мы говорим «течет», другими словами, обладает известной скоростью, однако время само по себе — детерминант скорости; отсюда приходится заключить, что скорость движения времени есть не что иное, как отношение времени к какому-то другому времени. К какому же? К моему собственному.

Существуют, следовательно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-плывущее, подобное мертвой зыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще. И другое, тайное, подлинное, присутствующее только мне. Надо было поселиться в заброшенном доме и увидеть на стене часы с умершим маятником, чтобы осознать мнимость внешнего времени. Вслушаться, уловить в тишине, как струится другое время... Такие соображения показались мне очень оригинальными, я подумал: почему бы с этого не начать? Как вдруг что-то донеслось с улицы, смешав мои мысли. Внешний мир вторгся в мое одиночество. Робинзон услышал плеск пиратских весел, рокот сторожевого катера.

Из-за плетня я наблюдал за тем, как через бугор перевалило страшилище. Гигантский облепленный грязью механизм на платформе с восемью парами колес с мучительным ревом, выбрасывая облака ядовитого дыма из двух выхлопных труб, двигался по разбитой дороге — куда? зачем?

Машина остановилась. Водитель в засаленной кепке, с лицом, почернелым от грязного пота, что-то кричал со своего сиденья, может быть, спрашивал дорогу; ничего не было слышно из-за тарахтенья мотора. На всякий случай я помотал головой. Он крикнул что-то, я развел руками. Водитель сплюнул, покрутил пальцем около лба и схватился за руль.

Грохот постепенно слабел, заблудившийся монстр ехал по деревне. Вернувшись к себе, приезжий окунул перо в чернильницу и начертил на первой странице в правом верхнем углу эпитафию. Прекрасные старые стихи умершего добрых сто пятьдесят лет назад немецкого классика. Эпитафия заключал в себе двойной умысел: тонко намекал на мой замысел и вместе с тем обязывал пишущего волей-неволей подстраиваться к своему торжественно-мерному ладу. После чего я проставил, как в дневнике, число и месяц. Дата вынуждала к продолжению.

С пером наготове я впери́л взор в пространство, и понемногу во тьме моего мозга проступило мое собственное изображение: так смотрит из омута сквозь толщу воды призрачно-белый лик утопленника.

Я подумал о том, что задача моя ни в коей мере не сводится к тому, чтобы сгрести в кучу щебень воспоминаний, к описи старого хлама; это был бы лишь первый шаг. Автобиография — почтенный жанр, есть заслуживающие внимания образцы, но то, что я должен был совершить, никогда и никем, быть может, не предпринималось. Пишущий историю своей жизни, как и вообще человеческую историю, обыкновенно старается не думать, что было потом; ему кажется, что подлинность минувшего от этого пострадает. Мне же предстояло прошагать заново весь мой путь, но уже не вслепую; я знал, куда он ведет; весь путь был известен заранее, словно передо мной лежала географическая карта моей жизни, я видел каждый изгиб дороги и каждый поворот, видел земли, через которые она пролегла, и должен был продумать все упущенные возможности, подвести итоги, свести счеты. И хотя я вовсе не собирался возвращаться к «литературе», еще менее предназначал мое сочинение для читателей, мысль о том,

что я создам парадигму человеческой жизни, так сказать, Автобиографию человечества на примере одной-единственной, не ускользнула от меня, мысль эта маячила на горизонте сознания. Я убеждал себя, что не это главное.

Главное было понять, в чем состоял смысл моей жизни, понять, что это значит: смысл жизни. Обозреть хаотическое прошлое — не значило ли это обнаружить в нем скрытую логику, тайную принудительность, о которой мы не догадываемся, пока живем? План, которому мы следуем, но о котором нам ничего не известно. Другими словами, я должен был сам внести в мою жизнь смысл — и, может быть, на этом ее и закончить. Я понимал, что имею дело с процедурой, напоминающей обмывание и одевание покойника перед тем, как уложить его в гроб.

IV

Может статься, что и живем-то мы в конце концов ради того, чтобы отдать себе отчет в прожитой жизни, увидеть ее во всем ее стыде и позоре — и тогда, быть может, честное разбирательство покажет, что она была все-таки не такой уж постыдной, дрянной и никчемной. Это была работа на долгие месяцы, если не на годы. Я не собирался приукрашивать свое прошлое — вот уж нет! Я должен был тщательно припомнить обстоятельства моего детства, прежде чем взяться за юность, должен был прочесть юность, прежде чем перейти к дальнейшему. Не говорю к зрелым годам, ибо юность сменилась деградацией. Да, я был обязан прошипионить за самим собой во всех закоулках и темных углах, проследить во всех подробностях, как рождалось, и металось, и постепенно гнуснело мое «ненавистное Я», le Moi hâisable, как говорит Паскаль. Это была долгая работа, но, как уже сказано, с одним чрезвычайно выигрышным условием: я знал, что будет дальше, чем все кончится, и мог перелистать свою жизнь от начала до конца и с конца до начала. И это знание давало мне в руки изумительный инструмент прозрения. Не есть ли это высший закон писательства?

Я смотрел на дверь, постепенно до моего сознания дошло, что кто-то пытается ко мне войти. Положительно день был неудачный для работы. Только было начал я разбираться в своих мыслях, ловить, как рыбу в воде, мелькавшую передо мной первую фразу, как меня вновь отвлекли.

Произошло это в ту минуту, когда, уже готовый приняться за писание, я вдруг передумал, мне пришло в голову, что предварительно следовало бы изложить то, что известно о моем происхождении. Тут исходная информация была крайне скудной; я мог кое-что рассказать о моих родителях, но уже предыдущее поколение было погружено в тень. Простая мысль подсказала мне решение: не зная ничего или почти ничего о прародителях, я мог бы реконструировать их из материала, который был в моем распоряжении. Проследить постоянные черты моего характера, те, что обнаружались с раннего детства и остались на всю мою жизнь. Это и было бы то, что подарили мне мои предки, это были бы их черты. Предки толпятся за нашими плечами; мы — их совокупный портрет.

Я попытался представить себя четырехлетним, трехлетним; попробовал увидеть себя со стороны. И тут опять едва слышный звук заставил меня поднять глаза от тетради. Кто-то шарил и дергал в сенях дверную скобу. Дверь толкали вперед, что было совершенно бесполезно, так как она открывалась наружу. Я встал и отворил. Снизу вверх на меня глядел карлик. Точнее, ребенок лет четырех.

Моя фантазия реализовалась так неожиданно и буквально, что в первую минуту я принял его за себя самого. Почему бы и нет — в этой заколдованной деревне все было возможно. На мне — ибо это был я — была рубашонка, из которой я успел вырасти, на голом животе штаны, доходившие до колен, мои загорелые, детские, исцарапанные ноги были в башмаках без шнурков; это был я, хоть и не совсем такой, каким я мог себя вспомнить. Я вернулся к столу. Мы уставились друг на друга, мы были одно и то же лицо, о нас можно было сказать, как гласит известная эпитафия: tu eram ego eris — я был тобой, ты будешь мною.

Наконец я спросил: «Ты откуда взялся?» Ребенок все так же молча стоял у порога, открыв рот. «Тебя как зовут?» Он молчал, пялил на меня глаза, и я снова спросил, как он здесь очутился. «Мамка послала», — сказал он. Мы сошли с крыльца, мальчик вел меня мимо заколоченных изб и заросших бурьяном уча-

стков, печных труб, торчавших кое-где на месте бывших домов. Чье-то морщинистое лицо следило за нами из уцелевшей хибары. Так прошли мы почти всю деревню и оказались перед домом под железной свежеразкрашенной крышей, с крепкими воротами под навесом, с деревянным кружевом вдоль скатов, с узорными, веселенькими, как голубой ситец, наличниками вокруг окон. Крылечко с резными столбиками, железная скоба для ног.

«Ты здесь живешь?»

«Не», — покачал головой мальчик-посланец, который при своем маленьком росте был все же старше, чем показалось.

На крыльцо вышла опрятно одетая женщина.

«Это и есть твоя мамка?»

«Да нет, это он меня так зовет, — промолвила хозяйка, и мальчик побежал прочь. — Он вон там живет, с бабкой. Да вы заходите...»

Я взшел в некоторой нерешительности на крыльцо.

«Милости просим. Заходите. Надолго к нам?»

На кухне стояли крынки, пол устлан половиками. Мы познакомились, я назвал себя. «А меня Мавра Глебовна», — сказала хозяйка. Она подняла крышку в полу на кухне и полезла в погреб...

Я возвратился домой, неся холодную крынку с молоком. Она держала корову, муж работал в городе, под городом здесь подразумевался районный центр. Итак, у меня оказались соседи, и я не знал, надо ли этому радоваться.

После обеда я собрал на своем ложе ветхое тряпье, засунул в мешок и вынес в сарай. Теперь у меня была приличная кровать, белье, которое я привез с собой. Я подумывал о том, чтобы повесить занавески на окна.

В полудреме я видел сверкающую речку, прибрежные кусты и, как это бывает, когда засыпаешь, время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот; я следил за ними, как бы отделившись от самого себя. Мне хотелось захватить их, как хватают за руку непослушного ребенка, в тот самый миг, когда они начинают ускользать от моего контроля, и тотчас же я подумал: причем тут ребенок? Мальш, стоявший на пороге, припомнился мне... Может быть, это был уже сон. Медленно, с наслаждением я повернулся на бок, подоткнул под себя одеяло, но довольно скоро мне стало жарко, я лежал на спине, усталости как не бывало; минутное забвение словно заменило мне ночь спокойного сна. В комнате было совсем светло, я снова подумал о занавесках. Одевшись, я вышел и сел на крыльцо; над рекой стояла туманная луна, значит, время было уже близко к полуночи. Оглушительно трещали кузнечики. Луна лишила меня сна. Ну и что? Завтра буду спать до полудня. Какая мне разница, я вольная птица, мне не надо смотреть на часы. Я мог превратить ночь в день, а день в ночь. Эта мысль привела меня в восхищение. Наконец-то я был свободен — от обязанностей, от рутины дня, от телефонных звонков, от женщин, приятелей, добрых знакомых, свободен от необходимости куда-то идти, что-то оформлять, где-то числиться, свободен от государства и мертвого времени народов. Робинзон! Робинзон на клочке земли посреди океана! Мне даже не пришлось пускаться в дальнее плаванье. Не так уж далеко пришлось ехать, стоило просто свернуть с шоссе. Достаточно было, набрав побольше воздуха в легкие, нырнуть на дно заводи. Я почувствовал — так мне по крайней мере казалось, — что подвигаюсь к какой-то важной истине.

Некоторое время погода я шел среди черных трав под дымной луной к реке, где мерцал желтый огонь. Ноги цеплялись за сорняки, я потерял тропинку, огонек исчезал и появлялся, моргал мне навстречу, деревья расступились, тусклая река, как ртуть, блестела внизу, за излучиной стояло слабое зарево, свет дрожал на воде, костер горел на другом берегу. Вокруг ходили черные фигуры людей. Не было слышно голосов. Можно было разглядеть смутно озаренные лица, темная фигура приблизилась с охажкой валежника, и костер угас, но через минуту взвился к небу, полетели снопы искр, лица людей, кузов грузовика — все озарилось красным светом. Женщина, сидя на разостланной телогрейке, с младенцем на коленях, вынула грудь из расстегнутой кофты. Мужик сгребал угли, готовились ужинать; сидели кружком, перебрасывали на ладонях картофелины. Люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, неопознанные граждане, бежавшие откуда-то, куда-то переселявшиеся. В кузове помещался зеркальный шкаф, в котором играл огонь. Два человека развязывали узлы, сваленные у колес, должно быть, устраивались на ночлег.

Грузовик стоял с потушенными фарами. Костер едва тлел, люди лежали, сбившись в темную массу, высоко в пустынном небе, окруженная влажным веном, стояла маленькая луна, окрестность потонула в тумане. Стало сыро, зябко, должно быть, оставалось недолго до рассвета. Отворилась дверца грузовика, кто-то спрыгнул на землю. Голоногая женщина шла к воде. Она сошла, высоко подняв юбку, на узкую полосу песка, сбросила кофту, вышла из одежды, как бледный призрак с темным лицом, с сужающейся тенью в круглой чаше бедер, медленно водила ногой по воде, присела и со слабым плеском бросилась в реку. Течение отнесло ее в сторону. Она приближалась к берегу, взмахивая белыми руками, и вышла шагах в десяти от места, где я стоял. Вода стекала с ее плеч и бедер, как ртуть. Она собирала волосы на затылке. «Ах!» — сказала она вдруг и остановилась как вкопанная. Я думаю, это был не столько страх нагой женщины, застигнутой врасплох, сколько страх за людей, которых выследил чужой и опасный человек. Она пятилась к воде. Я постарался скрыться. Потом прислушался: на другом берегу плакал ребенок. Заурчал мотор. Впереди за деревней занималась заря.

V

Маленькие приключения здесь превращались в события. Зевая во весь рот, приезжий стоял в потоке света на крыльце своего дома. Каждому, кто приезжает в русскую деревню, кажется поначалу, что жизнь прекратилась. Но жизнь идет. Неясные звуки доносятся с другого конца деревни, слабая музыка: радио. Курится дымок из трубы. Ковыляет старуха. Жизнь продолжается, пробивается, словно проточная вода, чтобы снова уйти под землю; жизнь не умерла, а заглохла, как старый сад, и затянулась вьюном; солнце в небе, такое же лучезарное, как вчера, высоко стояло над деревней, пустошью и рекой и так же восстановит и будет стоять, истекая светом, завтра. Чего доброго, думал приходец, придется ставить палочки карандашом на притолке или делать зарубки по примеру островитянина, чтобы не потерять счет дней.

Некий Аркаша обитал по соседству в жилище, которому трудно было бы подыскать название: хибара, логово, развалюха? Осевшая дверь с трудом открывалась прямо в избу, внутри ничего, кроме щелястых бревенчатых стен, печь обрушилась, завалив пол черными раскрошившимися кирпичами, в углах свалена рухлядь. Хозяин, в лоснящейся телогрейке, в старой шапке-ушанке, лежал на ложе из трех ящиков, застланных безобразным бесформенным тряпьем, и смотрел телевизор, который стоял на полу, к потолку тянулась проволока. Приезжий явился с дарами. Хозяин перевел взгляд с бормочущего экрана на посетителя, тот несмело осведомился, не может ли Аркаша соорудить ему душ.

«Чего?» — спросил Аркаша.

«Душ».

«А чего это?»

Местоимение «чего», как известно, может означать и что, и почему; из вопроса Аркаши невозможно было понять, спрашивает ли он, что это такое, или хочет узнать, зачем это понадобилось.

«А,— проговорил он,— так бы сразу и сказал». На другой день он притащил бак, трубы, доски, добыл железную печурку. Подъехала телега с тяжелой ржавой ванной. В огороде был воздвигнут сарайчик. На полу лежала деревянная решетка. Над ванной — два крана и длинная трубка с лейкой, которую можно было поворачивать, поднимать и опускать.

К делу! За стол... Попытки взяться за труд, созревший, как плод в чреве, и просившийся наружу, — оставалось только дать ему выход, — попытки эти натолкнулись на неожиданное препятствие; мне нелегко объяснить, в чем оно, собственно, состояло. Язык может быть помехой для речи, как ноги, по словице, мешают танцевать. Я сидел у окна, перед глазами расстилалась зеленая пустошь. Я писал и зачеркивал начатое, не успевал закончить фразу, как она увядала и падала, словно высохшее растение. К полудню я сидел перед страницей, покрытой сверху донизу начатыми и брошенными строчками. Зачеркивание приняло какой-то извращенный характер, превратилось в постыдно-увлекательное занятие: не довольствуясь вымарыванием строк, я покрывал их густой сеткой линий; кончилось тем, что я обвел рамкой и старательно заштриховал всю страницу.

Расхаживая взад и вперед по избе, я разглядывал стены и вещи до тех пор, пока меня не осенило: ведь мой мозг продолжал работать, из строя вышел лишь механизм, который превращал поток мыслей в письменную речь; я подумал: а что если пренебречь этим механизмом, забыть о правилах последовательного рассказа, о логике изложения, вообще забыть о том, что я должен что-то «излагать», — одним словом: сбросить вериги словесности?

Раз навсегда избавиться от надзирателя, приставленного к нам, от контролирующего «я». Пораженный своим открытием, я остановился. Я попробовал исподтишка следить за собственной мыслью: предоставленная самой себе, она, как ручеек, устремлялась в каждую выбоину, то и дело меня направление; она перескакивала с одного на другое и откликалась буквально на все; я взглянул на кровать и вскользь подумал о моей жене, перевел глаза на часы, на старый численник — и тотчас моя мысль устремилась вслед за словом «времяисчисление», я стал думать о календаре, мне представился Египет, от Египта я перескочил на почтовые марки, вспомнил детскую коллекцию, мебель в нашей комнате, переулок и латвийское посольство, мимо которого я ходил в школу. Тут я спохватился, что думаю о постороннем, и стал сворачивать ленту с конца: посольство — квартира моего детства — марки — календарь... Одновременно я думал и о другом, и о третьем, мысль моя цеплялась за все, что попадалось по дороге, и вместе с тем вопреки хаосу и кажущемуся разброду, без моего вмешательства в ней самой было внутреннее упорядочивающее начало. Отнюдь не логика, нет. Я уловил этот принцип, это организующее начало, когда попробовал вспомнить, о чем я думал только что, о чем думал перед этим и перед тем, как думал перед этим: моя мысль не была клочковатой, не рассыпалась, но каким-то образом сохраняла цельность; организатором было не что иное, как время, не имевшее, однако, ничего общего с тем, что обычно называют временем, — время моей мысли или, лучше сказать, время, которое и было моей мыслью.

Но я должен был оставаться начеку. Неусыпный страж — мое «я» — уже погромыхивал ключами от камеры, и стало ясно, то, что я пытался сейчас осознать, мои старания сформулировать фундаментальное свойство моей мысли были сами по себе не чем иным, как вмешательством контрольной инстанции. Это было как наваждение, я бегал по комнате, точно в карцере моего сознания, и за мной неотступно следовал, находил меня во всех углах взгляд надзирателя, наблюдавшего за мной сквозь тюремный глазок. И все же моя победа была в том, что я отдал себе отчет в существовании контроля, я сам следил за своим соглядатаем!

Вывод был следующий: существовало и постоянно присутствовало контрольное «я», назовем его оковами языка, назовем его письменной речью; но существовало и нечто другое — непрерывно ткущая себя мысль, эту мысль я должен был поймать на лету. Я уселся и торопливо стал писать о чем попало, едва успевая заносить на бумагу то, что приходило в голову, не заботясь ни о «стиле», ни даже о том, чтобы заканчивать предложения; надзиратель сердился и напоминал мне о синтаксисе; чтобы легче было писать, я выдрал из тетради десяток листов, я спешил, и чем быстрее двигалась моя рука, тем стремительней неслась вперед моя мысль. Это напоминало погоню за тенью. Я остановился. За полчаса я испещрил ворох двойных листов своими записями, я написал столько, сколько не удавалось мне сочинить за неделю.

Я изобрел велосипед. Должно быть, каждый изобретает его в свое время. И я подозреваю, что истинный резон автоматического письма в духе какого-нибудь Бретона не в том, что оно будто бы достигает некое первичное состояние нашего сознания. Нет, причина — страх перед пустыней чистого листа. Я собрал ворох исписанной бумаги, с удовлетворением глядя на свою работу. Это продолжалось недолго. Как всякий, кто занимается литературой, я обзавелся корзиной. И вот я сидел и поглядывал на корзину, где, свернутые в трубку, покоились призраки моего мозга. Меня переполняло отвращение к самому себе.

Словно меня вырвало в корзину этой словесной кашей. Вместе с тем я испытывал облегчение. Сидя на ступеньках крыльца, я грелся на солнышке. День сиял невыносимой красотой и полнотой жизни, которая безмолвствует, погруженная в созерцание самой себя. Меня тянуло в луга. Душа моя жаждала покоя и ясности, жаждала языка и стиля, адекватного этой ясности. Как можно было об этом забыть? Всякое небрежение языком есть покушение на достоинство личности.

Нет! Ясность и простота. Сдержанность. Лаконизм. Сидя на крыльце, с тетрадью на коленях, я начертал:

«Я родился в понедельник 16 января 19... года в городе, который носит имя вождя революции. Я имел неосторожность родиться в день и час, когда Венера жестоко повреждена соседством Сатурна, в год, когда над старым континентом уже клубились облака войны...»

VI

Неплохое начало; и все же я задумался, не лучше ли мне начать с обстоятельств, предшествовавших моему рождению. Впрочем, и это был вопрос второстепенный. Я понял, что мои упражнения отвлекли меня от главной задачи.

Отчитаться перед самим собой, как если бы я предстал перед высшим судьей, которому все известно. Стать одновременно судьей и подсудимым, злодеем и мстителем, да, отомстить себе и отомстить жизни, разведать все ее темные углы, где прячутся мерзкие ползучие существа. Пусть разбегутся во все стороны! Звучит эффектно. Можно сформулировать иначе. Я должен был вновь обрести себя. У меня было чувство, что я растерял, растратил свою личность.

Вот о чем следовало поразмыслить... Мое духовное существо было расчленено, ядро моей личности было в трещинах. Семейная жизнь моя не удалась. Попросту говоря, у меня не было семьи. Во всяком случае, моя бывшая супруга сделала все от нее зависящее, чтобы наш ребенок, прелестная белокурая девочка, забыла обо мне. Женщины, с которыми я поочередно был связан, разочаровались во мне одна за другой, и если случалось, что я первым прерывал отношения, то лишь потому, что чувствовал — ничего путного не получится, я не смогу ее удержать, лучше уйти первым. О моей «профессии» здесь уже говорилось. Религия никогда не была моим убежищем. Общественные идеалы, патриотизм? Я слышать не могу эти слова!

Считается, что в нашей стране человек прикован за руки и за ноги к государству: прописка, работа, военкомат, личное дело там, личное дело здесь, все эти цепи и цепи; надо где-то числиться, надо жить на одном месте и так далее. Всевозможные спецотделы, управления и целые министерства заняты учетом, сравнением, наблюдением, а между тем мне известно множество людей, которые успешно вегетируют в щелях нашего огромного государства, нигде не работают и непонятно на что живут. Людей, которых следует с точки зрения законов и инструкций считать правонарушителями и с которыми ничего не происходит, оттого ли, что нарушителей слишком много, или оттого, что так много инструкций. Да, считается, что человеку некуда бежать, а между тем не так уж далеко пришлось ехать, чтобы очутиться там, где я теперь жил или, лучше сказать, затаился, и деревня казалась мне именно такой щелью, и тяжелый каток государства, который разъезжал взад-вперед и утюжил все подряд, прокатывался над ней и, в сущности, ничего не мог с ней поделать.

В моей жизни был даже случай, когда я поступил в какой-то институт народного хозяйства, а именно в очно-заочную аспирантуру — так это называлось, и начал корпеть над диссертацией, но скоро понял, что моя работа не стоит выеденного яйца. Я не стал ничего предпринимать, просто перестал появляться в институте, перестал звонить моему научному руководителю, и меня оставили в покое. Из этого незначительного эпизода я сделал важный практический вывод: назойливость государства пропорциональна назойливости просителя; имея дело с официальными инстанциями, разумней по возможности ничего не предпринимать; не надо увольняться, вас и так уволят, не надо «сниматься с учета», пройдет сколько-то времени, и это произойдет автоматически, ваше имя завянет, и его вырвут из грядки; можно выбыть и никуда не прибыть, и вообще следует всюду, где только можно, считаться выбывшим.

Так обстояло дело с моей карьерой... Но не в том суть, что, оставив позади молодость, я никем не стал, а в том, что я больше не видел смысла своего существования; все прочее было следствием этого порой мигающего, как страшная догадка, порой ясного, как холодный свет, сознания. Отрешиться от всех побочных соображений, от тщеславия, от самолюбования, от мысли о читателе — отстраниться от самого себя — было для меня так же необходимо, как уехать, ни с кем не прощаясь. Теперь предстояло вести разговор с глазу на глаз с единст-

венным собеседником — самим собой. Или, если угодно, вызвать его на поединок и хладнокровно смотреть, как ведет себя под дулом пистолета тот, другой...

Думая об этом, я решительно зачеркнул написанное и принялся писать заново, говоря о себе в третьем лице. Я начертил свое имя и проставил дату рождения, опустив астрологические сведения, которые показались мне смешными. В кратких выражениях мною были очерчены жилищные и социальные условия моих родителей. Простой грамматический прием, местоимение «он» вместо «я» разрешило все трудности. «Так началась его жизнь...» — написал я и остановился.

Проклятие литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с поличным. Глаголы рассказывали, прилагательные описывали, существительные называли. Сам того не замечая, я раздвоился на повествователя и литературный персонаж, но ни тот, ни другой уже не были мною. Я описывал воображаемого себя, следуя правилам игры, которая, как всякая игра, помещала меня в условное пространство. В мир, называемый словесностью. Простая и обескураживающая истина: сама грамматика безличного повествования превращала меня в «автора», чья объективность была все тем старым, банальным, давным-давно разоблаченным трюком. Персонаж, о котором я наивно думал, что это и есть я, был подобен фантому, который вышел из зеркала, чтобы, склонившись над моим плечом, диктовать мне свои привычки, свои условия: якобы правду жизни. Какая там правда, это были правила литературы.

Нет, я ничего не выдумывал, мой герой в самом деле родился в указанный срок у моих родителей; но и родители, в свою очередь, едва только я упомянул о них, стали «действующими лицами», марионетками кукольного театра литературы. Я ощутил чудовищный деспотизм беллетристики, не жизнь, а литература диктовала моим персонажам свои правила и условности, управляла моим сознанием, как дворцовый этикет управляет придворными и самим монархом.

«Повествование», — сказал я; а кто же повествователь? Во всяком случае, не тот, кто сидел на табуретке за столом и уныло поглядывал на деревенскую улицу. Ибо я уже не чувствовал себя самим собой. Другими словами, я был дальше от своей задачи и цели, чем до того, как раскрыл тетрадь; я стал «писателем», то есть перестал жить собственной жизнью, погрузился в топкое месиво текста и бродил там безликой тенью — слышалось только чавканье ног, которые я выдираю из трясины, чтобы снова увязнуть. Я стал условной фигурой, как бы несуществующей, но на самом деле моя анонимность, мое всезнание были не более чем роль; в лучшем случае я был режиссером этого кукольного спектакля.

Солнце перевалило на другую сторону неба и светило в избу; давно пора было подумать о еде. Мне не оставалось ничего другого, как изложить на бумаге все эти соображения, проблематику моего писания. Увы! Она тоже превращалась в литературу, в пресловутую рефлексию, которая так же неизбежна в современном романе, как описания природы в романах девятнадцатого века.

VII

Собака скулила в избе. Спящий проснулся и сел. Собака стояла перед кроватью и смотрела на него, виляя хвостом. Он видел ее блестящие глаза. Путешественнику хотелось спать, он погладил ее и улгся, собака тянулась к нему, он лежал на спине, свесив руку, собака вспрыгнула на кровать и положила обе лапы ему на грудь. Очевидно, она была исполнена самых добрых чувств, но ему было жарко, душно, он старался ускользнуть от ее языка, крутил головой; кончилось тем, что спящий протрезвел окончательно. Всем известны эти промежуточные состояния, когда сон, отличаясь от действительности своей причудливой логикой, нисколько не уступает ей в других отношениях или когда действительность все еще принимают за сон. В избе горел свет.

Некто в рубахе и портках сидел перед керосиновой лампой, поджав босые ноги под табуреткой. Перед ним на столе были разложены бумаги, он листал приходо-расходную книгу, время от времени его рука перебрасывала костяшки на счетах. У порога стояли его сапоги, портянки висели на голенищах. На гвозде у притоки — брезентовый армяк и старая шляпа.

Услыхав вопрос приезжего, мужик обернулся, он был лысый, лет под пятьдесят, в никелевых очках, черты лица трудно разобрать, он загоразивал лампу. «Это я тебя хочу спросить,— сказал он,— что ты тут делаешь!»

«Живу»,— сказал постоялец.

«Живешь. А по какому такому праву?»

«Да ни по какому». Приезжий объяснил, что дом принадлежит брату.

«Вот именно что ни по какому. Какой еще брат?»

Приезжий пожал плечами.

«Документ есть?» — спросил человек с ударением на «у».

«Какой документ?»

«Документ, говорю, на право-жительство».

Путешественник сказал, что он может показать паспорт.

«На кой ляд мне твой паспорт? Интересно получается,— сказал мужик, потирая колени,— законы у вас такие, что ль? Приезжают в чужой дом, живут. А ты у меня спросил, прежде чем вламываться-то? Разрешения спросил?»

«Двоюродный брат,— сказал жилец,— купил избу у прежних владельцев».

«Купил! Ишь покупатель нашелся. У каких это таких владельцев? Вот сейчас вышибу тебя отседа к едреней матери со всем твоим барахлом. У владельцев... Я владелец!»

Приезжий попросил не рыться в его бумагах.

«Не твое песье дело! — проворчал мужик, не оборачиваясь. — Еще приказывать мне будет... Нет тут твоих бумаг... Во-от, оно самое, вот тебе и акт, пожалста: мною, уполномоченным... Чего? — спросил он. Сидящий на кровати ничего не ответил, мужик продолжал читать: — В присутствии представителя сельсовета и понятых... Знаем этих гавриков. Вечно тут крутились, эти их... Мною, уполномоченным. Сего числа проведено обследование хозяйства гражданина деревни... района... Обследование гражданина. Меня, стало быть. Обнаружено... Чего тут обнаружено? Дом в двух избах под одной крышей, одна изба восемь на восемь средней сохранности, вторая один на восемь ветхая. Какая ж ветхая, чего они тут пишут? Еще сто лет простоит. Двор 20×12, средний...» — читал он.

Приезжий хотел спросить, где же тут вторая изба, или имеется в виду сарай? Пламя коптило, мужик подкрутил фитиль, пододвинул к себе лампу, поправил за ушами оглобли очков.

«Из скота: лошадь мерин гнедой масти, 20 лет, плохая, жеребенок подросток 2 года, коров — одна 6 лет, вторая во дворе принадлежит гражданке Воиновой за отсутствием своего двора... Телка полтора года, поросенок весом 3 пуда, тэ-эк-с. Инвентарь... Косилка средняя двухконная, плуг деревянный однолемешный, телега на деревянном ходу с колесами. Одни часы с боем... Они тут висели; куды часы дел?»

«Никуда не дел,— сказал приезжий,— вон они висят».

«Два самовара. Один из них плохой. Семья состоит из следующих лиц... Вот,— сказал он.— Черным по белому прописано, а они что творят? Хозяйство было обложено в текущем налоговом году по сельхозналогу в инди... ви-дуальном порядке на сумму 129 руб. 15 коп., за вымочку озимого посева сложено 15 руб.».

Путешественник спросил: «Что это значит?»

«За вымочку, дожди шли два месяца. Все озимые вымокли. Вот черным по белому. Настоящая комиссия относит хозяйство Громовых к группе середняцких. Ясно? Иль неясно?.. Средняцких! — Он стукнул кулаком по столу.— А они чего делают? Я спрашиваю. Куды хозяйку мою дели? Детей куды развезли?»

Снаружи послышался чей-то голос. Мужик растворил окно.

«Ну чего тебе?»

Голос из темноты что-то ответил.

«Подождешь».

Там снова что-то сказали.

«Подождешь, говорю; сейчас поедем... Вот так,— пробормотал ночной человек, наверхнул на босые ступни портянки и сунул ноги в зяляпанные глиной сапоги.— Ты вот что,— сказал он.— Пока живи. Я разрешаю... Все лучше, чем дому-то пустовать. А то последнее добро растащут. Я, может, еще вернусь. Вот тогда поговорим. Я им еще покажу, кто тут хозяин! Нет такого закона, чтоб у человека дом отнимать».

VIII

Как и в первый раз, Мавра Глебовна вышла навстречу приезжему, опрятная, круглолицая, широкобедрая, с малиновым румянцем. Возраст? Если ей было под сорок, то она выглядела старше своих лет, для сорока пяти казалась слишком молодой. Мавра Глебовна была родом из округи, а здесь проживала лет семь или восемь, дом достался мужу от пожилой незамужней сестры. Хотели сначала продать, да кто ж его купит?

«Вот этот дом?» — спросил приезжий удивленно. Она усмехнулась. Этот купили бы: этот сами построили. А тот разобрали. «Да что ж мы стоим-то...» Вошли в дом.

За выбеленной печью находилась горница с образами в красном углу, в кружевных полотенцах, с подлампадниками на цепочках. Далее еще одна комната за занавеской, подвязанной шнуром. Там был виден стоящий боком зеркальный шкаф-шифоньер, в овале отражались никелированная спинка кровати, белизна подушек и кружевной подзор. Муж Мавры Глебовны работал в районном центре. Гость сидел за столом в первой комнате, пил прохладное молоко, поддакивал.

Она сказала:

«Вы заходите, если что, я всегда дома. Может, продуктов каких надо, хозяин привозит. Да я и сама схожу, тут у нас селпо недалеко. — Магазин находится в Ольховке, верстах в десяти, расстояние по здешним понятиям небольшое. — Хлеб-то у вас есть?»

Гость поблагодарил и хотел подняться.

«Сидите, куда спешить... А вы кто же будете?»

В деревне расспросы — знак вежливости. Оказалось, впрочем, что Мавра Глебовна все знает от Листратихи. Это была, по-видимому, та старуха, с которой жил ребенок, давеча навестивший приезжего. Мавра Глебовна развязала платок. У нее были темно-русые ореховые волосы.

Договорились, что она будет покупать продукты, приезжий поспешил вручить ей деньги. «Да вы не беспокойтесь, сочтемся...»

«Ай-я-яй, — сказала она, войдя к нему на другой день, — как же это вы живете?» Она разыскала ведро, швабру, приезжий бегал за водой на колодец, Мавра Глебовна мыла пол, подоткнув юбку, растворила окна, сожгла мусор в печке, вынесла вон старую одежду и полусгнившие валенки. Когда он снова вошел в избу, она сидела на табуретке боком к столу, расставив босые ноги с широкими ступнями крестьянки, и завязывала косички на затылке.

Прошло еще несколько дней; однажды, проходя по деревне, он увидел перед новым домом грузовик.

Парень в ватной телогрейке выгружал какую-то кладь. Сам хозяин в майке и в галифе из синего коверкота стоял на украшенном столбиками крыльце; увидав новое лицо, он сошел не спеша по ступеням. «Здорово, — сказал, протянув ладонь, и представился: — Василий. Слышал о тебе. Заходи.»

Генерал-изобретатель крылатых штанов не мог предвидеть, что они обесмертят его имя в загадочной полувосточной стране, где он никогда не был. История галифе есть часть истории этой страны; галифе цвета грозового неба сделали униформой вождей революции, как и ее врагов. Со временем крылья стали шире, туда можно было засовывать руки до самых локтей. Просторный покрой отвечал духу страны. И до сих пор синие галифе, вправляемые зимой в бурки, летом в сапоги, донашивает начальство районного масштаба. Хозяин дома был высок, дорожен, могуществен, с бритым кожаным черепом и загорелым затылком; вослед за ним, оттерев подошвы о железную скобу — жест почти ритуальный, знак почтения к дому и его обитателям, — поднялся и вступил в сени пишущий эти строки.

На столе, на белой накрахмаленной скатерти, были расставлены тарелки, узкие граненые рюмки, ситный хлеб нарезан широкими ломтями. Хозяйка внесла дымящуюся кастрюлю с половником и разлила по тарелкам густые золотистые щи. Явилась белая от инея бутылка. «Егорий, — позвал хозяин. — Егор!...» Парень вошел в избу, стягивая на ходу телогрейку.

Из кухни доносился стук рукомыльника. Василий Степанович ждал с откупоренной бутылкой. Мавра Глебовна с передником в руках, который она отвязала, собираясь сесть за стол, смотрела, наклонясь, в окошко.

«Кого там леший несет?» — проворчал хозяин.

Медленно отворилась дверь, в кухне у порога переминался друг Аркаша. Он пробормотал что-то вроде того, что не знал, что тут гости.

«Ладно, — сказал Василий Степанович. — Садись».

Мавра Глебовна принесла табуретку из кухни, поставила рюмку, глубокую тарелку, налила щей. Хозяин провозгласил:

«Что ж, будем, как говорится, знакомы!»

Они бодро чокнулись. Парень по имени Егор молча выпил свою рюмку, Аркаша ждал, когда чокнутся с ним, не дождался и тоже выпил.

«А ты чего ж?» — заметил Василий Степанович. Жена пригубила рюмку. Молча, обжигаясь, принялись за щи. Хозяин обсасывал огромную кость. Хозяйка подала миску, Василий Степанович бросил кость, она тотчас вынесла миску.

«Так, значит, — проговорил он, разливая водку. Не обращаясь прямо к приезжему, он на сей раз употребил дипломатическое множественное число. — Решили, значит, у нас пожить. А чего ж, у нас хорошо, воздух чистый... Надолго?»

Приезжий из Москвы ответил, что еще сам не знает, надеется остаться до осени.

«Отпуск, что ль?»

«В этом роде».

«Это хорошо. У нас хоть не больно весело, зато жизнь настоящую узнаете. Как народ живет. Аркашка подтвердит. Ты что скажешь? Вот он, народ-то».

Аркаша усердно загребал щи, а парень, с которым приехал Василий Степанович, буркнул:

«Какой там народ, народу-то не осталось».

«Есть еще народ, куда он денется. Аркашка! О тебе говорят, ты чего молчишь?»

Аркаша кивнул и взялся за рюмку.

«Ты постой, куда лошадей гонишь? Надо тост произнести».

Все смотрели на гостя. Путешественник поднял рюмку и предложил выпить за здоровье хозяев — Василия Степановича и Мавры Глебовны. Хозяин одобрительно кивнул, хозяйка принялась было собирать со стола тарелки.

«Али кто добавки хочет?»

«Давно щец не ел, давай еще полчерпачка... Чего ж это, Егорушка, ты нас за народ не считаешь?»

«Вы, Василий Степаныч, не в счет».

«М-да... выпьем для ясности».

Мавра Глебовна унесла тарелки и появилась с большой чугунной сковородой.

«Хо-хо, — сказал Василий Степанович, потирая руки, — в гостях хорошо, а дома лучше! Братва, налетай».

Все накладывали себе сами, хозяин показал бровями на опустевшую бутылку, Мавра Глебовна принесла вторую.

«Я тебе так скажу... — заговорил Василий Степанович, перейдя снова на «ты», что одновременно означало некоторую степень близости и согласие взять гостя под начальственную опеку. — Ты чего не пьешь-то? Давай, будем здоровы...»

Приезжий поспешно схватился за рюмку.

«Я тебе так скажу, это между нами... Что они тут знают? Ничего. А я знаю. Я в кругах вращаюсь. Сколько средств вкладывают в это самое сельское хозяйство, сколько денег ухлопано, уму непостижимо. Вот теперь новое постановление должно выйти. Это я говорю не для разглашения... О крутом подъеме в черноземной полосе».

Василий Степанович поднял голову от тарелки, смерил взглядом приезжего и несколько неожиданно закончил:

«А толку, между прочим...»

Он махнул рукой, последовало новое предложение выпить для ясности. После чего, хлопнув себя по ляжкам, сказал:

«Ладно! Надо собираться».

«Куды ж теперь, — заметила Мавра Глебовна, — на ночь глядя? Только приехали, и назад».

«Надо. Послезавтра в райкоме отчитываемся».

«Вот завтра и поедете. Как вы сюда-то доехали: мост, говорят, провалился».

«А зачем нам мост? Мы через Ольховку».

Путешественник спросил, далеко ли находится райцентр.

«Далеко не далеко, а ехать надо. Егор! Собирайся. Вот я и говорю,— продолжал Василий Степанович,— средства есть, техника есть, все есть. А работать некому. Народ такой пошел, все в город норовят. Сами видите,— он указал на Аркадия: — только вот такие и остались. Развивать сельское хозяйство. Легко сказать; развей его. Вот я сам работаю в сельском хозяйстве. Я район как свои пять пальцев знаю. Было шестьдесят колхозов. Разукрупнили. Сделали пятнадцать. А что толку? Его хоть разукрупняй, хоть не разукрупняй. Эва, попробуйся на него,— сказал Василий Степанович, кивая на Аркашу, который сидел, свесив голову с мокрыми, слипшимися волосами.— Колхозничек... Эй, землячок! Аркашка! Проспишь все царство».

В ответ Аркадий проговорил что-то.

«Громче! Не слышу».

«А я чего, я ничего»,— сказал Аркадий.

«Вот то-то и оно, что ничего!» — заметил наставительно Василий Степанович.

«Домой ступай, посидел — и хватит»,— приговаривала Мавра Глебовна, пытаясь вытащить Аркашу из-за стола. Гость вызвался помочь, вдвоем закинули себе на плечи руки Аркадия и повели домой.

«Чего привязались-то? — Он лежал на лоснящемся от мазута тряпье.— Тить твою...»

Вышли из вонючей хибары на волю. Мавра Глебовна вздохнула.

«Благодать-то какая! Век бы жила здесь».

Он спросил, что же ей мешает здесь оставаться.

«Да Василий Степаныч хочет в город насовсем переселяться. Новую квартиру дают».

«А как же хозяйство?»

«Распродать. А я не могу. Как это я свою корову продам? Да и кому продавать-то?»

«Мне продай»,— сказал Аркадий, выходя на порог.

«Эва,— сказала Мавра Глебовна,— покупатель нашелся. Да ты и корову доить не умеешь».

«Чего ж тут уметь? Тяни за сиськи, и все дела».

«Иди спи».

«Сама иди! Я уж выпался».

«Ладно, Аркаша,— промолвила Мавра Глебовна.— Люди меж собой разговаривают, ты не встрейвай».

IX

Казалось, что прекрасной погоде не будет конца, но спустя несколько времени новое удивительное явление природы изумило и озадачило жителя деревни; возвращаясь с прогулки, он увидел за рекой над лесами необычный закат. Слепящее солнце опускалось, как в могилу, в магму лиловых облаков — подозрительный знак надвигающегося ненастья. Так и случилось, и даже скорей, чем предсказывала примета: кинжалы молний исполосовали небо, едва лишь спустилась ночь; вдали заурчало, зарокотало, грохнуло над деревней; всю ночь шумел ливень, приезжий из города поднимал голову с подушки и смотрел во тьму, где угадывались окна, а под утро заснул так крепко, что проспал добрую половину дня; часы показывали совершенно невообразимое время. Пошатываясь, он прошлепал по темной избе и приник к окошку: все струилось, все обволоклось мокрой ватой облаков, временами, остервенясь, дождь хлестал в стекло. Дачник пил из чайника остывший чай, выбегал в огород по малой нужде — там все звенело и шелестело, дрожа от холода, лежал под одеялом, поверх которого было наброшено пальто и еще что-то, и снова опустилась ночь, и во сне он слышал все тот же однообразный звон дождя. Его разбудил стук в дверь на крыльце, было мутное, серое утро; он выбрался из-под груды тряпья, отворил, соседка, босая, с мокрым подолом, с клеенкой, наброшенной на голову и плечи, с крынкою молока под мышкой, вошла следом за ним через мокрые сени в избу и оглядела стены и потолок: крупные капли падали на полку в красном углу, под окнами на полу образовалась лужа. Мавра Глебовна отодвинула стол, вы-

жала в ведро под рукойником мокрую тряпку, выплеснула ведро в огород. Он слышал, как зашлепали ее ноги в снях, она стояла на пороге, высокогрудая, простоволосая, с блестящими глазами. Жилец спросил: «Надолго это?» «А кто ж его знает? Бывает, что и неделями. Авось пройдет, — добавила она, — потерпи маленько». Он пил молоко, завернувшись в одеяло. Мавра Глебовна собралась уходить. Оказалось, что Василий Степанович, приехавший в субботу, был вынужден остаться в деревне. «Куды ж теперь? Небось все развезло».

Дождь лил, моросил, снова лил, дождь шел подряд две недели, жилец писал карандашом на стене палочки, боясь, как Робинзон, потерять счет дням, и, когда наконец на почерневших стенах избы слабо заиграло солнце, он увидел, выбравшись на крыльцо, что стоит на берегу реки, из воды поднимались ступеньки, не было больше ни улицы, ни пустоши, вдали смутно рисовались полузаопленные деревья, мутные глинистые воды, поблескивая там и сям, степенно влеклись в золотом тумане, а в вышине, между серыми облаками выглядывало ярко-голубое небо. Было тихо, тепло, вокруг все дымилось и капало.

Невдалеке по стремнине вод влеклись обломки чего-то, щепки, валенки, куски рогожи, старые игрушки, проскочил — ножками кверху — продавленный венский стул. Проплыл, переворачиваясь, захлебываясь в воде и вновь появляясь, громоздкий странный предмет, напоминавший прямоугольную пасть, — это была клавиатура рояля. Следом за роялем река несла лодку, на корме сидел мужик с гармонью, рядом с ним краснолицая простоволосая тетка, похожая на семгу, которая пела, широко раскрывая рот. Гребец, сидя напротив, с усилием ворочал веслами. «Эй, землячок!» — закричал он. Лодка подплыла к крыльцу, парень ухватился за ветхий столбик и вспрыгнул на ступеньку. «Земля, закурить есть?» Жилец вынес круглую, из-под карамели, железную коробку с самосадом, оставленную ночным посетителем. Он как-то даже забыл об этом визите, о собаке, вскочившей к нему на кровать, и лысом хозяине в никелевых очках, и коробка напомнила ему о нем. «Чего торчишь тут? — сказал парень, закуривая. — Поехали с нами». «Куда?» «А куда-нибудь, чего тут делать-то?» Жилец возразил: «Мне и здесь хорошо». «Чего ж тут хорошего. Ну, как знаешь».

Солнце начало припекать, река блестела так, что больно было смотреть, и темные фигуры в удаляющейся лодке уже едва можно было различить. Из-за полузаопленной хижины вышел по грудь в воде голый татуированный сосед Аркаша, держа в руках телевизор. Сделав несколько шагов, передумал, повернул назад, скрылся за углом своего жилища и выплыл с другой стороны, приветствуя горожанина белозубой улыбкой. Вода несла Аркашу на простор, он умело развернулся, уцепился за угол, взобрался на крышу, проваливаясь ногами сквозь драпку, стащил с себя мокрые порты, разложил сушиться и лег загорать. Солнце пылало с небес.

X

Задавшись целью исследовать мою жизнь буквально ab ovo, я решил начать, как Тристрам Шенди, с рискованной сцены — реконструировать миг зачатия; судя по дате моего рождения, это событие совершилось в мае. Конечно, тут невозможно было обойтись без некоторой доли художественного вымысла или, вернее, домысла, ибо ничего необычного тут не могло быть; и в конце концов разве самый добросовестный историк не обязан порой возмещать недостаток фактов правдоподобной догадкой? Можно предположить, что дело происходило на рассвете выходного дня. Не хочу называть его воскресеньем, так как революция упразднила христианскую неделю, заменив ее шестидневкой, каковая существовала еще в дни моего детства. Итак, сотворение человека произошло на шестой день, после чего создатель вкусил заслуженный отдых. Будущие родители вновь погрузились в сон.

Замечу, что когда мы говорим, что нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться, то при этом как бы подразумевается, что мы уже некоторым образом существовали до того, как началось наше реальное существование. Иначе некого было бы спрашивать. Продолжая эту мысль, придется допустить, что мы сами виноваты в том, что появились на свет: это нам захотелось быть, и не кто иной, как мы были вожделем наших родителей. Мысль, впрочем, отнюдь не новая.

Я лежал, покрытый легкой испариной, под бледно-розовым, толстым, пуховым и нежным, как пух, стеганым одеялом, на белоснежной простыне, уйдя

головой в мягкую подушку, я покоился, словно усталый воин, вернувшийся из похода, или как ребенок, которого взяли к себе в постель, на высоком и узковатом для двоих ложе, уткнувшись лицом в мягкую, ароматно-пышную и напоминающую белый калач полуобнаженную грудь, время от времени, как кот, открывал глаза и видел перед собой крупный темно-розовый сосок, вдыхал запах молока и перезрелых ягод, смешанный с запахом легкого и чистого женского пота, и всей моей кожей, ногами, животом чувствовал кожу Мавры Глебовны. Да, как ни удивительно, это была Мавра Глебовна, ее комната с подвязанной шнуром портьерой, с вышитыми занавесками на окнах, ее никелированная кровать и зеркальный шкаф, так что, приподнявшись, я мог видеть ее негустые, рассыпанные ореховые волосы и рядом, над ее круглым плечом, другое лицо, показавшееся мне диким в черно-серебряном стекле лицо гостя; вот так гость, подумал я, не странно ли, что все так обернулось, а впрочем, если подумать, то что тут странного? И я снова погрузился в мякоть ее груди, испытывая неодолимую дрему, какая охватывает в неподвижный, приглушенно-жгучий, затянутый облаками полдень, и в полудреме на дне наших душ, в крестце, в ущелье ног сызнова пробудилось желание, на этот раз тяжелое и ленивое, как расплавленный металл.

Некоторое время спустя, окончательно очнувшись, я услышал ее голос: «Сколько же это время, батюшки?.. Этак все проспим!» — выбрался из-под одеяла и зашлепал в сени, а воротившись, увидел, что она сидит, накрыв ноги, на высокой кровати, уже в рубашке, со свисающими из-под одеяла широкими желтоватыми ступнями и, подняв крепкие локти, обнажив подмышки в коротких рукавах, завязывает косички на затылке; она повернула ко мне круглое лицо с сияющими, как бывает после сна, глазами, вздохнула всей грудью, словно после выполненной работы, так что ее рубашка с прямым вырезом высоко поднялась и опустилась, мельком оглядела себя, свою грудь и живот, расправила на ногах одеяло и едва заметно усмехнулась. «Ты что, Маша», — проговорил я, это имя как-то непроизвольно выговорилось у меня, хотя никто, как потом выяснилось, никогда ее так не называл. Я смотрел на нее, и вид ее тела, скрытого под рубашкой, широкие плечи и короткая полная шея наполняли меня каким-то легким счастьем. «Ничего», — промолвила она, — дивлюсь я...» «Да?» — спросил я осторожно. «Как это у нас вдруг получилось — сама не пойму». «Вот так и получилось», — сказал я. Мне хотелось добавить, почему же это «вдруг»? Все, что произошло сегодня утром, мой визит в дом-терем с резными столбиками и запертыми воротами, она на крыльце, с извинениями, что не успела принести мне вовремя, как обычно, парного молока, и наше сидение в горнице, за тем самым столом, за которым пировали мы с Василием Степановичем, душный облачный день и короткие малозначащие реплики; мне казалось, что все это происходило в нарочито замедленном темпе, словно исподволь готова нас к тому, что должно было случиться: медленно поднялась и вышла из-за стола Мавра Глебовна, подошла к окну, и невольно следом за нею встал и я, чтобы что-то увидеть в окошке, хотя знал, что ничего нового там нет, медленно и как будто нехотя двинулась она в другую комнату, мельком взглянув на меня, сняла с кровати подушки и отдала их мне, чтобы я держал их, покуда она снимала и складывала пикейное одеяло, вдвое, потом еще вдвое, потом взяла у меня подушки, взбила их, хотя они и без того были взбиты, обтянуты свежими наволочками и лежали рядом, как две горы, встряхнула и расстелила широкое супружеское бледно-розовое одеяло и остановилась, опустив голову, схватившись за пуговицы кофты, как будто задумалась на минуту или хотела сказать: может, не надо? может, ни к чему это совсем?

«Чего ты стоишь, мне, чай, одеться надо», — сказала она мягко. — Поди, что ли, там посиди». Я все еще медлил, держа в руках свою одежду; Маша покачала головой. «Вот так, чего уж теперь, раз так получилось», — бормотала она, просовывая руку сквозь вырез рубашки, спуская рубашку с плеч, продевая руки в бретельки широкого лифчика. — Судьба, значит. Отвыкла я от таких дел... — Она повела плечами, взвесила в ладонях шары груди в чашах лифчика. — Ну чего ты, али не гляделся?»

Немного погодя, сидя за столом в светлой горнице, я вскочил, чтобы открыть ей дверь, и с немалым удивлением увидел мою хозяйку, несущую потный и фыркающий, ярко начищенный самовар; тотчас на него был водружен низкий и пузатый, с побуревшим носиком, фаянсовый чайник с заваркой, и на чай-

нике, прикрыв его, как наседка, своими юбками, восседала тряпичная, румяная, как свекла, баба в желтом платочке. Я уж и забыл, когда последний раз пил чай из русского самовара.

«Вот теперь попьешь»,— промолвила Маша. На душе у меня было чувство глубокого мира. Не так уж далеко пришлось ехать, достаточно было только свернуть с асфальтовой дороги, но мне казалось, что я заехал в такую даль и глушь, до которой никому не добраться.

«Послушай, Маша...» Почти против воли я задал этот вопрос, и вообще мне не хотелось говорить на эту тему; налив, по ее примеру, чай в блюдце, я старательно дул на него, как в детстве дул на горячее молоко, стараясь отогнать пенки, только теперь я сидел прямо, держа блюдце перед губами.

Мавра Глебовна перебила меня:

«Какая я тебе Маша!»

Я возразил:

«Мне так больше нравится. А тебе разве нет?.. Скажи, Маша,— продолжал я,— ты ведь замужем?»

«Ну»,— сказала она спокойно.

«А говоришь, отвыкла».

«Мало ли что! Бывает, что и замужем, а отвыкают».

Кукла полулежала, утонув в своих юбках, на столе, рядом с ней, я протянул ей чашку, она налила мне крепкой заварки и нацедила кипятку. Помолчав, я сказал ей, что в моем доме творятся странные вещи. Ночью мужик приходил.

«Какой еще мужик?»

«Бывший хозяин. Я думаю,— сказал я, усмехнувшись,— эта изба заколдованная. Вся деревня какая-то странная».

«Скажешь! Деревня как деревня».

Я пожал плечами.

«И чего он?»

«Сказал, что я не имею права здесь жить».

«Он те наговорит. Один приходил?»

Я объяснил, что кто-то ждал на улице; какие-то люди, я их не видел.

«Ну и этого тоже считай, что не видел».

«Да он передо мной сидел, за моим столом, вот как ты сейчас».

«Ну и что? Мне тоже,— сказала она,— разные черти снятся».

«Ты его знаешь?»

«Кого?»

«Мужика этого».

«Да ты что? Он, чай, давно уж помер».

Она подняла на меня ясные глаза.

«Милый,— сказала она,— поживешь, привыкнешь».

В сенях послышался шорох. Мавра Глебовна встала и впустила малыша, похожего на карлика.

«К мамке в гости пришел? — сказала она.— Чай с нами будешь пить?»

Мальчик ничего не ответил, сидя на коленях у Мавры, потянулся к вазочке и схватил несколько конфет.

«Куды ж столько? Ты сначала одну съешь.— Мальчик полез с колен.— Ну, поди, бабу угости».

Его башмаки зашлепали на крыльце. Длился, истекал зноем нескончаемый полдень, занавешенный белыми облаками.

Я спросил: где его родители?

«В городе. И носа не кажут. Вот так и живем. Еще чайку? Ну-кась,— сказала она,— дай руку».

«Зачем?»

«Руку давай, говорю».

«Ты что, гадалка?»

«Гадалка не гадалка, а сейчас все про тебя узнаю».

«Я сам могу рассказать».

«Откуда тебе знать? Никто пути своего не знает».

Она разглядывала мою ладонь, поджав губы, как смотрят, проверяя документы.

«Что же там написано?»

«А все написано».

Я сжал руку в кулак.

«Разожми. Боишься, что твои тайны узнаю? Эва! Долго жить будешь, три жены у тебя будет».

«Откуда это известно?»

«Известно. Вот, видишь — первая, вот вторая. А вот там третья».

«Одна уже была».

«Значит, еще две будут».

Я засмеялся: «Что-то уж слишком много».

Она рассказывала:

«Василий Степанович у меня хозяйственный, все достает, если что надо, рабочих привезет. Жаловаться грех. Не знаю,— проговорила она,— может, у него там в городе кто и есть».

«Отчего ты так думаешь?»

«Да чего уж тут думать, коли у нас с ним ничего не получается. И так, и сяк, а в избу никак. Может, я уже старая. А может, силы у него нет, вся сила в заботы ушла, его на работе ценят».

«Детей у тебя нет?» — спросил я.

«Нет. Была девочка, от другого, да померла».

«И у меня,— сказал я,— была девочка».

XI

Не могу сказать, чтобы работа моя подвигалась бодрым темпом, говоря по правде, она почти не двигалась. Не внешние, а внутренние причины были тому виной. Раздумывая над своим проектом, я обнаружил опасность, о которой давно следовало подумать: риск потерять свою личность. Смешно сказать: то, за чем я охотился, что хотел восстановить, заново отыскать, отшелушить, как ядро ореха,— оно-то как раз и ускользало от меня.

Я должен был отдать себе ясный отчет в этой опасности: намерение реконструировать свою жизнь — месяц за месяцем, а если можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее подвалах и закоулках,— неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса. Я предчувствовал, что из этого получится: старательное перечисление мельчайших событий прошлого заслонит, поставит под сомнение то, что было исходной посылкой всей этой затеи: уверенность в том, что я — это я, нечто единое и в основе своей неизменное.

Мои воспоминания о младенчестве можно было сравнить с клочками разорванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, но это была скорее память о вещах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолетная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, вещи обступали меня, и я готов был предположить, что на самом деле я помню все и храню все впечатления в архивах моего мозга, но неразвитость психического механизма, который можно назвать упорядочивающим началом, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне выстроить цепочку воспоминаний и поднять со дна памяти целиком то, о чем я, как водолаз, мог судить, лишь обходя вокруг погруженный в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли и всматриваясь в темные иллюминаторы. Там, в залитых водой каютах, покоилась цивилизация вещей, но я мог о ней лишь догадываться.

Таковы были первые три или четыре года жизни, когда мое «я» было скорее условием того, что все это некогда существовало, нежели чем-то первичным — автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаюсь к уже знакомым местам, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчинялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов памяти область уже достаточно упорядоченную, но все еще не подвластную деспотизму времени. Вскоре, однако, само это слово «вскоре» говорит о том, что время взяло реванш,— хронологический принцип вос-

торжествовал: начиная с шести или семи лет я обрел непрерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат времени.

Это скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний, которое я пытаюсь разглядеть, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни. И вот тут-то меня подстерегает ловушка! Чем больше я втягиваюсь в процесс «восстановления», тем гуще и тесней становится моя память, похожая на многонаселенную коммунальную квартиру; подробности обступают меня — вещи, лица, песни, запахи, и, когда наконец я застаю мое «я» уже полностью сформированным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни, за старыми вещами комнат на лестницах и чердаках, за мокрым бельем, развешанным во дворе, и пропадает в переулках, где я помню каждый дом. Голоса зовут меня с улицы, и мне некогда оставаться наедине с собой.

Спрашивается: не есть ли мое «я», каким его возвращает прошлое, чистое «я» воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное моим сегодняшним «я», — не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая чистая доска?

Я снова стал думать о том, что ошибка — в выбранном мною способе изложения, в соблазне объективизма. Я намеревался составить протокол своей жизни, пожалуй, что-то вроде естественно-научного описания; мне казалось, что таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь. Передо мной маячил призрак сверхъязыка, на котором я смог бы ее описать, выразить истину о самом себе, как бы выравшись из собственной шкуры и воспарив над своим «я». Но такого языка не существует.

Погруженный в размышления, я пересек огородное поле, вода все еще хлопала под ногами, я обходил лужи и озерца, пробирался между кустами, стоящими в воде, вышел на берег. Река вернулась в свое русло, но прибрежная полоса песка была еще затоплена. Я брел вдоль берега, обходя заводы, в засученных брюках, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки, постепенно мои мысли приняли другое направление, можно сказать, что они следовали изгибам реки. Мутные вздувшиеся воды катились мне навстречу, река бежала все быстрее, воды блестели, кое-где обнажился песчаный берег в клочьях травы, в пятнах грязной пены, усыпанный черными щепками, мокрым мусором, брошенным на полдороге, поток бурлил, образовав горловину, кустарник превратился в лес, река неслась между глухими зарослями, я заметил полузатопленную переправу, вода перекатывалась через поваленное дерево. Привязанная к торчащим вверх обломкам корней, качалась и билась о ствол лодка, полная воды, она напомнила мне ту, в которой плыли гармонист и баба-семга.

XII

Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертил их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся. Они отвлекали меня от цели. Они пришли мне на ум еще тогда — сколько же дней прошло с тех пор? — когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарованным взглядом окрестность. Туманная, пепельно-голубая кромка на горизонте, далекий, дальний призрак — сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наводил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно. Не оттого ли деревянные башенки, непременно принадлежность дачной архитектуры, мое воображение превратило в башни рыцарских замков?

В шлеме с крестообразной прорезью, с мечом и щитом, на котором был намалеван мой герб, я стоял у калитки в предвкушении вражеского набега, я не успел загореть, мои ноги еще не были искушены комарами: последнее лето на даче, последний, может быть, день детства. Я вспомнил, что сегодня как раз этот день. Мы выехали из города накануне, на грузовике, где стояли корзины, стулья, кухонный стол, патефон, ванночка, швейная машина, плетеная бутылка с керосином, — все это, перевязанное веревками, дрожало и дребезжало, я подскакивал на матрасе рядом с мамой, голова моего отца виднелась в заднем стекле кабины, он сидел рядом с шофером и показывал дорогу, ему оставалось жить полгода. Был ли он убит или замерз в лесах неизвестно. Машина расплескивала лужи, покачивалась на толстых корнях и мягко катила по лесной дороге;

стоя перед калиткой в шлеме и латах утром следующего дня, поджидая вражеское полчище, я не знал, что вторжение уже началось на рассвете.

Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только числа и дни окончательно не перепутались в моей голове, годовщина запоздалого переселения. Восстав в моей памяти, он отказывался вернуться в прошлое, как если бы в самом деле все совершалось одновременно или если бы русло времени искривилось и обогнуло войну, или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне. Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, уединенная усадьба; я не верил глазам — лужайка, терраса, деревянная башенка, перед домом веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, казались мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чьего-то сна: не я грезил, меня грезили.

Но прежде я должен вернуться к томительно-жарким часам после полудня, к этому дню, открывшему череду новых событий, вернуться к томительно-жарким часам после полудня. Виной всему был мой образ жизни, вялое сидение на крылечке, прохладное молоко в кринке и теплые объятия соседки, Мавры Глебовны. Едва начатая рукопись на моем столе тревожила мою совесть, я не отказался от своего замысла или по меньшей мере внушал себе, что не имею права отказаться от него, иначе что же мне делать, куда деваться от самого себя? И все же, говоря по совести, не становилась ли сама эта работа, то, что я называл работой, ради чего скрылся от всех, не становилось ли это времяпровождение в моих собственных глазах чем-то сомнительным? Я помню как в детстве, увлеченный каким-нибудь новым проектом, я с жаром принимался за дело, раскрывал новенькую тетрадку, писал, чертил, рисовал — и внезапно что-то рушилось, и я чувствовал, что игра мне надоела, едва начавшись, и не мог понять, что в ней можно было найти интересного. Какой nepозволительной забавой, думал я, показался бы мой нынешний проект, мои усилия и сомнения, попытки вырваться из тисков литературы при помощи той же литературы и отыскать в подвалах памяти то, что когда-то было действительностью, какой чепухой показалось бы все это человеку другого, того времени, моему отцу; он просто не мог бы понять, чем я, собственно, занимаюсь.

Или прав был Василий Степанович, и моя жизнь в деревне должна была вернуть меня к подлинной действительности, о которой я, может быть, и понятия не имел, к «народу», этому потерявшему смысл понятию, но которое вопреки всему что-то все еще означало, — и таким образом возродить мое писательство, что, собственно, и означало возродить, восстановить, заново отыскать свою личность?

Короче говоря, нужно было встряхнуться. В этот раз я избрал другой путь, переправился вплавь и побрел напрямик через поля к роще. Я шел и шел без всякой мысли и цели в густой траве, и роща, казавшаяся издали совсем небольшой, вставала и раздвигалась мне навстречу. Я пробирался через подлесок, шагал среди мхов, между упавшими стволами, время от времени менял направление, выбрался на поляну; солнце, постепенно опускаясь, сверкало между деревьями, мое путешествие затянулось. Лес поредел, но вместо опушки устланная иглами тропы привела меня к воротам.

Собственно, это были остатки ворот, каменные столбы, штукатурка осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. Дорога со следами колес перешла в липовую аллею. Спустя немного времени я оказался на широком лугу перед домом с террасой, с деревянной башней и поникшим выцветшим флагом, с поблескивающими на солнце окнами.

Дача, наследница рыцарского замка! Дачу можно считать потомком барской усадьбы, а та, в свою очередь, ведет свое происхождение от надела, полученного в дар от монарха. Кто-то лежал в гамаке, свесилось одеяло. Кто-то ехал по аллее. Лошадь мелькала между деревьями; свесив ноги с телеги, ехал Аркаша. Я повернул к аллее и шагал ему наперерез, но, кажется, он делал вид, что не замечает меня. Я выбежал на дорогу. Телега остановилась. «Слушай-ка, а я и не знал, что...» — проговорил я. «А чего», — сказал Аркадий. «Ты тут работаешь?» «Да какая это работа», — возразил он. «А лошадь откуда?» «Председатель дал». «Какой председатель?» «Председатель колхоза». «Какой колхоз, что ты мелешь, колхоза-то никакого нет!» «Колхоза нет, а председатель есть».

Он ждал следующего вопроса.

«Аркаша,— спросил я наконец,— а что это за люди?»

«Которые?»

«Да вот там». — Я указал на компанию, сидевшую в беседке за самоваром.

«А... — пробормотал он. — Живут».

«Как они сюда попали?»

«Как попали... Да никак. Ты-то как сюда попал? Жили и живут. А чего? Места у нас хорошие, воздух. Н-но!» Лошадь тронулась.

XIII

Путник приблизился к беседке. Хозяин, грузный человек с лоснящимся красным лицом, без пиджака, в цветном жилете и с бабочкой на шее приветствовал его иронически-ободрительным жестом. Хозяйка промолвила:

«Милости просим. — И позвала: — Анюта!»

«Не беспокойтесь, татап. Я сама принесу», — сказала молодая девушка и побежала, придерживая платье, к дому. Она вернулась с чашкой и блюдцем, ему налили чаю, пододвинули корзинку с печеньем.

«Сливки?»

Гость поблагодарил. «Простите,— пробормотал он,— что я так неловко вторгся, позвольте представиться...»

«Мы о вас слышали», — сказал хозяин.

«Откуда?»

«Да знаете ли, земля слухом полнится. Не так уж много тут у нас соседей. Вы ведь в деревне живете, не правда ли?»

«Да, если это можно назвать деревней».

«Вот,— сказала, пропустив мимо ушей это замечание, хозяйка, указывая на господина неопределенных лет, который сидел очень прямо и выглядел весьма импозантно, со слегка седеющими баками, в сюртуке, высоком воротничке с отогнутыми уголками и сером галстуке с булавкой,— разрешите наш спор. Петр Францевич утверждает, что...»

«Мама, это неинтересно».

«Нет, отчего же... Мы, знаете ли, увлеклись теоретической беседой. Петр Францевич считает, что смысл нашей отечественной истории, не знаю, верно ли я передаю вашу мысль, Пьер... одним словом, что весь смысл в отречении».

Приезжий изобразил преувеличенное внимание. Петр Францевич солидно кашлянул.

«Если эта тема интересует господина... э... — Приезжий поспешно подсказал свое имя и отчество. — Если вас это интересует. Я хочу сказать, что... если мы окинем, так сказать, совокупным взглядом прошлое нашей страны, то увидим, как то и дело, и притом на самых решающих поворотах истории, русский народ отрывается от самого себя. Да, я именно это хочу сказать: отрывается. Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают к себе варягов...»

«Эта теория оспаривается», — заметил гость.

«Да, да, я знаю... Но позвольте мне продолжить. Призвание варяжских князей, отказ от собственных амбиций. Но зато удалось создать прочное государство. В поисках веры принимаем греческое православие — опять отказ от себя, опять отречение, но зато Россия становится твердыней восточного христианства. Приходит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение: от традиций, от национального облика, — ради чего? Ради приобщения к западной цивилизации, и в результате Россия превращается в европейскую державу первого ранга. Остается еще одно, последнее отречение...»

Хозяин, по имени Георгий Романович, внушительно произнес:

«Х-гм! Гм!»

«Вы не согласны?» — спросил приезжий.

«Я? Да уж куда там...»

«Pardon,— сказал приезжий,— мы вас перебили».

«Остается четвертый и последний шаг — признать религиозное главенство Рима!»

«Ну уж, знаете ли», — засопел хозяин.

«Да что это такое? — сказала хозяйка. — Жорж, ты все время перебиваешь! Дай же наконец Петру Францевичу высказать свой avis*...»

*Взгляд, мнение (франц.).

«Я прекрасно понимаю, — сказал Петр Францевич, — что моя теория, впрочем, какая же это теория, речь идет об исторических фактах, против которых возразить невозможно... Я очень хорошо понимаю, что мой взгляд на историю России может не соответствовать мнению присутствующих. Но коли наш гость... Простите, — он слегка поднял брови, — я не знаю, в какой области вы подвизаетесь, или, может быть, я не расслышал?»

Путешественник промямлил что-то.

«М-да, так вот. Позвольте мне, так сказать, рекапитулировать. Обозрев в самом кратком виде отечественную историю, мы убеждаемся, что она представляет собой ряд последовательных отказов от собственной национальной сущности во имя... во имя чего-то высшего. Признав главенство папы, склонившись перед римским католицизмом, Россия завершит великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую вселенскую империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого достаточных оснований... Но, господи, величие обязывает! Я говорю не о патриотизме. И не о шовинизме, упаси Бог, я по ту сторону и православия, и католичества, я в лоне вселенской Церкви».

«А вам не кажется, что при таком взгляде наша история выглядит не очень привлекательно, русский народ оказывается уж слишком пассивен...»

«Вот именно, — подхватил хозяин, — ты, матушка, не так уж глупа!»

«Георгий Романыч!» — сказала хозяйка укоризненно.

«Вот именно. Хгм!»

Она спросила:

«Еще чашечку? Вы, наверно, скучаете».

«Нет, что вы, — возразил приезжий, — у меня вопрос, если позволите...»

Петр Францевич приосанился. Но тут произошла заминка. Маленький инцидент: два мужика, на которых уже некоторое время с беспокойством оглядывалась хозяйка, подошли к сидящим в беседке.

XIV

Два человека, по виду лет за пятьдесят, один впереди, шупая землю палкой, другой следом за ним, положив руку ему на плечо, оба в лаптях и онучах, в заношенных холщовых портах, в продранных на локтях и под мышками, выцветших разноцветных кафтанах с остатками жемчуга и круглых шапках, когда-то отороченных мехом, от которого остались теперь грязные клочья, с лунообразными, наподобие кокошников, нимбами от уха до уха, остановились перед беседкой и запели сиплыми пропитыми голосами. Вожатый снял с лысой головы шапку и протянул за подающим.

«Это еще что такое? — сказал Петр Францевич строго. — Кто пустил?»

Слепцы пели что-то невообразимое: духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, царский гимн и «Смело товарищи в ногу», все вперемешку, фальшивя и перевирая слова, на минуто умолкли, вожатый забормотал, глядя в пространство белыми глазами: «Народ православный, дорогие граждане, подайте Христа ради двумя братьям, слепым, убиенным...»

«Господи... Анята! Куда все подевались? Просто беда, — сказала, отнесясь к гостю, хозяйка. — Прислуга совершенно отбилась от рук».

«Мамочка, это же...» — пролепетала дочь.

«Этого не может быть! — отрезала мать. — Откуда ты взяла?»

«Мамочка, почему же не может быть?»

Отец, Григорий Романович, рылся в карманах, бормотал:

«Черт, как назло ни копыя...»

Петр Францевич заметил:

«Я принципиальный противник подавания милостыни. Нищенство возвращает людей».

«Боже, царя храни», — пели слепые.

«Надо сказать там, на кухне... — продолжала хозяйка. — Пусть им дадут что-нибудь».

«Может быть, мне сходить?» — предложил гость.

«Нет, нет, что вы... Сейчас кто-нибудь придет».

«Интересно, — сказал приезжий, — как они здесь очутились. Если не ошибаюсь, они были убиты, и довольно давно. Вы слышали, как они себя называют? Подайте убиенным».

«Совершенно верно, убиты и причислены к лику святых. А эти голодранцы — уж не знаю, кто их надоумил. Недостойный спектакль! — возмущенно сказал Петр Францевич. Слепцы умолкли. Шапка с облупленным нимбом все еще тряслась в руке вожатого. — Обратите внимание на одежду, ну что это такое, ну куда это годится? Уверяю вас, я знаю, о чем говорю. В конце концов это моя специальность... Вспомните известную московскую икону, на конях, с флажками. Я уж не говорю о том, что князя — и в лаптях!»

Братья наклонили головы и, казалось, внимательно слушали его. Девушка произнесла:

«Может быть, спросим...»

«У кого? У них?» — презрительно парировал Петр Францевич.

Хозяйка промолвила:

«Наш народ такой наивный, такой легковерный... Обмануть его ничего не стоит».

«Как назло, ну надо же... — бормотал Григорий Романович. — Ma chère, у тебя не найдется случайно...»

«Кроме того, — сказал приезжий, — они были молоды. Старшему, если я только не ошибаюсь, не больше тридцати...»

«Совершенно справедливо!»

Наконец явился Аркадий с деловым видом, с нахмуренным челом, в рабочем переднике и рукавицах.

«Аркаша, пусть им что-нибудь дадут на кухне».

«Да они не голодные, — возразил он, — на пол-литра собирают».

«Боже, — вздохнула хозяйка. — Что за язык!»

«Кто их пустил?» — спросил строго Петр Францевич.

«Сами приперлись, кто ж их пустит! Давно тут околачиваются. Ну, чего надо, гребите отседова, отцы, нечего вам тут делать!.. Давай, живо!» — приговаривал Аркаша, толкая и похлопывая нищих, и компания удалилась. Наступила тишина, хозяйка собирала чашки. Петр Францевич, заложив ногу на ногу, величаво поглядывал вдаль, покуривал папироску в граненом мундштуке.

«Вы, кажется, хотели мне возразить», — промолвил он.

«Я?» — спросил приезжий.

«Вы сказали, у вас есть вопрос».

«Ах да! — сказал приезжий. — Я не совсем понимаю. Каким образом можно согласовать вашу концепцию с тем, что произошло в нашем столетии?»

Петр Францевич с некоторым недоумением взглянул на гостя, как бы видя его впервые.

«Что вы имеете в виду?» — спросил он холодно.

«Что я имею в виду? Ну, хотя бы революцию и... все, что за ней последовало. По-вашему, это тоже самоотречение?»

Петр Францевич ничего не ответил, а хозяин осмотрелся и спросил:

«Где же Роня?»

Оказалось, что дочки нет за столом.

Путешественник почувствовал, что выпал из беседы.

«Разрешите мне откланяться, — пробормотал он, вставая, — ваша уютная дача, я назвал бы ее поместьем...»

Хозяйка мягко возразила:

«Это и есть поместье, здесь мой дед жил».

«Да, но... Угу. Ах вот оно что!»

«Заглядывайте к нам. Будем рады».

«Спасибо».

«Мы даже не спросили, как вам живется в деревне».

«Превосходно. Люди очень отзывчивые».

«О да! Где еще встретишь такое добросердечие?.. Я так люблю наш народ».

«Я тоже», — сказал приезжий.

Он не удержался и добавил:

«Но знаете... Это поместье и моя деревня — это даже трудно себе представить. Два разных мира. Куда все это провалилось?»

«Провалилось? Что провалилось?»

«История, — сказал приезжий. — Мы говорили об истории».

«Я так не думаю», — сопя, сказал хозяин.

«Не следует ли сделать противоположный вывод? — вмешался Петр Францевич. — А именно...»
 «Где же это Ронечка?»
 «Позвольте, я поищу ее».
 «Да, да, сделайте одолжение... Смотрите, какие тучи».
 Постоялец вернулся домой, промокший до нитки.

XV

Проснувшись перед рассветом, я угадывал в потемках жалкое убранство моей хижины, мне до смерти хотелось спать, но заснуть я уже не мог. Настроение мое было смутным, в мыслях разброд. С одной стороны, я был рад моим новым знакомым, а с другой — как быть с моим намерением сосредоточиться, остановить свою жизнь? Меня встретили весьма приветливо, и я предчувствовал, что не удержусь от искушения продолжить знакомство. Надо бы распросить Мавру, наверняка она что-нибудь слышала об этих людях. Солнце уже сверкало позади моей избы, я фыркал под холодным душем, мне стало весело, я вернулся в мою сумрачную комнату; прихлебывая кофе, я озирал разложенные на столе письменные принадлежности, и голова моя была полна разнообразных планов.

Все, что происходило со мною в последние недели, могло бы послужить предисловием к моей работе; я подумал, что следовало бы описать приезд, описать всю длинную дорогу, которая теперь представлялась мне почти символической. Перед глазами стоял первый день, заляпанная грязью машина, заколоченные окна деревенского дома. Я увидел себя стоящим на пороге моего будущего жилья, стройные предложения, как световая надпись, бежали у меня в голове, не хватало лишь первой фразы. Это был хороший признак: я знал, что писанию всегда предшествует замешательство, короткая пауза с пером, повисшим над бумагой. Вроде того как лошадь переступает ногами на одном месте, раскачивает оглоблями тяжелый воз, прежде чем нажать плечами и двинуться вперед, кивая тяжелой головой. Я прибег к известному приему. Окунув перо в чернильницу, поспешно начертил первые пришедшие на ум слова:

«Не так уж далеко пришлось ехать, но едва лишь свернули на проселочную дорогу, как стало ясно, что...»

Моя рука снова зависла над бумагой, я перечеркнул написанное и начал так:

«Два окошка, выходявшие на улицу, были крест-накрест заколочены серыми и потрескавшимися досками. Шофер вытащил из багажника железный ломик и...»

«Молочка! — раздался голос Мавры Глебовны. — Ба, — сказала она, входя в избу, — да ты уже встал».

Она поставила передо мной крынку и уселась напротив. Умытая, ясноглазая, мягколицая. На ней был чистый белый платок, она подтянула концы под подбородком.

«Чего так рано-то?»

«Да вот... — проговорил я, все еще с трудом приходя в себя, ибо инерция включенности в писание может быть так же велика, как инерция, мешавшая двинуться в петляющий путь по бумажному листу. — Да вот. — Я показал на то, что лежало на столе, скудный улов моей фантазии. — А ты уж и корову подоила?»

«Эва, да я знаешь, когда встаю? Все ждала, будить тебя не хотела».

«Я тоже рано встал».

«Отчего так? Куды торопиться?»

«Не спится, Маша».

«Мой-то, — сказала она, понизив голос, — в область уехал. Совещание или чего».

Область — это означало «областной центр» — от нас, как до звезд.

«Он у тебя важный человек».

«Да уж куда важней».

Наступила пауза, я поглядывал на свою рукопись.

«Я чего хотела сказать. Василий Степаныч все одно до воскресенья не придет... Может, у меня поживешь?»

«Неудобно, — сказал я. — Увидят».

«Да кто увидит-то? Аркашка, что ль? Он вечно пьяный. Или на усадьбе работает. Листратиха, так и шут с ней».

«Послушай-ка... — пробормотал я, взял ручку и зачеркнул неоконченную фразу. Мне было ясно, что не нужно никаких предисловий; может быть, позже мы вернемся к первым дням, а начать надо с главного. — Что это за усадьба?»

Ответа не было, я поднял голову, она смотрела на меня и, очевидно, думала о другом.

«Чего?»

«Что это за люди?»

«Которые?»

«Ну, эти».

«Люди как люди, — сказала Мавра Глебовна, разглаживая юбку на коленях. — Помещики».

«Какие помещики, о чем ты говоришь?»

«А кто ж они еще? Ну, дачники. Вроде тебя».

Вздыхнув, она поднялась и смотрела в окошко. Я налил молока в кружку.

«В старое время, еще до колхозов, были господа, вот в таких усадьбах жили, — раздался сзади ее голос. — Я-то сама не помню, люди рассказывают. Деревня, говорят, была большая, землю арендовали».

«У тех, кто жил в этой усадьбе?»

«Может, и у тех, я почему-то помню. Их потом пожгли. Тут много чего было. И зеленые братья, и эти, как же их, — двадцатитысячники».

«Пожгли, говоришь. Но ведь дом цел».

«Может, не их, а других. Люди говорят, а я откуда знаю?»

Я сидел, подперев голову руками, над листом бумаги, над начатой работой, мои мысли приняли другой оборот. Смысл моего писания был заключен в нем самом. О, спасительное благодеяние языка! Письмо — не средство для чего-то и не способ кому-то что-то доказывать, хотя бы и самому себе; письмо повествует, другими словами, вносит порядок в наше существование; письмо, думал я, укрощает перепутанный до невозможности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда.

Она обняла меня сзади, я почувствовал ее мягкую грудь.

«Отдохни маленько».

«Я только встал!» — возразил я, смеясь.

«Ну и что?»

«Работать надо — вот что».

К кому это относилось, ко мне или к ней, не имело значения; мы перебрались репликами, как мячиком.

«Куды спешить, работа не волк».

«А если кто войдет?»

«А хоть и войдет. Кому какое дело?»

«Еще подумают...»

«Ничего не подумают. Да кому мы нужны? Ну чего ты, — сказала она мягко, — не хочешь, что ль?»

«Хочу», — сказал я.

«Ну так чего?»

Мы направились по пустынной улице к ее дому. Ни облачка в высоком небе. В горнице отменная чистота, массивный стол — теперь на месте хозяина восседал я — был накрыт белой скатертью. Бодро постукивали ходики. Мавра Глебовна внесла шипящую сковороду, спустилась в подпол, выставила на стол миску с темно-зелеными, блестящими, пахучими огурцами. Я разлил водку по граненым рюмкам.

Она раскраснелась. Она стала задумчивой и таинственной. Медленно водила пальцем по скатерти. Мы не решались встать.

В дверь скреблись, вошла, подняв хвост, мраморного цвета кошка и вспрыгнула на колени к Мавре Глебовне.

«Пошла вон!...»

Гость сидел, несколько развалясь, упираясь затылком в спинку высокого резного стула, это была, несомненно, барская мебель, сколько приключений должно было с ней произойти, прежде чем она водворилась здесь! Водка подействовала на меня, время застеклилось, самый воздух казался стеклянным, и кро-

вать, как снежный сугроб, высилась в другой комнате. Хозяйка встряхивала двумя пальцами белую кофту на груди, ей было жарко. Я смотрел на нее, на ее полную белую шею, на огурцы и тарелки, на мраморно-пушистого зверя, неслышно ходившего вокруг нас, мне казалось, что сознание мое расширилось до размеров комнаты; если бы я вышел, оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обзираю вещи, не зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня. Я склонился над столом и, стараясь сосредоточиться, тщательно налил ей и себе.

Подняв глаза, я встретился с ее взглядом, но она смотрела как бы сквозь меня.

«Ну что, Маша?..»

«А?» — сказала она, очнувшись.

«Я что-то забалдел. У тебя водка на чем настоящая?»

«А ты кушай. Кушай... Эвон, салцом закуси».

«Я сыт, Маша».

«Сейчас с тобой отдохнем. Я тебя ждала».

«Сегодня?»

«Я, может, десять лет тебя ждала».

Раздался стук снаружи, я слышал, как Мавра Глебовна говорила с кем-то в сенях. Она вернулась.

«Давай, что ли, еще по одной...»

«Давай», — сказал я. Она поднесла рюмку к губам, я залпом выпил свою.

«Кто это?»

«Листратовна, кто ж еще, глухая тетеря».

«Что ей понадобилось?»

«Да ничего, сама не знает. Увидала небось, пришла поглядеть...»

«Ну вот, я же говорил».

«Милый, — сказала она, — чего ты беспокоишься? Ну, увидела, ну, узнала. Да она и так знает. И шут с ними со всеми! Я тебе так скажу... — Она вздохнула, разглядывая рюмку, отпила еще немного и поставила. — Если б и Василий Степаныч узнал, то, знаешь... Может, и рад был бы».

«Рад?»

«Ну, рад не рад, а, в общем бы, сделал вид, что ничего не знает».

Яковырял вилкой в тарелке, она спросила:

«Может, подогреть?»

Кошка сидела на подоконнике. Мавра Глебовна продолжала:

«Василий Степаныч человек хороший. Я ему век благодарна. Заботливый, все в дом несет. У нас, — сказала она, — ничего не бывает».

«Что ты хочешь сказать?»

«То, что слышишь. Неспособный он. Уж и к докторам ходил. А чего доктора скажут? Электричеством лечили, на курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе».

«Ты мне уже рассказывала...»

«А рассказывала, так и еще лучше. — Она широко и сладко зевнула. — Устала я чего-то. Не надо бы мне вовсе пить... А может, и напрасно, — проговорила она, взглянув на меня ясными глазами, — я с тобой связалась... А? Чего молчишь-то?»

Ее пальцы, которые я теперь так хорошо знал, отколупнули пуговку на груди, закрыв глаза, она лежала среди белых сугробов на своей высокой кровати, под вечер доила корову, среди ночи вставала и босиком, в белой рубашке, возвращалась с ковшиком холодного, острого кваса. И кто-то шастал под окнами. Мы пили, и обнимались, и погружались в сон. Наутро голубой день сиял между занавесками и цветами, сверкал никелевым огнем и отражался в зеркале, и смутные образы сна не разоблачали перед нами свою плотскую подоплеку, разве только объясняли на причудливом своем языке моему постылому «я», так много значившему для меня, что оно обесценилось в круглой чаше ее тела, в запахе ее подмышек.

И вот... странное все-таки дело — человеческий рассудок, странное существо, хочется мне сказать, ведь он и ведет себя, как отдельное существо, упорно отстаивающее себя; лежа рядом с моей подругой на высоких подушках, бодрый и отдохнувший, предвкушая завтрак, я не мог не размышлять, и над чем

же? Я раздумывал о том, как я буду описывать эти, не какие-нибудь попутные, не хождение вокруг да около, а именно эти события в моей автобиографии, и сомнения готовы были вновь одолеть меня, я испытывал определенную неловкость, не потому, что «стыдно» (впрочем, и поэтому, ведь стесняешься не только возможного читателя, но и самого себя), а скорее от того, что в таких сценах есть какая-то неприятная принудительность. В наше время автор просто принужден описывать альковные сцены, иначе писанию чего-то не хватает. Чего же: правды? Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, что такое правда... Описанная вплотную, когда водишь носом по ее шероховатой поверхности, пресловутая правда жизни искажается до неузнаваемости. У нас нет языка, который выразил бы смысл любви, ее банальную неповторимость, не жертвуя при этом ее внешними проявлениями.

Не так-то просто отвертеться от этой церемониальной процедуры, от этого торжественного акта, от уплаты по векселю, и кому не приходилось преодолевать внутреннее сопротивление, приступая к исполнению долга, который налагают на нас величие минуты, ситуация, участь женщины и честь мужчины? Что-то похожее происходит с литературой: дошло до того, что без «этого» литература как бы уже и не может существовать. А с другой стороны, я пытаюсь поставить себя на место романиста. Мне кажется, я увидел бы себя в западне.

Многу употреблено выражение «банальная неповторимость». Процесс, описанный со всевозможной простотой и трезвостью, который можно представить с помощью букв и операционных знаков, алгебра соития, где по крайней мере время, необходимое для того, чтобы записать уравнение, совпало бы с реальным временем. Но что такое «реальное время»? То, что совершается в считанные мгновения, не может быть рассказано в двух словах, требуется нечто вроде замедленной съемки. Физиологическое время должно быть заменено временем языка, вязкой материей, в которой вы бредете, словно в густом месиве. Время языка растягивает время «акта» или, лучше сказать, время подготовки и обрывается там, где температура рассказа должна была подняться до высшей точки. Вместе с ним иссякают возможности языка.

Я спросил Мавру Глебовну — мы сидели за завтраком, и нелепая мысль, бесстыдное любопытство, а быть может, и неумение понять женскую душу заставили меня это сказать, я спросил: что она испытала в эту минуту? Она передрнула плечами.

«А подробнее», — сказал я.

«Чего подробнее?»

«Что ты чувствуешь», — спросил я, — когда я... — Станным образом я все еще не мог найти нужное выражение. — Ну, когда мы...»

«Чего спрашиваешь-то? Небось сам знаешь».

И это был лучший ответ.

XVI

Ночью раздались выстрелы. Постоялец пробормотал: «Завтра, завтра...» Это были не выстрелы, а стук кулаком в дверь снаружи. Потом нетерпеливо застучали в окошко. Он выглянул, но ничего не было видно. Он спросил в сенях: «Кто там?» Голос ответил:

«Проверка документов».

«Утром приходите», — буркнул постоялец. Его ослепил фонарь, похожий на маленький прожжотор. Двое в шинелях вошли в избу, один был с портфелем, другой держал пистолет и фонарь. Постоялец зажег керосиновую лампу, человек, вошедший первым, два кубаря, голубые петлицы, должность — ночной лейтенант, сидя боком к столу, перелистывал паспорт.

«Кто еще живет в доме?»

«Я один», — сказал приезжий.

«Сдайте оружие».

Постоялец пожал плечами.

«Есть в доме оружие?» — спросил второй, стоявший сзади.

«Кухонный нож».

«Шутки ваши оставьте при себе», — сказал человек за столом. — Фамилия? — Он смотрел на жильца и на фотографию. — Паспорт какой-то странный, — проговорил он, — что у вас там, все такие паспорта?.. От кого тут скрывается?»

«Ни от кого»,— возразил приезжий. Он объяснил, что хозяин дома — его родственник.

«А это мы еще разберемся, кто тут настоящий хозяин, а кто подставной»,— ответил сидящий за столом, захлопнул паспорт, но не вернул его, а положил рядом с собой.

«Обыскать!» — сказал он кратко.

«Что же тут разбираться? — сказал приезжий, поглядывая на руки помощника, которые ловко шарили по его карманам.— Тех, кто здесь жил давно, уже нет!»

«Вы так думаете? — спросил лейтенант, поставил портфель на пол возле табуретки и принялся разглядывать бумаги на столе.— Это что?»

Личный досмотр был закончен, путешественник, присев на корточки, добыл из чемодана удостоверение, род охранной грамоты.

«Писатель,— брезгливо сказал лейтенант.— И что же вы пишете? Вот и сидели бы там у себя. Сюда-то зачем приехали?»

«Здесь тихо. Чистый воздух».

«Не очень-то тихо,— возразил лейтенант.— А насчет воздуха я с вами согласен.— Он помолчал и спросил: — Кто тут живет, вам известно?»

«В деревне?»

«Известно ли вам, кто проживает в этом доме?»

«Никто. Дом был заколочен».

«Интересно,— сказал человек за столом.— Очень даже интересно. А вот у нас есть данные, что сюда вернулся нелегально бывший хозяин».

«Откуда?»

«Что откуда?»

«Откуда он вернулся?»

«Из ссылки,— сказал лейтенант.— Да ты садись, так и будешь стоять, что ли?... Имеются данные. Это, понятно, не для разглашения, но вам как писателю будет интересно».

«Мне кажется, вы опоздали...» — заметил приезжий.

«Я говорил, надо было выезжать немедленно»,— проворчал помощник.

«А ты помолчи, Семенов... Почему же это мы опоздали?»

Приезжий пожал плечами: «Другое время».

Ночной лейтенант взглянул на ручные часы, потом на ходики, тускло блестящие в полутьме.

«Часы-то ваши стоят. Как же это так? — Он поглядел на писателя.— Живешь, а времени не знаешь,— сказал он, перейдя снова на «ты».— Подтяни гирю, Семенов. Гирю, говорю, подтяни... И стрелки переведи. Да что у тебя, едрена вошь, руки дырявые, что ли!»

Помощник, чертыхаясь, подбирал с полу упавшие стрелки. Лейтенант продолжал:

«Насчет опоздания я тебе вот что скажу: опоздать-то мы не опоздали. А вот что положение становится час от часу серьезней, классовый враг свирепеет, это верно. Вот и носишься по всему уезду. Обстановка такая, что только успевай поворачиваться... Я тебе так скажу. Если в прошлом году у кулаков запасы хлеба были округленно от ста до двухсот пудов, то теперь в среднем до пятисот, а в ряде случаев даже до тысячи... В феврале — в одном только феврале! — органами было обыскано триста шестьдесят шесть мельников и кулаков, обнаружено... точно не помню... что-то около семидесяти тысяч пудов зерна. Это же сколько народу можно накормить! А между прочим, рабочий класс голодает. А у них семьдесят тыщ пудов спрятано. Вот так.— Он поднялся из-за стола.— А теперь осмотрим запасы. Где лабаз?»

«Какие запасы, сами видите, что тут».

«Огород. Хлеб закопан в огороде».

«Ищите, копайте,— сказал писатель.— Авось что-нибудь найдете».

«Найдем, можешь быть спокоен. В феврале нами обнаружено семьдесят тысяч пудов».

«В феврале. Какого года?»

«Нынешнего, какого ж еще... Семенов! Зови людей. А вы пока что... — он дописывал бумагу,— подпишите».

«Что это?»

«Протокол. И вот это тоже».

«Но ведь вы же еще,— пролепетал приезжий,— не закончили проверку... осмотр...»

«Все своим чередом; подписывайте».

На отдельном листке стояло, что такой-то обязуется сообщить в местное управление о появлении в доме или в окрестностях бывшего владельца дома, а также членов его семьи.

Приезжий возразил, что он никого здесь не знает.

«Это не имеет значения. Там разберутся».

«Где это там?» — спросил приезжий.

«Не прикидывайтесь дурачком. Где надо, там и разберутся».

«А все ж таки?»

«Не имею полномочий объяснять. Управление секретное».

«Так,— сказал, берясь за перо, путешественник.— Значит, в случае появления человека, которого я не знаю...»

«Или его родственников».

«Или родственников. В случае появления людей, которых я не знаю, я медленно сообщу о них в управление, о котором тоже ничего не знаю».

Ночной лейтенант пристально взглянул на него.

«Вы что хотите этим сказать?»

«То, что сказал».

«Это мы слышали,— сказал лейтенант спокойно.— Так вы это серьезно?»

«Видите ли...— пробормотал постоялец, чувствуя, что его мысли принимают несколько причудливое направление.— Видите ли, тут вопрос философский. Смотрите-ка,— воскликнул он,— уже светает!»

«Да,— сказал офицер, взглянув на часы.— Надо бы поторопиться. Эй, Семенов! Ты где?»

«Если я вас правильно понял, секретными являются не только деятельность управления, круг его обязанностей и так далее. Секретным является самый факт его существования. Не правда ли? Но ведь вещи, о существовании которых мы не знаем, как бы и не существуют. Возьмите, например, такой вопрос,— продолжал приезжий, придвигая к себе табуретку и усаживаясь,— как вопрос о Боге».

Лейтенант тоже сел и слушал его с большим интересом.

«В рассуждениях на эту тему, я бы сказал, во всей теологии имеется логический круг: рассуждения имеют целью доказать существование Бога, но исходят из молчаливой посылки о том, что он существует! Улавливаете мою мысль?»

«Улавливаю,— сказал лейтенант, потирая колени.— Только я тебе вот что скажу. Ты мне зубы-то не заговаривай».

«Вы меня не поняли. Я не о вашем учреждении говорю. Я его использую просто как пример. Уверю вас, я совсем не собираюсь на него клеветать, наоборот. В конце концов сравнить его с Богом — это даже своего рода комплимент! Так вот, что я хотел сказать. В определение существования входит допущение самого факта существования, если же факт остается тайной...»

Лейтенант сощурился и гаркнул:

«Встать! Руки над головой. Лицом к стенке. К стенке, я сказал!..»

Вошел помощник.

«Обыщи его».

«Уже обыскивали», — сказал, повернув голову из-за плеча, постоялец.

«Разговорчики! Еще раз. Как следует».

«Ноги расставить», — сказал Семенов.

«Ты в башмаках у него смотрел? Стельки, стельки оторви!.. Можешь садиться,— сказал он писателю.— Скажи спасибо, едрена мать, что некогда тобой заниматься... Подпишись здесь. И вот тут... Что там у тебя в крынке, молоко, что ль? Налей-ка мне. Так что ты там толковал насчет Бога? Есть Бог или нет?»

«С одной стороны...— забормотал приезжий.— А с другой... Если допустить, что...»

Лейтенант перебил его:

«А это кто?»

«Где?» — спросил приезжий.

«А вон», — кивнул в угол лейтенант.

«Богородица с младенцем».

«Да нет! Вон энти двое».

«Это святые братья-мученики».

«Семенов», — сказал лейтенант.

«Здесь».

«Ты в глаз не целясь попадешь?»

«Чего ж тут не попасть, запросто», — сказал Семенов, расстегивая кобуру.

«Не стоит, — сказал приезжий. — Это дешевая икона».

«Ты-то откуда знаешь?»

Путешественник ответил, что он немного занимался этими предметами: ремесленная работа начала века. Хотя и восходит, добавил он, к очень древним образцам.

Он испытывал странное желание говорить. Не то чтобы он был слишком напуган этим визитом, но ему казалось, что, разговаривая на посторонние темы, он как бы свидетельствовал свою непричастность. Непричастность к чему?

XVII

«Барин-красавец, не уходи, позолоти ручку, побудь со мной, не уйдут твои дела...»

Две молодки шли по деревне танцующей походкой, босые, вея пестрыми лохмотьями юбок; одна уселась на ступеньках, подоткнув юбку, так что ткань натянулась между скрещенными ногами, другая, с куклой, завернутой в тряпье, — или это был ребенок? — двинулась дальше.

«Ну-ка покажи...»

«Нельзя, карты чужих рук не любят».

«А это кто?»

«Много будешь знать. Мои карты особенные. Всю правду скажут. Ох, барин-красавец! Не знаешь ты своего пути. — Она сгрэбла карты, встала. — Пусти в дом».

«Ты мне тут погадай».

«Не могу, карты в дом просятся. Пусти, не бойся. Сама вижу, у тебя красть нечего. Бедно живешь», — сказала она, войдя в избу, быстро осмотрелась, поместилась за столом, заткнув юбку между ног, поставила пыльные и загорелые ступни на перекладину табуретки и спустила на плечи платок со смоляных конских волос. Ловкие руки сдвинули в сторону мои бумаги, пальцы летали над столом, одну карту она проворно сунула за пазуху.

«Жульничаешь, тетка».

«Нехорошая карта, худая, не нужна она нам...»

Собрала и перетасовала все карты, среди которых мелькали совсем необычные картинки, может быть, карты таро, но вряд ли она что-нибудь в них понимала. Похлопала по колоде, молча протянула ладонь; я выложил трешницу, которую она мгновенно запихнула в желобок между грудей.

«Еще дай, барин».

«Хватит с тебя...»

«Правду скажу, не пожалеешь».

Она протянула мне узкую ладонь с колодой карт.

«Сними верхнюю, своей рукой подыми, что там есть?»

Это был король трэф. Пророчица покачала головой.

«Все не то. Видать, не веришь мне, не доверяешь, душу не хочешь раскрыть. Ещеними».

Оказалась женская фигура в плаще, окруженная звездами. Третью карту она сняла сама и прижала к груди.

«Погляди в зеркало, себя не узнаешь, пути своего не ведаешь, зачем сюда приехал, здесь злой человек тебя сторожит, за тобой следом ходит, пулю для тебя приготовил... Не ходи за рекой, он тебя там поджидает. Лучше уезжай, пока не поздно, не будет тебе здесь счастья, не место тебе здесь... И к этой не ходи, забудь про нее, — она показала карту, — она порчу на тебя наведет. А вот как поедешь, в вагон войдешь, кареглазая подойдет, не отпускай ее, она твоя суженая. Вижу, ох, вижу, тоска на душе у тебя, оттого что пути своего не находишь. Еще денег дай, не жалея, а за то тебе всю правду скажу, только сперва икону закрой. Закрой икону...»

«Бесстыдница, ишь повадилась! — послышался снаружи голос Мавры Глебовны. — Не видали вас тут... А ну катись отсюда, чтоб духу твоего тут не было...»

Ей отвечал чей-то визгливый голос.

Она вступила в избу и увидела гостью.

«А! И эта тоже. Зачем ее пустил? Пошла вон!..»

«Чего раскричалась-то? — возразила гадалка, собирая карты. — Не больно мы тебя и боимся. А то смотри, беду накличешь...»

«Ах ты дрянь, еще грозить мне будет! — бодро отвечала Мавра Глебовна. — Я их знаю, чай, не первый раз, — сказала она мне, — наемни Листратовну обокрали, мальчонкины вещи унесли... Пошла вон из избы, кому говорю!»

«Беду зовешь, вот те крест, дом свой сгубишь, мужик от тебя уйдет... О-ох, пожалеешь».

«Змея подколодная, катись отсюда!»

Женщины вышли наружу, я следом за ними. Прорицательница спрыгнула с крыльца, перед домом ее ожидала другая, с куклой на руках.

«И надо же, прошлый раз прогнала, они опять тут как тут. А ну живо, чтоб я вас тут больше не видела, поганки, шляются тут, людям покою не дают, ишь повадились!»

«Ты доорешься, ты доорешься», — приговаривала первая, поправляя платок.

«А вот этого-того — не видала? — сказала другая, сунула сверток своей товарке и повернулась задом к крыльцу. — На-кась вот, съешь!» — говорила она из-за спины, подняв юбку и кланяясь.

«Испугала, подумаешь», — отвечала презрительно Мавра Глебовна, — хабалка бесстыдная, тьфу на тебя!»

«А вот тебе еще, вот этого не видала?»

«Как же, испугались мы! И надо же, прогнала их, они снова».

«А вот тебе еще, на-кась вот!»

«Дрянь этакая, еще раз припрешься, я тебе...»

«Дурной глаз наведу, доорешься».

«Только приди попробуй, еще раз увижу...»

«И приду, тебя не спрошусь...»

Обе двинулись в путь, гордо покачиваясь и пыля почернелыми пятками. Мы с Машей стояли на крыльце.

«И ты тоже. Нечего их пускать, чего им тут надо».

Она добавила:

«Боюсь я их. Еще нагадают чего-нибудь».

«Ты им веришь?»

«Верь не верь, а что цыганка наворожит, то и будет».

«Ты сама тоже гадаешь».

«Я-то? — усмехнулась она. — Это я так, в шутку».

Слегка парило; день был затянут, как кисеей, облаками; леса вдаль неясно темнели в лиловой дымке. Немного погодя я побрел к реке.

XVIII

Я шагал по широкой лесной дороге, и навстречу мне шла фигурка в белом, под белым кружевным зонтиком, каким, может быть, защищались от солнца в чеховские времена. «Роня, — воскликнул я, — какая встреча!»

Она остановилась. Я подошел и сказал:

«Представьте себе, мне сейчас нагадали, что мне не следует появляться за рекой».

«Поэтому вы и пришли?»

Она свернула зонтик и держала его двумя руками за спиной, мы пошли рядом. Замечу, что ее нельзя было назвать хорошенькой; еще тогда, в мой первый визит, я мысленно отнес ее к типу девушки-подростка, который когда-то называли золотушным: худенькая, почти истощенная, с нездоровой голубовато-молочной кожей. Пожалуй, только густые темно-золотистые волосы украшали ее.

«Вот именно. Бросил вызов судьбе».

Как-то сразу в нашем разговоре установилось ранговое различие, оттого ли, что барышня была некрасивой, или из-за разницы лет: я смотрел на нее

сверху вниз, и она, очевидно, находила это естественным. Все же я должен был что-то сказать и заметил, что мне нравится ее необычное имя, а как будет полное? Она ответила: Рогнеда, явно стесняясь. Ого, сказал я. Есть такая опера Серова. Любит ли она музыку? В таком роде продолжалась беседа.

«Кто же вам это нагадал?»

Мы шли рядом, она спросила, глядя на свои белые туфельки, ступая несколько по-балетному:

«Вы верите в судьбу?»

«Здесь становишься суеверным, — сказал я, — вам снятся сны?»

«Иногда».

«Мне на днях приснилось... Перед этим я совсем было уже проснулся, но опять задремал. И вижу, что я уже одет, утро, выхожу на крыльцо. Вспоминаю, что я забыл что-то. Возвращаюсь и вижу свою комнату в шерстяном свете».

«Почему шерстяном?»

«Такое было чувство: мягкий и колючий свет».

«И все?»

«Собственно, да. На этом все закончилось. Но как-то очень запомнилось. И, знаете, что любопытно, — продолжал я, — не то чтобы этот сон что-то особенное значил. Но я не в состоянии решить, был ли это сон или... литературная конструкция, которая возникла в полузатуманенном сознании и казалась очень удачной, а когда я окончательно проснулся, то вижу — чепуха».

«Вы писатель?»

Я почувствовал досаду. Во мне шевельнулось было желание пококетничать перед 17-летней барышней или сколько ей там было, но что я мог ей сказать?

«Почему вы не отвечаете?»

«Я сам не знаю, Роня».

Пожалуй, и тут была доля кокетства, но, видит Бог, я был искренен. Другое дело — что считать искренностью? Можно быть откровенным и вместе с тем чувствовать, что говоришь не то.

Я добавил:

«Скорее был им».

«А сейчас?»

Я снова пожал плечами. Мне было приятно, что меня расспрашивают, и в то же время скучно отвечать.

«Значит, вы больше ничего не пишете?»

«Гм... так тоже сказать нельзя. Я попробую объяснить, если вам так интересно, но сначала ответьте мне на один вопрос...»

Я взял у нее из рук белый зонтик из шелковой ткани вроде той, из которой шьют абажуры, с кружевной оборкой, с тонкой костяной ручкой, открыл, снова закрыл.

«Таких зонтиков не бывает. Такие зонтики можно увидеть только в кино».

«Почему же в кино?»

Она отняла у меня зонтик. Она ждала продолжения.

Мы свернули с просеки на тропинку в лес.

«Мне не совсем понятно... Впрочем, я слишком мало знаю ваше семейство, которое, должен сказать, внушает мне большую симпатию!»

«Спасибо».

«Так вот, может быть, я слишком поспешно сужу. Но мне кажется, что все это какая-то игра... Ваши родители, дядя... Или кто он там?»

Она возразила:

«А разве ваши слова, то, что вы сейчас произнесли, — не игра?»

«Не понимаю».

«Я хочу сказать, разве кто-нибудь сейчас так выражается: внушать симпатию, семейство?»

«Да, — сказал я, — мы с вами так выражаемся. Это наш язык».

«Но это язык, на котором давно никто не говорит. Это язык сцены. И действие происходит при царе Горохе. Может, и нас тоже давно уже нет?»

«Вы так думаете?» — сказал я рассеянно. Поперек поляны лежало дерево, я расстелил свою куртку на замшелом стволе. Роня села и раскрыла зонтик.

Вдруг она вскочила, оглядываясь и отряхивая подол.

«Они забрались ко мне под платье! — Она переступала ногами в белых чулках и что-то счищала с внутренней стороны коленок.— Пожалуйста, отвернитесь».

«Пойдемте»,— сказал я.

«Нет, постойте. Посмотрите, как они бегут друг за другом, как они заняты. И так целый день, без передышки... Откуда такая энергия?»

«Ваш дядя...»

«Двоюродный»,— поправила она.

«Он из немцев?»

«Он православный».

Мы шли по лесу. Она добавила:

«Он очень хорошего происхождения».

Я вспомнил рассуждения о судьбе России, комментарии Петра Францевича по поводу явления двух нищих и спросил:

«А чем он, собственно, занимается?»

«Он доктор искусствоведческих наук... Но вы мне не ответили».

«Вы тоже не ответили, Роня...»

«Я первая спросила».

«Что вы хотите узнать?»

«Вы приехали сюда, в эту глушь, чтобы?.. Или я вас неправильно поняла».

«Вас это действительно интересует?»

«Интересует».

«Почему мы должны говорить непременно обо мне?»

XIX

На самом деле мне хотелось говорить. Может быть, эта девочка слегка волновала меня, может быть — если уж на то пошло,— во мне заговорил инстинкт охотника, хотя, чего уж там говорить, я принадлежу скорее к породе мужчин, которые предпочитают не охотиться, а чтобы за ними охотились. Но мне не с кем было говорить о предмете, который был моей последней надеждой, от которого зависело теперь все мое существование.

Помявшись, я ответил, что пытаюсь привести в порядок свое прошлое.

Фальшивое слово: получалось, что я человек «с прошлым».

«Видите ли, у каждого человека рано или поздно возникает желание разобраться в своей жизни, подвести итоги, что ли...» — пробормотал я.

«Это автобиографический роман?»

«Не совсем. В том-то и дело, что я бы хотел покончить раз навсегда с беллетристикой, с вымышленными героями...»

«Я думала, мемуары пишут в старости!»

«Для мемуаров моя жизнь недостаточно богата внешними событиями. Кроме того, события меня не интересуют. Меня интересует,— сказал я,— логика внутреннего развития».

И уже совсем упавшим голосом, чувствуя, что говорю не то, добавил:

«Знаете, писание вообще очень трудная вещь».

Она шла впереди меня по узкой тропинке, помахивая зонтиком; я услышал ее голос:

«Можно я вам сделаю одно признание?»

«Какое признание?» — спросил я испуганно.

«Я тоже писательница. То есть, конечно, не писательница: я пробую. Хотите, как-нибудь прочту?»

«С удовольствием».

«Это вы говорите из вежливости».

«Разумеется»,— сказал я.

«Вот видите, я так и знала».

«Можно быть вежливым и в то же время искренним».

«Да? — спросила она удивленно.— У вас есть странная черта».

Она сидела на корточках, подобрав подол, ее коленки, обтянутые белыми чулками, выглядывали из-под платья, жалкие коленки школьницы, круглые женские колени, от того, что она опустилась на корточки, обрисовались ее полудетские бедра, ее тело понемногу оправлялось от первого шока юности, зонтик валялся рядом.

Она что-то разглядывала на земле.

«Какая черта?»

Она встала.

«Вы не говорите «да» или «нет». У вас как-то так получается, что и да и нет».

«Что ж... Хм».

«Почему вы так нерешительны?»

«Потому что сама жизнь так устроена. Сама жизнь нерешительна, Роня».

«А по-моему, жизнь требует определенных решений. Во всяком случае, мужчина всегда должен знать, чего он хочет».

«Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно, каждому из нас приходится принимать то или другое решение. Хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно. На самом деле никогда не существует одного единственно правильного ответа. Мы живем в мире версий».

«Это для меня слишком сложно».

«Не думаю. Просто вы, как и большинство людей, инстинктивно стараетесь упростить вещи и выбираете из многих версий одну. Это и называется проявить решительность».

«Вы и пишете так же?» — спросила она.

«Как?»

«А вот так: и то, и се, а в результате ни то ни се».

«Если вы имеете в виду мое литературное творчество, то я действительно... сомневаюсь в действительности. Видите, получается дурной каламбур. Я просто хочу сказать, что действительность всегда ненадежна, проблематична: и то, и се, как вы удачно выразились».

«Это все философия. А я говорю о жизни, об этом лесе, о том, что вокруг нас!»

«Я говорю о литературе. Я сомневаюсь, что эту действительность можно описать — во всяком случае, описать однозначно. Это касается самых главных вопросов — как к ним подступиться. Вот в чем дело».

«Что вы называете главными вопросами?»

«Кстати, Роня, — заметил я, поглядывая на верхушки деревьев, — а сколько сейчас времени?»

«Это и есть главный вопрос?» — сказала она, смеясь.

«В некотором смысле да».

«А другие вопросы?»

«Это всегда одни и те же вопросы. Жизнь, смерть. Любовь. Отношения двух людей. Секс».

Она хмыкнула. Я взглянул на нее. Мне показалось, что мы говорим об одном, а думаем о другом — о чем же? Я потерял нить. Почему мы вдруг заговорили об этом?

Последняя фраза была произнесена вслух.

«Вы собирались посвятить меня в тайны творчества...»

«Чепуха, какие там тайны!»

«Нет, все-таки».

«Что — все-таки?»

«Вот вы говорили об игре».

«О какой игре?»

«Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду».

«Понятия не имею», — сказал я.

«Перестаньте! Конечно, мы играем. Мы играем самих себя, и в то же время... Например, сейчас мы играем в барышню и кавалера. Конечно, — добавила она, — совсем глупую барышню и солидного, знающего себе цену кавалера».

«Хм, допустим. Что из этого следует?»

«А то следует, что если я барышня и дворянская дочь, то и должна ею ostаваться».

Она тряхнула головой, волосы были прекрасные, ничего не скажешь, бегло оглядела свой наряд и подняла на меня глаза, как если бы перед ней стояло зеркало.

«Дворянская дочь, — сказал я. — Вот как? Интересно».

«Да! — отрезала она. — Так что все эти темы, позвольте мне заметить, совершенно не подходят pour une demoiselle de mon âge*».

* Для барышни моего возраста (франц.).

Я развел руками, несколько сбитый с толку.

«Скажите... — небрежно проговорила она, назвав меня по имени и отчеству. Разгладила на руках тонкие перчатки, выпрямила едва заметную грудь и раскрыла над головой зонтик. — Я вам нравлюсь?»

«Вы прелестны, Роня».

«Будем считать этот ответ признаком хорошего воспитания. Скажите это по-французски».

Я развел руками.

«Но ведь вы поняли, что я сказала».

Я кивнул.

«Вы, кажется, лишились речи!»

«Я согласен, Роня, — сказал я, — что все, что я старался вам внушить, совершенно не для ваших ушей».

«Но, с другой стороны, вы сами говорите, что все в жизни так зыбко и неоднозначно... Относится ли это к любви?»

«Разумеется».

«Не будете ли вы так добры пояснить ваши слова?»

«Охотно, — сказал я, — но лучше останемся в пределах литературы».

«Вы сами себе противоречите. Разве литература и жизнь — это...»

«Далеко не одно и то же. Вы сказали, что мы кавалер и барышня. С барышнями не полагается говорить о жизни».

«Хорошо, будем говорить о литературе. Итак?»

Некоторое время мы шли молча, у меня было чувство, что нечто начавшееся между нами растеклось, ушло в ничего не значащие слова — или они что-то значили?

«Видите ли, — заговорил я наконец, — в разные эпохи любовь описывалась по-разному. Что касается нашего времени, то приходится констатировать, что описание попросту невозможно! Описывать чувства? Это делалось тысячи раз».

«Но каждый человек открывает любовь заново».

«Может быть. Но слова все те же. И фраза, которую вы только что произнесли, тоже произносилась уже тысячи раз. Может быть, этим и объясняется то, что писатели переступили, так сказать, порог спальни. Хватит, сказали они себе, рассуждать, вернемся к действительности. Только и здесь они ничего нового не открыли».

«Видите, я похвалила вашу воспитанность, а вы снова».

«Что снова?»

«Опять заговорили о том, что не полагается слушать благовоспитанным девицам... Знаете что, — проговорила она, — в другой раз как-нибудь. А сейчас расстанемся. Неудобно, если нас увидят вдвоем в лесу».

За деревьями уже виднелась усадьба.

XX

Я потерял счет дням. До сих пор я считал это изобретением беллетристов, но это произошло на самом деле. Полдень года длился и длился, и, право же, не все ли равно: какое сегодня число, какой день недели? То и дело я забывал рисовать палочки и в конце концов забросил календарь. Я знал, что лето в полном разгаре и еще долго короткие ночи будут чередоваться с долгими знойными днями. По-прежнему утром, когда я выходил на крыльцо из прохладных сеней, сверкало солнце позади моего дома, кособокая тень медленно укорачивалась на белой от пыли дороге. Все цвело, млело и увядало под пылающим небом. Целыми днями я валялся полуголый в огороде, раздумывая над своим трудом, и вел дневник. Этот дневник, который всегда лежал под рукой на подстилке, был моим изобретением, если угодно, это был компромисс: устав чертить завитушки, я решил, что мои сомнения могут быть плодотворны, если доверить их бумаге, и самый рассказ о том, как я пытаюсь взяться за дело, есть часть моего дела. Словом, я решил вести дневник своей нерешительности: вместо того чтобы писать, я писал о том, как я буду писать, или, вернее, о том, как не следует писать. С замиранием сердца я думал о том, что нашел выход, ведь главное — не правда ли? — это копить написанные страницы. Я вспомнил один старый замысел: несколько лет я был увлечен проектом сочинить некий антироман — кни-

гу о том, как не удастся написать роман. Сюжет есть, все есть, а роман не получается; это и есть сюжет.

Мне стало легко и весело. Я записал в дневнике, что завтра не буду делать никаких записей; жуя травинку, с увлечением я писал о том, что значит в жизни писателя день, проведенный *sine linea*. На другой день рано утром, с ромашкой в зубах, с купальными принадлежностями под мышкой, я пришел в усадьбу. Экипажи ждали перед домом. В беседке Петр Францевич, весь в белом, в соломенной шляпе с петушиным пером, сидел над большим цветным планом окрестностей, который, замечу попутно, он сам начертил и раскрасил; в центре, подобно Иерусалиму на старинных картах, находилось поместье. Роня и ее мать уселись в просторной рессорной коляске, я напротив, рядом с могучим Василием Степановичем и спиной к Петру Францевичу, который вызвался править. Позади нас стояла телега с провизией, на передке помещался Аркадий, который по этому случаю облачился в армяк и насадил на голову древнюю фетровую шляпу; Мавра Глебовна сидела между корзинами, мы не разговаривали, здесь действовали другие правила. Что касается хозяина, почтенного Георгия Романовича, то он остался дома для беседы с управляющим (что это значило, я не стал выяснять) и в данный момент стоял на крыльце веранды, грузный и краснолицый, собираясь махнуть нам рукой на прощание.

Мышастый жеребчик по имени Артюр подрагивал и переступал задними ногами. Дамы раскрыли зонтики. «Ну-с», — бодро произнес наш возница. «Храни вас Бог!» — прокричал с крыльца Георгий Романович.

Мне тотчас представился классический сюжет: хозяин возвращается в дом, где Аня с занятым видом, опустив глаза, шныряет из комнаты в комнату. Скрипит дверь в кабинете... «Звали?» «Да, вот тут то да се. Да ты подойди поближе. Что так раскраснелась?» «Бежала шибко». «Куда ж ты торопишься?» «Дела, барин. Работа ждет». «Не уйдет твоя работа. Анютушка, побудь со мною». «Лучше в другой раз». «Да когда ж в другой раз? Мы с тобой одни». «Ах, барин, опять вы за свое. Пустите, барин». «Анютушка... какая ты...» «Да ведь опять забеременею. Мне расхлебывать, не вам».

Коляска катилась по лесу, было все еще рано, птицы перекликались, и особенное чувство благодарности за жизнь, за это утро, за то, что мы существуем, охватило всех. Дорога слегка петляла, солнце сверкало в кронах деревьев то слева, то справа от нас. Следом, блюдя некоторое расстояние, скрипела телега с прислугой, сидя спиной к вознице, я видел мелькавшую за серо-золотистыми стволами сосен, непрерывно кивающую голову мерина, надвинутую на уши шляпу Аркадия, покачивающееся, освещенное солнцем и как бы лишенное черт лицо Мавры. Мой сосед, полуобернувшись, давал указания Петру Францевичу, высокомерно молчавшему. Василий Степанович заявил, что знает эти места, как свои пять пальцев. Возница всем своим видом показывал, что он здесь тоже не чужой. Деревья расступились, экипажи выехали на открытое пространство.

Василий Степанович показал на низкие сооружения на краю поля и арку с флагами, к ней вела, постепенно расширяясь, грязная дорога.

«Но!» — прокричал Петр Францевич. Артюр надал, мы понеслись, подсакивая на рессорах, вдоль лесной опушки.

Мать Рони спросила:

«А где же коровы?»

«Какие коровы?» — спросил Василий Степанович.

«Вы сказали: коровники. Мне кажется, если выстроены коровники, то должны быть и коровы».

«Самой собой, — сказал Василий Степанович, — но тут, как бы вам сказать, случай особый. Хотите, расскажу? Я как заведомо обязан присутствовать на сессии».

«Это какая же такая сессия?» — надменно спросил с козел Петр Францевич.

«Будто вы не знаете. Сессия районного совета».

«Угу. И чем же вы там занимаетесь?»

«Чем занимаемся... — сказал, усмехнувшись, Василий Степанович. — Делами занимаемся, вопросы рассматриваем. Сессия, известное дело, сама ничего не решает, решение готовим мы, а ихнее дело проголосовать. Я к чему это рассказываю. Дали слово одной доярке: поделиться передовым опытом».

«Как интересно!» — сказала мать Рони.

«Погодите... Дали, значит, ей слово. Вот она делится. Мы, говорит, тоже решили откликнуться на постановление о крутом подъеме животноводства. На нашей ферме содержится двадцать коров. Но, понимаете, товарищи депутаты, мы столкнулись с таким вопросом, что весна уже проходит, лето на носу, давно пора выгонять скот на пастбища. А он стоит и не может выйти».

«Кто не может?»

«Скот не может выйти. Столько накопилось за зиму навоза, что коровы стоят, простите, в дерьме по самое брюхо. Еще немного, и, как говорится, с концами. Вот тебе и передовой опыт».

Коляска катилась вдоль леса, телега тащилась следом. Время от времени нас потряхивало, Роня с полузакрытыми глазами предавалась мечтам, ее мать, поджав губы, молча смотрела перед собой.

«Н-да, — отозвался с козел Петр Францевич, — хороши работнички. Ситуация авгиевых конюшен. Впрочем, решение для такого случая уже давно найдено. Десятый подвиг Геракла».

«Не понял».

«Геракл, чтобы очистить от навоза конюшни, пустил туда воды двух рек».

«Где ж это было?» — спросил Василий Степанович.

«В Греции».

«Ну, может, у них это возможно, а у нас другие условия. Короче говоря, куда денешься? Бросили старые коровники и построили новые. Вот эти самые».

«До следующего раза?» — спросил Петр Францевич.

Василий Степанович ничего не ответил.

«Да, но где же коровы? Я не вижу коров».

«А хрен их знает!» — мрачно сказал Василий Степанович, и общество погрузилось в молчание. Дорога шла на подъем, опушка леса отодвинулась. Все шире раскрывалась и расступалась перед нами окрестность, поле казалось дном плоской перевернутой чаши, коровники, окруженные черной жижей, и деревянная арка с выцветшими флагами и лозунгом остались внизу, впереди синели леса. И, почти уже нереальные, угадывались за ними другие, дальние и едва различимые лесные просторы. Дамы дремали, повисшая голова Василия Степановича, с открытым ртом, моталась рядом со мной, на козлах величественно-неподвижно возвышалась фигура Петра Францевича с расставленными руками, в которых висели вожжи.

«Где мы, собственно, едем?» — спросила, очнувшись, мать Рони.

Коляска спускалась в лошину среди кустарника, закрывшего мало-помалу горизонт и синие дали; конь Артюр, прядя ушами, осторожно ступал по еле видной колее, ветви обшаривали нас в зеленом сумраке, у Петра Францевича чуть не сорвалась с головы соломенная шляпа.

Василий Степанович, знавший окрестности, как свои пять пальцев, храпел и раскачивался. Лошадь шла все медленней и наконец остановилась, потеряв дорогу.

«Мы заблудились, Пьер!» — в ужасе прошептала мать Рони.

«Тем лучше, татап, как интересно!»

Василий Степанович открыл глаза, пожевал губами, поинтересовался, где мы. Никто не ответил, он обернулся к вознице. «А это что такое?» — осведомился он, увидев, что Петр Францевич расстелил план на коленях.

«Карта нашего уезда».

«Уезда, гм. Уездов теперь нет, драгоценнейший. И что же вы там нашли?»

«К вашему сведению, — холодно сказал Петр Францевич, — здесь все есть: и ваша деревня, и...»

«Я эти места знаю. Я здесь вырос. Мальчонкой в этой самой речке барахтался. В общем, не надо нам никаких карт, поехали, давай», — промолвил Василий Степанович, переходя на «ты», хотя не совсем ясно было, к кому это «ты» относится.

Артюр выволок нас на лужайку, которая оказалась берегом реки; на той стороне, вдали, виднелись деревенька и обломок церкви. Внизу между ветлами и кустами обнаружилась маленькая песчаная отмель. Несколько времени спустя, скривя колесами, подъехала телега с Аркашей и Маврой Глебовной.

«Матап!» — послышался голос Рони.

Она стояла у воды, в купальнике, освещенная солнцем. Я вышел в плавках из-за кустов, и мы бросились в воду.

XXI

Если точно соблюдать последовательность событий — если называть событиями обыкновенный банальный пикник и обыкновенные разговоры,— то дело было так: подъехали к речке, и я предложил сперва искупаться, а потом уже сесть за трапезу. Предложение было встречено общим согласием, прислуга занялась приготовлениями на лужайке, а мы втроем — я, Петр Францевич и Василий Степанович — отправились вверх по течению реки, предоставив маленький пляж в распоряжение женщин.

Под ветлами, среди ветвей, вибрирующих в темной воде, не было дна, зато на солнце, на середине реки вода была теплой, под ногами почувствовалось песчаное дно; я потерял из виду моих спутников, вступивших в нескончаемый разговор о проблемах сельского хозяйства; ближе к противоположному берегу течение вновь убыстрялось; выбравшись, я лег на траву. В вышине надо мной плыли рисовые облака, и такие же прозрачные, невесомые мысли струились на дне моих полужакрытых глаз, я думал о том, что в некотором особом состоянии самоотчуждения мы способны следить за нашей мыслью, не принимая в ней участия, я думал, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно, в сущности, отстраниться от жизни. Зыбкие воды неслись передо мной — темный, дрожащий и вспыхивающий на солнце поток. «Ку-ку!» — раздался голос рядом, я отвел руку от лица, шурясь от солнечного сияния, и увидел Роню, стоявшую надо мной в полосатом, белом с сиреневым купальнике, увидел ее ноги, слишком длинные оттого, что я смотрел на них снизу, обтянутый купальником лобок и возвышения груди. Солнце стояло у нее за спиной, лицо казалось темным в окружении пламенеющих волос. Она присела на корточки, держась одной рукой за землю, ее коленки блестели.

«Мне кажется,— сказал я, приставив ладонь к глазам,— таких купальных костюмов в то время еще не носили. Если я ошибся, поправьте меня». «Вы ошиблись,— возразила она,— бикини появились в конце века». «Но мы должны договориться по крайней мере,— продолжал я,— в каком времени мы живем. Я думаю, они назывались тогда иначе...» «Разве это так важно?» «Во всяком случае,— сказал я, смеясь, и положил руку на ее колено,— их должны были носить исключительно смелые девицы». «Э, так мы не договаривались,— сказала она.— Уберите вашу руку, иначе я потеряю равновесие. У меня и так ноги затекли». «Я задремал,— пробормотал я,— может, и вы мне снится, Роня?» «Может быть»,— сказала она. «Но ведь во сне, не правда ли, все позволено. Во сне все происходит так, как оно происходит, во сне не надо спрашивать разрешения». Она опустила на колени, оперлась ладонями на траву, и еще заметней выступили ее ключицы над круглым вырезом купальника.

Кончиками пальцев она слегка провела по волосам у меня на груди: «Как шерсть». «Человек произошел от обезьяны,— сказал я.— По крайней мере мужчина». «Эх, вы»,— сказала она с упреком. «В чем дело, Роня?» «Почему вы говорите банальности? Почему мы должны вести себя, как самые пошлые...— Она запнулась.— Или вы считаете, что я ничего другого не заслужила?»

Так или примерно так происходили события, если считать событиями слова, что всегда казалось мне противоестественным. Устав сидеть на корточках, она уселась вполоборота, поджав ноги, моя ладонь покоилась на ее бедре, не пытаясь продолжить знакомство с ее телом. Она взглянула на мою руку.

«Я жду»,— сказала она.

«Чего вы ждете?»

«Я жду, когда вы извинитесь».

«За что?»

«Вы злоупотребили моим доверием».

«Роня,— проговорил я,— во сне все разрешается».

«И тем не менее».

«Успокойтесь... Мы не выходим за рамки».

«За рамки чего?»

«Времени, разумеется».

Я перевернулся на живот, подпер голову ладонями. Роня тоже изменила позу, вытянула ноги и оперлась о землю рукой, такой слабой и тонкой, что, казалось, она вот-вот переломится в локте.

«Вы мне все-таки так и не объяснили...»

«Что не объяснил?»

«Давеча, когда мы гуляли в лесу».

«Я же вам сказал».

После этого наступило молчание, ни малейшей охоты о чем-либо рассказывать у меня, разумеется, не было, но опять же я не мог подавить соблазн слегка пококетничать перед этой барышней, подразнить слегка ее любопытство. Я был искренен с Роней; моя искренность была наигранной. За кого она меня принимала? Мое замешательство подстрекало ее воображение.

«Кто я такой, гм... Пожалуй, вы примете то, что я скажу, за желание покрасоваться или заинтриговать вас, но, уверяю вас, ничего подобного... — проговорил я лениво. — Я вообще совсем не то, чем я вам, по-видимому, представляюсь, я даже не то, чем я кажусь самому себе. Я, знаете ли, вообще не я, а он!»

«Как это?»

«А вот так. Он приехал в деревню, он поселился в заколоченной избе. Он взошел на крыльцо... Понимаете: не я, а он».

Я взглянул на Роню, или Рогнеду, или как там ее звали, и мои глаза словно под действием силы тяжести соскользнули на ее шею, ключицы, живот. Она выдержала этот невольный осмотр.

«Хорошо, — сказал я, — только это сугубо между нами. Поклянись, что никому не скажете. Нагнитесь, я вам скажу на ухо...»

«Зачем же на ухо? Здесь никого нет».

Она наклонилась ко мне, я мгновенно перевернулся на спину, обхватил ее за шею, так что она чуть не повалилась на меня, и что же мне еще оставалось делать? Я поцеловал Роню.

Клянусь, при всей неожиданности этого события она его ждала.

«Mais... vous êtes impossible, — пробормотала она, — там, наверное, заждались...»

Я сидел, обхватив колени руками; ну вот, подумал я ни с того ни с сего, эксперимент удался. О чувствах не могло быть и речи. Мне показалось, что она ответила еле заметным движением губ на мой поцелуй, словно полусознательно хотела подогреть желание, словно чувствуя, что температура падает. Все шло как по-писаному. Если бы я взялся сочинять подобную сцену, мне не осталось бы ничего другого, как придумать то же самое, те же реплики; мне стало ясно, что «эксперимент» состоял именно в том, чтобы убедиться в рутинности наших слов и, увы, наших побуждений.

Согласно правилам я должен был выступить в роли совратителя. От меня ждали поступков — иначе говоря, от меня ждали слов. В духе того времени, которое цепко держало нас, из которого — вот смех — мы не могли выбраться, от меня ждали признаний, которым не следовало доверять, уверений в том, что я ни на что не надеюсь. «Ни на что» должно было означать, что я именно на «это» и надеюсь. Моя любовь нуждалась в риторике, как тело требует одежды, чтобы подчеркнуть свою соблазнительность.

Отшатнувшись — или сделав вид, что она от меня отшатнулась, — она медлила: этого требовал сценарий. Она ждала слов. Чего доброго, она ждала клятв. Если же я молчу, значит, что-то должна сказать она: например, что вопреки тому, что «случилось», она считает меня честным человеком. И тут, я думаю, она почувствовала, что я не то чтобы не владею искусством любовного красноречия, но принадлежу времени, когда красноречие лишилось смысла. Все слетело с нас обоих — игра, и правила, и французские фразы, осталась девочка в смятении оттого, что ее впервые поцеловали, и скучающий гражданин без определенных намерений и определенных занятий.

«Но вы так и не ответили», — пробормотала она. Вскочив, она побежала к реке, с плеском, с шумом бросилась в воду и поплыла к тому берегу.

XXII

Любовь — словечко подвернулось само собой... Зачем она мне? Я удрал из города не для того, чтобы предаваться на лоне природы новым утехам, в конце концов для постельных надобностей у меня была женщина — к чему искать других приключений? Как выразились в старину, я «похоронил себя» в деревне. Я сошел с поезда жизни на глухом полустанке; быть может — кто знает? — это была конечная остановка.

Тут мне, конечно, возразят: выключиться из жизни — как это можно себе представить в нашей стране? Жизнь тащила всех, хочешь не хочешь, как вода несёт щепки. Разобраться в себе, искать смысл и оправдание своей жизни? Смешно... Это крысиное существование, безостановочное перебирание лапками в толпе себе подобных, сопение и попискивание, толкотня на улицах, теснота магазинов, теснота подземных переходов, вагонов метро, бюрократических коридоров, общественных сортиров, вечная спешка, вечная борьба за местечко — все это попросту перечеркивает всякое вопрошание о смысле жизни. Какой там смысл... Привычка к стадному существованию не располагает к рефлексии; все равно, что танцевать, идя за плугом, как сказал, если не ошибаюсь, Лев Толстой. Я убежден, что патриархальное общество облегчило переход к крысиному обществу. К поднадзорному обществу, к обществу, над которым — над этими толпами, над крышами городов, над каждой супружеской кроватью и каждой колыбелью — стояло мертвое светило, огромный мутный глаз государства.

Но, слава Богу, я разделался со всем этим. Да, я спасаю от этой жизни, от паутины человеческих взаимоотношений, от чувства, что постоянно задеваешь кого-то и трешься об кого-то, спасаю от этой чудовищной тесноты! Я обрел счастье быть самим собой, другими словами — счастье быть никем. Так и надо было ответить Роне: я — никто. Моя третья жена, Ксения, закатаила мне сцену, после которой мы больше не виделись. Замечательно, что это не была сцена ревности, для чего, честно говоря, нашлись бы основания; ничего подобного. Я отвлекаться, но раз уж вспомнил, надо договорить.

Ее упреки сводились к тому, что я ничего не хочу делать, ни о чем не беспокоюсь — одним словом, представляю собой, как она выразилась, законченный тип тунеядца. Замечу, что, если бы я что-то «делал», например, продолжал свою литературную деятельность, я еще больше заслуживал бы этого определения. Но, хотя главным пунктом обвинения было то, что я равнодушен к окружающим (то есть к ней), верно было и то, что все последние годы я жил, в сущности, на ее заработки. Было вполне логично требовать от меня компенсации, то есть любви во всех смыслах этого слова, включая физический. Но довольно об этом.

Когда следом за Роней, помедлив ради приличия, я поднялся на берег, на лужайке была уже расстелена скатерть, Мавра Глебовна, в кружевной наколке и белом переднике, инспектировала корзину с провиантом. Я старался не встречаться с ней глазами, но она и не смотрела в мою сторону, опустив глаза, расставляла на скатерти все необходимое. Аркадий распряг лошадь; я заметил, что у него была припасена бутылка, тем не менее барон Петр Францевич дал знак Мавре Глебовне, она приблизилась с маленьким подносом и серебряной чаркой, Петр Францевич налил полную чарку из барского графинчика, и Мавра Глебовна поднесла ее Аркаше. Тот вскочил, утер губы и, держа чарку перед собой, истово перекрестился и поклонился господам; Петр Францевич благосклонно кивнул. Эта маленькая пантомима развлекла нас.

Мавре Глебовне было наказано следить за Аркадием, после чего прислуга расположилась в сторонке. Василий Степанович разлил мужчинам водку, вино дамам, молча поднял рюмку, мать и дочь усердно крестились, глядя на дальнюю церковку, некоторое подобие крестного знамения сотворил и Петр Францевич; Василий Степанович вздохнул, насупился, поставил рюмку и, в свою очередь, решительно перекрестился. Петр Францевич несколько иронически, как мне показалось, покосился на него. Храня молчание, как положено, мы опрокинули свои рюмки, дамы пригубили из бокалов.

«Вот народ,— сказал Василий Степанович, жуя бутерброд с краковской колбасой,— нет, чтобы клуб устроить или какое-нибудь полезное помещение».

Петр Францевич солидно намазывал масло на ломтик белого хлеба, подцепил вилкой сыр. «Рогнеда,— промолвил он,— передай, милочка, маслины...»

Некоторое время помалкивали, ели.

«Вы имеете в виду церковь?» — осведомился Петр Францевич.

«Ну да. Ободрали все что можно, набросали мусора, нагадили — и бросили».

«При чем же тут народ? — заметила мать Рони.— Народ не виноват».

«А кто ж, по-вашему?» — спросил Василий Степанович и разлил по второй.

«Рогнеда, передай, пожалуйста, семгу...»

«Хороша наливочка, крепенькая! Небось наша, местная...»

«Смородинная», — сказала мать Рони.

Чтобы не показаться невежливым, я произнес какую-то глупость — что, дескать, разрушенная церковь тоже своего рода символ.

Петр Францевич моментально уцепился за это слово:

«Символ чего?»

«Символ исчезновения Бога».

«Вы хотите сказать, — прищурившись, с рюмкой в руке, молвил Петр Францевич, — вы хотите сказать: Бог умер?»

«Нет, — возразил я, — эти времена уже давно прошли. Когда жил Ницше, Бог был еще где-то рядом. Как покойник, который лежит в открытом гробу, в окружении близких. Бог умер — представляете себе, что это означало? Это означало, что и мы все умрем, и вся наша мораль ничего не стоит, и все напрасно, вся суета ни к чему».

«Но вы говорите, что это время прошло».

«Прошло... А следовательно, прошли и все сожаления. Смерть Бога была сенсацией, теперь она уже никого не интересует. На месте Бога осталась пустота, сперва она всех пугала, а потом привыкли, оградку вокруг построили и кланяются этой пустоте. Не умершему божеству молятся, а тому, что осталось на его месте: пустоте».

Петр Францевич молчал, все еще держа перед собой полную рюмку, ноздри его раздувались.

«Милостивый государь, — проговорил он, — мне кажется...»

«Вы просто клеветеете на наш народ», — сказала мать Рони.

«Ладно, умер, не умер, — сказал, держа в одной руке рюмку с темно-розовой наливкой, а в другой — золотистую глыбу пирога с капустой, Василий Степанович. — Как говорится, не пора ли! Предлагаю выпить за здоровье нашей многоуважаемой...»

Все обрадовались этой реплике, а мать Рони промолвила, кисло улыбаясь:

«Наконец-то в этом обществе нашелся хотя бы один учтивый человек».

Пир продолжался; Мавра Глебовна, последовав приглашению барыни, скромно сидела рядом с захмелевшим Василием Степановичем; разделенные сословной преградой, мы по-прежнему избегали смотреть друг на друга. Насколько времени спустя она отвела мужа в тень, он спал, накрыв лицо носовым платком. Аркадий храпел в кустах, а конь Артюр, прыгая спутанными передними ногами, скучал на лугу.

Женщины удалились. Петр Францевич неподвижно сидел в надвинутой на глаза соломенной шляпе. Он поднял голову и спросил:

«Не хотите ли... э?»

XXIII

«Не угодно ли вам пройтись?» — змеиным голосом сказал доктор искусствоведческих наук.

Я встал. Петр Францевич быстро шел, внимательно глядя себе под ноги. Миновали перелесок. Петр Францевич остановился.

«Милостивый государь, — начал он, — я полагаю, вы догадываетесь, с какой целью я пригласил вас... э... прогуляться».

«Догадываюсь, — сказал я. — Вы хотели изложить мне вашу концепцию монархического строя в нашей стране».

Мы стояли друг против друга.

«Вы, однако ж, юморист. — Он обвел взором верхушки деревьев и прибавил: — Монархия погубила Россию. Но я не думаю, чтобы эта тема вас особенно занимала...»

«Нет, отчего же».

«Монархия погубила Россию, не удивляйтесь, что слышите это из уст дворянина... Могу вам даже назвать точную дату, исторический момент, начиная с которого все стало шататься и сыпаться. Революция, которой вы придаете такое большое значение, лишь завершила этот процесс».

«Значит, революция все-таки была?»

«Конечно, была. Почему вы спрашиваете?»

«Мне казалось, вы о ней забыли... Так какой же это момент?»

Петр Францевич посматривал на меня, почти не скрывая своего презрения. «Знаете что,— промолвил он,— я все время задаю себе вопрос: кто вы такой?»

Я ответил:

«Представьте себе, и я задаю себе тот же вопрос. Но еще больше меня интересует, кто такой вы!»

«Вот как? И... какой же вы нашли ответ?»

«Но я хотел бы услышать сначала ваш ответ. Уверены ли вы, что можете сказать, кто вы?»

«Полагаю, что да»,— сказал он твердо. По узкой тропинке мы двинулись дальше, он шел впереди.

«Если я не ошибаюсь...»

«Вы не ошиблись»,— сказал он.

«Но вы же не знаете, что я хочу сказать».

«Это не важно. Я все ваши мысли прекрасно понимаю, а вы, как я догадываюсь, понимаете мои».

«Так как же насчет монархии?»

«Монархии? — спросил Петр Францевич.— Странно, что вас это интересует. Но я уже вам сказал. Я имею в виду не этого, не последнего Николая, которого теперь собираются объявить святым. На самом деле это был не государь, а фантом. Пустое место».

«Мне странно это слышать от вас, Петр Францевич».

«Разумеется... Впрочем, виноват не он, все равно уже ничего нельзя было изменить. Виноват, если хотите знать, первый Николай, который замыслил поставить во главе государства бюрократическую верхушку. Оттеснить родовую аристократию, заменить сословное общество чиновным. Что ему и удалось. И вот результат: страна плебеев. Общество, где естественное деление на сословия заменено искусственными этажами: наверху полуграмотные чиновники, внизу быдло. И где, конечно, простой народ, за отсутствием внутренних регулирующих и сдерживающих начал, бессознательно тоскует по строгому укладу. В этом все дело, милостивый государь! Лошадь тоже скучает по оглоблям».

«Вы хотите сказать, что дворянство не оставило наследника?»

«Вот именно. Не оставило. На Западе были буржуа. А мы не Запад. Откуда же им взяться, этим сдерживающим началом? От религии ничего не осталось, церковь пресмыкается перед властью, превратилась в Ваньку-встаньку, в марионетку тайной полиции. Народ... Извольте сами видеть. Или люмпены, как наш Аркадий, или хамы наподобие милейшего Василия Степаныча. Вот что значит остаться без аристократии».

«Простите, а вам не кажется, что...»

Он обернулся ко мне.

«Нет, не кажется. И вообще, я думаю, вы понимаете, что я вас позвал не ради удовольствия вести с вами ученый спор».

«Такая мысль приходила мне в голову».

«Тем лучше. Итак!» — сказал искусствовед, подняв брови.

«Если не ошибаюсь, вы хотите поговорить со мной о Роне...»

«Вы догадливы».

«Вы стояли в кустах. Я случайно вас заметил».

«Случайно. Вот именно. Надеюсь, вы не думаете, что я имею привычку подглядывать и подслушивать?»

«Нет, не думаю».

«Но речь идет не обо мне».

«Я вас слушаю»,— сказал я, грызя травинку.

«Нет, это я вас слушаю!»

Я пожал плечами.

«Милостивый государь,— сказал Петр Францевич.— Мы одни, позвольте мне быть откровенным. Я нахожу ваше поведение невозможным! Или вы объяснитесь, или...»

«Или что?» — спросил я.

Глубокий вздох.

«Перестаньте притворяться. Вы, вероятно, знаете, а если не знаете, то я должен поставить вас в известность... Я имею в отношении Рогнеды Георгиевны самые серьезные намерения».

«Угу. И что же?»

«И я не допущу, чтобы честь девушки, доброе имя семьи потерпели ущерб только из-за того, что какому-то заезжему авантюристу вздумалось... Да, вздумалось!..»

Я был в восхищении от моего собеседника.

«Петр Францевич,— сказал я,— вы оценили мое чувство юмора, я отдаю должное вашему остроумию. Предмет, мне кажется, не заслуживает того, чтобы...»

«Ага,— крикнул он, задыхаясь,— не заслуживает! По-вашему, предмет, как вы изволили выразиться, не заслуживает...»

«Того, чтобы портить себе нервы. Давайте лучше поговорим о...»

«Не спрашиваю вас, что вы подразумевали под этим словом «предмет». Комментировать ваше замечание насчет нервов тоже не намерен. К делу: вы не хотите объяснить мотивы вашего поведения?»

«Какого поведения, Петр Францевич, что я такого сделал?»

«Вы не хотели бы извиниться?»

«Не понимаю, за что и перед кем я должен извиняться».

«Прекрасно,— сказал он.— Вы обо мне еще услышите».

Женский голос раздался в лесу: нас звали.

«Убедительная просьба,— пробормотал Петр Францевич,— этот разговор должен остаться между нами».

Я кивнул; мы разошлись в разные стороны.

Вопреки уверениям Василия Степановича дорога, по которой он предложил возвращаться домой, оказалась много длинней; ехали уже целый час, а лесу все не было конца; солнце село, между черными деревьями разгоралось серебряное небо. Птицы понемногу умолкли, и наступила глубокая тишина; слышался мерный шаг лошади, поскрипывали колеса. Правил Аркадий. За коляской постукивал второй экипаж с Маврой и искусствоведом, пожелавшим ехать в телеге. Лес расступился, над черным полем раскрылось безлунное и беззвездное небо, лишь кое-где в темно-голубой бездне мерцали серебряные огоньки. Лошадь, кивая большой головой, равномерно работая крупом, шагала среди трав.

Молча, очарованные и подавленные огромным, как мир, пустым небом, владелись мы вдоль опушки, коляска остановилась. «Но!» — сказал возничий. Лошадь стояла. Аркадий щелкал языком, похлопывал вожжами по крупу лошади. Сзади подъехала и стала вторая повозка. Что-то как будто показалось вдалеке посреди поля. Лошадь заржала. И в ответ оттуда раздалось слабое, тонкое ржание. Тут только разглядели, что все поле заросло густой и высокой, чуть ли не в пояс травой. Метрах в ста от нас, среди черных трав, не то приближаясь, не то стоя на одном месте, два коня танцевали, высоко поднимая тонкие ноги, два всадника в круглых шапках, в плащах и смутно мерцающих железных рубахах, с незрячими лицами, подняв копыта, плечом к плечу проплыли в высоких седлах, и на копытах колыхались флажки.

Понадобились бы, как я полагаю, специальные объяснения, чтобы ответить, почему братья, убитые, как считается, в южных землях весьма далеко отсюда, явились в наших местах; одно из них основано на известной гипотезе отраженного образа, другое исходит из того, что видения, как и редкие виды животных и птиц, ищут убежища в заброшенных уголках природы. Впрочем, к чему объяснять? Постепенно лесная заросль по левую руку от нас отступила, дорога шла все ниже, клубился туман.

Понурая лошадь брела по невидимой колее, седок опустил голову, равнина напоминала океан, в котором сгнули все голоса, исчезли ориентиры.

XXIV

Несколько дней прошло в неопределенных мечтаниях, в утренней лени, задумчивом перелистывании заметок, планов, соображений. Замысел зажил понемногу своей жизнью и шевелился в ворохе бумаг, как рыба, которая запуталась в прибрежных зарослях, но теперь он представлялся мне средством, а не целью. Как никогда прежде, я чувствовал коварное очарование моего ремесла, которое притворяется чем угодно, на самом же деле существует ради самого себя; я капитулировал, я понимал, что поработен литературой и останусь ее рабом, даже если не напишу больше ни строчки.

Персонаж, рисовавшийся в моем воображении, — кто он был? Я узнавал в нем самого себя, но этот субъект хотел жить собственной жизнью, дышать и двигаться в особой среде; хуже того, он запрещал мне жить моей жизнью, в среде, которая называется действительностью. Он попросту отрицал за ней право считаться действительностью. Да, я удалился от мира, чтобы разобраться наконец в своей жизни. Между тем жизнь имела смысл лишь в той мере, в какой она могла служить навозом для литературы. Жизнь — в который раз приходится сойтись в этом, — жизнь сама по себе меня ничуть не интересовала. словно окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, с дачниками, или кто они там были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в марионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней и упавших растений, должно было вырасти причудливое древо моего воображения. Я размышлял на эти темы, рисовал завитушки, кое-что записывал, когда очередное происшествие вернуло меня к действительности. В избу постучались.

Явился Аркаша. Я замахал руками, и он исчез. Минуты через две стук повторился. Аркадий вторгся вопреки запрету тревожить меня во время работы. Он стоял на пороге с видом совершенного идиота, между тем как хозяин, то есть я, отвечал ему тупым взглядом, ибо все еще находился в состоянии самогипноза; перо повисло в моей руке.

«Пошел вон, — пробормотал я, — что это еще за новости?..»

Подмигнув, он ответил:

«Спокуха».

Полез в подкладку, извлек помятый конверт и помахал им в воздухе, как бы желая сказать: попляши.

«Что такое?» — проворчал я. Он махал письмом.

Я сунул ему рубль и вернулся к столу, разглядывая герб и адрес; впрочем, адреса не было, наклонным почерком, размашистой рукой было начертано три слова: мое имя. Вестник стоял под окном.

«В чем дело?»

«Велели без ответа не возвращаться», — отвечал он с улицы.

«Кто велел?»

Он многозначительно крикнул и побрел прочь.

Я вскрыл письмо кухонным ножом, там был сложенный вдвое листок, украшенный той же геральдической эмблемой.

Собственно, я уже более или менее понимал, в чем было дело, лишь дата в правом верхнем углу повергла меня в задумчивость. Возможно, я все еще не выбрался из наркотических грез. Временичисление не то чтобы застопорилось, но попросту выветрилось из моего мозга, во всяком случае, я никак не представлял себе, что день и месяц, о котором меня уведомила изящно-размашистая рука, есть именно тот день и месяц, который у нас на дворе сегодня, и что дата может вообще иметь какое-либо значение.

Наконец, там был проставлен год, а это уже совершенно меняет дело — я бы сказал, переводит на другой уровень смысл даты: ибо если дни и месяцы периодически возвращаются — сколько их уже было с тех пор, как восемнадцатилетняя хозяйка впервые переступила этот порог, сколько раз вздувалась река, и луга покрывались травами, и к потолку подвешивали новую люльку, — если дни повторяются, то годы приходят только один раз, годы выпрямляют круг времени в стрелу, летящую вперед, и событие, помеченное полной датой, становится историческим фактом, единственным и неповторимым.

«Милостивый государь... — писал доктор искусствоведения Петр Францевич, называя меня по имени и отчеству. — Полагаю, что Вы догадываетесь, какого рода обстоятельство побудило меня писать к Вам, не смею отнимать Ваше время подробным изложением причин, вынудивших меня встать на защиту чести и достоинства известной Вам особы, слишком неопытной, чтобы своевременно распознать в Вас человека, злоупотребившего оказанным ему гостеприимством. До определенного времени я не вмешивался в происходящее, довольствуясь ролью стороннего наблюдателя и рассчитывая — как выяснилось, тщетно — на Ваше благоразумие, тем не менее всякая снисходительность имеет свои пределы. Тень, брошенная на репутацию молодой девушки Вашим, м. г., поведением, которое я предпочитаю называть неосторожным, чтобы не квали-

фицировать его как злонамеренное, доброе имя семьи, наконец, приличия — все это настоятельно требует моего вмешательства. Я направляю к Вам моего человека за невозможностью подыскать в здешней глуши более подходящего секунданта и рассчитываю на Ваш незамедлительный ответ. Примите, и проч.».

XXV

Путешественник рассмеялся. Это было все равно, что после сложной и мучительно-тревожной музыки услышать оперетку. Это было приятное отвлечение от постылой необходимости напрягать мозг, выдавливая фразу за фразой, от каторжного писательства. С удивительной легкостью, схватив перо, он отписал барону Петру Францевичу о своей готовности выйти на поле чести. Выбрать место встречи, оружие и условия поединка он предоставил противнику как обиженной стороне. Что же касается секунданта, гм... Если уж сам Петр Францевич не погнушался Аркадием, то почему бы не воспользоваться и другой стороне его услугами? Путешественник растолкал Аркашу, спавшего на куचे тряпья, и вручил ему письмо. Несколько времени спустя, зевая, и содрогаясь, и почесывая укромные уголки тела, секундant выбрался из своей халупы. Ответ из усадьбы не заставил себя долго ждать.

Исключения, как известно, подтверждают правило; неизбежные в данных условиях отступления от обычаев были тщательно оговорены Петром Францевичем; на его компетентность рассчитывал приезжий, который имел о дуэлях литературное, то есть весьма поверхностное представление. Искусствовед уклонился от обсуждения скользкого вопроса, могут ли обе стороны довольствоваться одним секундантом, к тому же лицом низкого звания. Это значило, что Петр Францевич согласен. Он лишь уточнил, что ввиду вышеуказанных обстоятельств секундant освобождается от обязанности, возлагаемой на него дуэльным кодексом, попытаться в последний момент, не нанося урон интересам чести, помирит противников. Равным образом отпадали право и обязанность доверенного лица добиваться по возможности менее жестоких условий поединка. Что касается подробностей, то составление правил боя — за неграмотностью секунданта — взял на себя сам Петр Францевич.

Но, прежде чем перейти к этой части дуэльного протокола, следовало договориться о враче. Петр Францевич полагал желательным и даже необходимым обойтись без медика. Он полагал, что установление факта смерти не требует специальных знаний. В случае же кончины обоих участников вопрос решается сам собой. Присутствие врача (которого пришлось бы для этой цели приглашать из райцентра) могло повлечь за собой неприятности для всех, кто имел отношение к делу. Со своей стороны Петр Францевич изъявил готовность сделать все от него зависящее, чтобы оказать помощь своему оскорбителю в случае, если тот будет тяжело ранен и не сможет продолжить поединок.

И, наконец, условия. Тут Петр Францевич, пожелавший избрать в качестве оружия пистолеты, проявил особую неукоснительность и принципиальность; разница между правильной и неправильной дуэлью была для него никак не меньше, чем разница между дуэлью и убийством. Дуэль есть мероприятие по восстановлению поруганной чести и, как в настоящем случае, защите чести третьего лица. О том, что подразумевается под словом «честь», каковы критерии ее поругания, Петр Францевич предпочел не распространяться, полагая эти вещи общеизвестными. Точно так же он обошел молчанием вопрос о сословной чести и ее отличиях от чести несословной. Было бы в высшей степени нетактично осведомиться впрямую, дворянин ли его оскорбитель, — не говоря уже о том, что плебейское происхождение противника в случае, если бы таковое обнаружилось, лишило бы Петра Францевича возможности вести себя, как подобает дворянину в сношениях с равными себе. Впрочем, так же, как на пожарище бесполезно искать спичку, от которой загорелся дом, было бы нелепо ставить дуэльную процедуру в зависимость от причины и повода: дуэль сама по себе, независимо от повода, была испытанием чести; дуэль подчинялась собственным законам; подобно сценарию, дуэль предписывала участникам их роли.

Итак, противники становятся на расстоянии двадцати шагов и по знаку, который подает обиженный, идут, держа наготове оружие, навстречу друг другу до минимальной дистанции в десять шагов, обозначенной барбером, — например, брошенными на землю плащами. Разрешается стрелять в любое время по-

сле подачи сигнала, однако выстреливший первым должен тотчас же остановиться. Если он не попал в противника либо ранил его, но так, что тот может, в свою очередь, выстрелить, этот последний вправе приблизиться к барьеру и, спокойно целясь, расстрелять своего врага. Дуэль возобновляется в случае безрезультатности и должна быть продолжена до тех пор, пока один из партнеров не будет убит или по крайней мере ранен столь тяжело, что не сможет сделать ответный выстрел.

XXVI

Я велел Аркадию немедленно возвратиться и передать Петру Францевичу, что буду на месте в назначенный час. Стемнело; я расхаживал по скрипучим половицам, приятно возбужденный, думая о том, что следовало бы привести в порядок мои дела,— впрочем, какие у меня дела? — написать два-три письма на случай... на случай чего?

Несмотря на поздний час, спать мне не хотелось. А надо бы выспаться, как говорит Печорин: чтобы завтра рука не дрожала. Было ясно, что барон шутит. Было ясно, что он не шутит. Тут, я думаю, все соединилось: прошлое и настоящее, и желание утереть нос воображаемому сопернику, и желание отомстить гнусному времени. Дон Кихот не шутил, когда облачился в заржавленные доспехи; но каким оскорблением, еще одной обидой было бы для Петра Францевича это сравнение! Станным образом я испытывал к нему симпатию; в его амбиции было что-то почти трогательное.

Словом, что оставалось делать? Я ходил взад и вперед по комнате, от печки к столу и обратно, перо и бумага вновь призывали меня. Прощальное письмо есть литературный жанр и в качестве такового требует от автора найти необходимое равновесие между новизной и условностью; новизна заключалась уже в том, что на рассвете я буду, по всей вероятности, убит на дуэли, тогда как традиция презирала всякие новшества; традиция запрещала уделять этому весьма возможному факту слишком много внимания; традиция предписывала сдержанность, здравый смысл, сухую красоту слога. Услышав тихий стук в окошко, я вышел в сени. Роня, в легком платьице, закутанная в темный платок, озираясь, стояла на крыльце. Признаюсь, я был весьма удивлен. Я даже был ошарашен. Мы вошли в избу, она подбежала к столу, прикрутила фитиль керосиновой лампы.

Я успокоил ее, сказав, что никто нас не увидит: деревня почти необитаема.

«Да, да, знаю,— пробормотала она.— Сразу передадут маме, дяде... Послушайте, я ужасно испугалась».

Оказалось, что она встретила Аркашку возле своего дома и подлец показал ей мое письмо.

«Ну и что?» — сказал я спокойно, стараясь припомнить, что же конкретно сообщалось в моем письме, кроме того, что я согласен и явлюсь вовремя.

Она возразила:

«Вы думаете, я не догадалась? Дядя устроил нам вчера сцену».

«Кому это — нам?»

«Мне и маме. Он говорил, что проучит вас. Послушайте, ведь он шутит, да? Скажите: он шутит?»

В полутьме блесстел циферблат ходиков, блестели ее глаза, дом населили наши тени, кивавшие нам с потолка бесформенными головами, не мы, а тени жили своей независимой жизнью и заставляли нас подчиняться их воле, как огромные темные фигуры кукловодов управляют куклами, держа невидимые нити. Я охотно ответил бы Роне: разве тебе не ясно, что все это игра? Но что-то останавливало меня, игры, которым предавались они там, в усадьбе, грозили превратиться в действительность, Дон Кихот не шутил. И я чувствовал, что сюжет начинает разворачиваться сам собой. Я предложил ей сесть. Тень Рони заставила Роню опуститься на табуретку.

«Видишь ли, здесь это, может быть, и шутка,— проговорил я, невольно переходя на «ты». Она приняла это как должное.— Здесь это выглядит как шутка. Но там, за рекой... Ты говоришь, он устроил вам сцену. А, собственно, за что он собирается меня проучить?»

Она подняла на меня глаза.

«Как за что?.. Неужели вам непонятно?»

И умолкла, но кукловод-тень потихоньку натягивал нитку.

«Умоляю вас, откажитесь, ведь вы, наверное, даже не умеете стрелять. Со- знайтесь, наверное, ни разу не держали в руках оружие».

Отчего же, возразил я, держал.

«Вы?»

Мне пришлось ей ответить, что я стрелял когда-то на военных сборах; правда, ни разу не попал.

«Вот видите. А дядя Петя — настоящий стрелок. Он ходит на охоту. Он вас убьет!»

Я объяснил, что правила чести не разрешают мне уклониться от боя; разумеется, я не стану целиться в Петра Францевича, но, если бы я ответил на его вызов отказом, это было бы новой обидой. Да и сам я не простил бы себе трусости.

«Трусости? — вскричала она. — Какая же это трусость? Да ведь дуэль — это... Подумайте: в наше время!..»

«Ага,— я усмехнулся,— а как же правила игры?»

«Это уже не игра».

«Может быть. Но, знаешь ли,— назвалса груздем, полезай в кузов! В крайнем случае можно извиниться перед тем как... В конце концов эта ссора — чистое недоразумение».

«Нedorазумение? — проговорила она. — А я думала...»

«Что ты думала?»

«Вы правы. Конечно, недоразумение».

Мы молчали, я предложил проводить ее до дому.

Она рассеянно кивнула, но тут же поправила:

«Нет, ни в коем случае. Нас не должны видеть. Лучше я одна... Тут все друг за другом следят, это только кажется, что никого нет... Тут живут старухи, которых никто не видит, они вылезают по ночам, когда нет луны, и бродят вокруг. Мертвые старухи, которых некому было похоронить, вот они и сидят в своих развалюхах. А ночью вылезают. Я уверена, что кто-нибудь стоит под окном... Ну и пусть стоит!» Она умолкла, смотрела на чахлый огонек в стекле, и тени над нами застыли в ожидании.

«Роня, о чем ты думаешь?»

«О чем я еще могу думать? Эта дуэль ни в коем случае не должна состояться. Если вы ничего не предпримете, я сама приму меры. Вы меня не знаете. Я способна на решительные поступки».

Она нахмурилась, глядя в одну точку, как школьница, которая решает сложную арифметическую задачу.

«Вот что: я остаюсь у вас».

«У меня, здесь?»

«Я вас не стесню, я лягу на полу».

«Не в этом дело, Роня...»

«Могу даже вовсе не ложиться. Но, когда он узнает, что я провела у вас ночь, он подумает, что я стала вашей женой, и уже ничего не поделаешь!»

Насвистывая, я прошелся по комнате и сел на порог. Она рассеянно поглядывала на мои бумаги. Очевидно, ждала ответа. Вдруг ни с того ни с сего на стене пошли часы, а может быть, я до этого не обращал внимания на их стук. Я взглянул на циферблат: минутная стрелка не спеша вращалась по кругу. Моя гостья в некотором остоленении взирала на сумасшедшие часы.

Я потер лоб.

«Роня, ты в самом деле готова стать, как ты сейчас выразилась... моей женой?»

«Представьте себе, не готова. Вы разочарованы?»

Она смотрела на часы. Стрелка остановилась.

«Ты меня совершенно не знаешь,— сказал я.— Ты не знаешь моих обстоятельств...»

Она передернула своими узкими плечами: дескать, какое это имеет значение? Очевидно, сказала она иронически, я хочу ей сообщить, что я женат. Печально, но это не важно. Теперь уже ничего не важно.

«Я хочу вас спасти. Поймите вы! Он вас убьет! Подстрелит, как рябчика, и глазом не моргнет».

«А как же следствие и все такое?»

«А что ему следствие? Он живет в другом веке».

«Ну что ж,— сказал я смеясь,— в таком случае и я для него неуязвим. Ты думаешь, что наш век лучше?»

Чувствуя, что я по-прежнему подчиняюсь какому-то этикету, я заговорил о том, что, с одной стороны, польщен ее вниманием, но, с другой стороны, даже если бы между нами произошло что-нибудь такое...

«Вы хотите сказать,— перебила она,— если бы мы переспали!»

«Странно слышать эти слова из твоих уст, Роня»,— заметил я.

«Что же тут странного, ведь мы не за рекой. Слушайте, мне все это надоело».

«Что надоело?»

«Да все это... А кондом вы приготовили?»

«Что?»

«Кондом».

«Зачем?»

«Чтобы не дать шансов СПИДу»,— объявила она с торжеством.

«Но я здоров, уверяю тебя»,— пролепетал я.

«По статистике три процента здоровых — носители вируса».

«Три процента. Угу. М-да. Так вот, я хотел сказать...— Я прочистил горло.— Я хотел сказать, что ты меня совершенно не знаешь. У меня нет никакого положения в обществе».

«Какое общество?» — подумал я. Между тем большая стрелка часов снова двинулась: чудеса с пружиной. Вскочив, я попытался ее унять, это удалось мне не сразу; я стал тянуть по очереди за обе гирьки, словно доил аппарат, но время иссякло; наконец стрелка вздрогнула и двинулась снова, только в обратную сторону. «Дай-ка мне...— пробормотал я,— что за чертовщина...» Роня подала мне со стола лист бумаги, я скрутил его жгутом, подпихнул его под стрелку. Под обе стрелки. Часы реагировали на это громким возмущением: они стали куковать. Часы прокуковали неизвестно сколько раз.

«Начать с того, что у меня нет никакой профессии. Это во-первых. А кроме того, у меня, в сущности, нет пристанища. Не знаю, говорил ли я вам... тебе. Моя бывшая жена выгнала меня из комнаты. Я поселился временно у брата, перетасил туда свои книги. Но, сама понимаешь, сколько можно? Он ютится с семьей в двухкомнатной квартирке, приходится ночевать на кухне».

Она кивала, но, кажется, была погружена в свои мысли.

«До осени я пробуду здесь, а там надо будет что-то придумывать. Как-то решать. Но дело не в этом. Дело в том, что я... видишь ли. Я не только жилплощадь потерял. Жилплощадь — хрен с ней. Я себя потерял. Нет, это тоже не то. Уж очень литературно звучит, проклятье какое-то...»

Теперь она пристально смотрела на меня. Казалось, она силилась что-то прочесть на моем лице. Не знаю, слушала ли она меня.

«Я потерял самого себя. Ядро моей личности растрескалось. Раньше я жил в городе, сейчас здесь, утром встаю, одеваюсь, что-то там перекусываю, хожу на речку. Что-то такое пытаюсь писать. Но во всем этом меня самого нет. Я как будто куда-то делся. Осталась моя оболочка, и остался некий воспринимающий механизм, который все это регистрирует».

При моем положении все это может показаться просто блажью, ведь мне надо думать совсем о другом: где жить, как дальше существовать? Писатель, х-ха! Какой я писатель? Писатель — это тот, у кого нет никаких забот! А я... И вообще, не находишь ли ты, что наша жизнь, на этом берегу, так сказать... наша гнусная жизнь просто-напросто отменила все эти вопросы о смысле жизни и так далее, так же, как она отменила страсть, гордость, романтику, таинственность женщины, отвагу мужчины. Какая там романтика, какая там страсть, когда здесь — заколоченные избы, развалившиеся сараи, поля, заросшие бурьяном, а там — одна только мысль о жилье и прописке, рысканье по магазинам, толкотня в очередях, в автобусах... Когда в каждом подъезде тебя встречают пьяные рожи...

Собственно, я не об этом, что об этом говорить; страну не переделаешь.— Я потер лоб.— Короче говоря, я сбежал. Я думал, что можно эмигрировать из жизни в литературу».

«Все мы эмигранты...» — проговорила она.

«Вот именно: лишь бы прочь, подальше от этой жизни. Твои родители эмигрировали в девятнадцатый век... Только ведь вот в чем смех: мы там кое-что забыли».

«Где — там?»

«В этой самой жизни. От которой мы сбежали. В этой мерзкой, гнусной, но, к сожалению, настоящей действительности... Мы оставили там самих себя! Ты сама говорила, что в нашем с тобой знакомстве есть что-то неестественное, тургеневское. Он ведь тоже сбежал из России... Ты говорила об игре... может, я и вправду немного кокетничал в лесу, когда мы с тобой гуляли, но уж тогда скорее перед самим собой. Перед тем, кого нет... В общем, что я хочу сказать? Я живу, я думаю, я мечусь взад-вперед по этой избе, вот пробовал привести в порядок свое прошлое, вернее, не столько пробовал, сколько придумывал разные проекты... Успел даже, как видишь, исписать ворох бумаги. Моя мысль работает, мозг функционирует, выдает нечто хаотически-непрерывное, но в том-то и смех, и ужас, что в этой плазме сознания отсутствует полюс, к которому устремлялись бы все потоки. Видишь ли, Роня, в человеческом сознании должен существовать некоторый абсолютный полюс, не важно, как он называется...»

Я потерял нить мысли. Только что я говорил с увлечением, мне казалось, что я не высказал и десятой части того, что должен был сказать, и вдруг умолк, и оба мы почувствовали глубокую тишину ночи, слабый огонек освещал наши лица, в полумраке едва были различимы стены избы, и мое ложе, и темные, как сургуч, иконы, и стропила с крюками; я сидел напротив моей гостьи, она покосилась на мою руку, выбивавшую дробь по столу, я подумал, что это ее раздражает; наконец она проговорила: «Поздно уже... сколько сейчас?... Что же делать, Господи, надо же что-то делать!»

XXVII

Она нехотя поднялась, обвела глазами мое жилье.

«Это все досталось вам от бывших хозяев? Кто тут жил?»

«По-видимому, семья была раскулачена. Всех вывезли. Хотя все-таки жизнь продолжалась. Здесь висели люльки».

«Здесь кто-то повесился», — сказала она.

Помолчали; она спросила:

«У вас дети есть?»

Я пожал плечами.

«Вы не ответили».

«Мужчина никогда не может быть уверен, Роня».

«Не изображайте из себя пошляка, вам это не идет...»

Мы вышли на крыльцо, луна пряталась за домом. Мы шли по дымному полю, Роня впереди, я за ней.

«Хотите, — послышался ее голос, — я вам открою один секрет?»

Мы вышли к реке, нужно было пройти еще довольно далеко до мостика.

Подул ветерок, она сошла, белея платьем, к воде.

Я предложил вернуться: собирается дождь.

Она не ответила.

«Роня», — сказал я.

«В чем дело?»

Я повторил, что нам лучше переждать дождь у меня дома, а потом уже...

Она перебила меня:

«Послушайте, может, искупаемся?»

«Что за идея?»

«Ну, как хотите...» Последние слова она произнесла, уже входя в воду, вскрикивая вполголоса, балансируя руками, у нее были слабые плечи, резко обозначилась ложбинка между лопатками, круглый зад казался хрупким, она довольно неловко плюхнулась в черно-маслянистую воду, поплыла, течение сносило ее. Она что-то кричала, и мне показалось, что она захлебывается. Я бросился к ней, мы барахтались друг возле друга, Роней овладело необыкновенное веселье, стоя по грудь в воде, она окатывала меня брызгами, затем все смолкло, она вышла из воды и стояла, закинув голову и встряхивая волосами. Я приблизился и обнял ее. «Э, нет, — сказала она, — вот это уж нет...» «Почему нет, Роня?» «Не хочу». Эта игра продолжалась некоторое время. «Ну, в чем де-

ло, одевайтесь, — бормотала она, — это невозможно, здесь холодно... Сами говорите, сейчас пойдет дождь». Вдруг зашумел сильный ветер, я подстелил ей одежду, мы сидели друг против друга, тени ее глаз, тени ключичных впадин, глубокая тень, скрывавшая низ живота, — она вся состояла из теней.

Я набросил ей на плечи мою рубашку. «Спасибо... — пробормотала она, кутаясь, пряча грудь и стуча зубами, — другой бы меня на вашем месте...» «Что на моем месте?» «Изнасиловал». «Я еще могу наверстать», — пошутил я. Она сидела, подогнув колени, опустив голову, осматривала себя.

Она озиралась.

«Тс-с... слышите? Там кто-то есть. Говорю вам, там кто-то есть. За нами следят, я так и знала... Это та старуха. Она шла за нами».

Ветер пронесся над кустами, луны уже не было видно, и стало совсем темно. Вдали за рекой, над едва различимой лесной чащей, брезжил серебристый край неба. Мы встали, я растирал Роню моей одеждой, она терла мою кожу, мы дрожали от холода. Не сговариваясь, мы поднялись вверх, выбрались из кустарника и побрели назад через огородное поле.

«Скажите...»

Мы говорили вполголоса; как и прежде, она называла меня по имени и отчеству.

«Оставим это, Роня. Зови меня просто...»

И будем на «ты», хотел я добавить, но чувствовал, что это «ты» разрушило бы наши с таким трудом установившиеся отношения. Это «ты» воздвигло бы между нами новое препятствие вместо того, чтобы еще больше сблизить нас. Оно означало бы, что мы стали друзьями. А мне — теперь это было совершенно ясно, — мне хотелось другого.

Она пробормотала:

«Мне надо привыкнуть».

Друг за другом мы пробирались по невидимой тропе. Я напомнил ей о том, что она хотела мне открыть секрет.

«Ты хотела мне сообщить секрет...»

«Какой секрет? А-а. Лучше после... когда придем. Скажите, — спросила она, — вы верите в привидения?»

«Нет».

«Но ведь их все видели. И вы тоже. Разве вы не видели? Я сначала подумала, что это снимают какой-нибудь фильм».

«Если видели все, значит, это не привидение».

«Почему?»

«Привидения — дело сугубо индивидуальное. Тень Банко является только одному Макбету».

«Кто это был?»

«Это были князья Борис и Глеб, сыновья Владимира. Святые братья, препоясанные милостью и венчанные смыслом».

Она чувствует себя виноватой передо мной, думал я, если бы я был виноват перед нею, она бы молчала. Она думает о том же самом, поэтому говорит о посторонних вещах и делает вид, что забыла о том, что было на берегу и что мои руки касались ее тела. Она делает вид, что не догадывается, зачем мы возвращаемся ко мне домой, но на самом деле думает об этом и говорит о постороннем.

«Что это значит — препоясанные милостью?»

«Так говорится в летописи».

«Откуда они взялись?»

«Оттуда же, откуда являются все привидения».

«Значит, это все-таки привидения?»

Помолчав, она спросила, откуда я знаю, что это они.

Я ответил, что есть известные иконы. Одна висит у меня, разве она не заметила?

«Но в жизни они, наверное, выглядели иначе».

«Нет, они выглядели именно так. Иконы сделали их такими. А как они до этого выглядели, не имеет значения».

«Не имеет значения. Что же тогда имеет значение?»

То, что мы идем ко мне домой, хотел я сказать. Потому что дома это произойдет так же неизбежно, как то, что сейчас пойдет дождь, потому что решение принято.

«А вдруг мы их снова встретим?»

«Они в деревню не заезжают, Роня».

«А если встретим? Что тогда?»

«Ничего, поздороваемся и пойдем дальше».

«А они потом разнесут по всей округе,— нервно хихикнула она,— что я была у вас ночью».

«Не разнесут, Роня. Святые молчат». Несколько минут спустя мы бежали сломя голову, вокруг падали свинцовые капли, мы едва успели нырнуть в сени — дождь обрушился на мертвую деревню. Во тьме, шумно дыша, нашарив дверь, мы ввалились в избу.

XXVIII

Я топтался посреди комнаты, моя гостя полулежала на постели, свесив ногу на пол, короткое платье, успевшее только слегка намочнуть, обрисовало ее бедра.

«Ну что,— сказала она, отдышавшись,— будем чай пить?»

Я молчал и думал о том, что я сейчас подойду и переложу ее свесившуюся ногу на кровать. Подойду и сяду рядом.

«Будем чай пить»,— сказал я.

«Эх, вы!»

«Что — я?»

«Эх, вы! — повторила она почти со злобой.— И вы все еще не понимаете?»

«Не понимаю».

«Вам надо было взять меня. А вы струсили».

«Еще ничего не потеряно,— глупо усмехаясь, проговорил я.— Мы можем наверстать».

«Нет уж, поздно. Надо было тогда. Взять вот так, за руки... и прижать к земле. А если б я заорала, все равно никто бы не услышал. Вы все ждали разрешения... Вы трус. Разве кто-нибудь спрашивает разрешения?»

«Но... это не трусость, Роня»,— сказал я, вероятно, с каким-то жалким выражением на лице.

«Да, да. Вы не решились воспользоваться моей неопытностью — вы это хотите сказать? Вы, наверное, думаете, что... А вот, кстати, один вопрос,— сказала она, садясь.— Как вы смотрите на такую вещь, как девственность?»

«Представь себе, с почтением».

«Приятно слышать. Вы просто до ужаса вежливы. Так вот. Вы, наверное, думаете, что я не далась вам оттого, что я девица. Ошибаетесь. Оттого и не далась, что не девица».

Вот так здорово! Все мои мысли разлетелись по сторонам. Как-никак это было для меня безразлично — как и для всякого мужчины. Мне вдруг показалось, что она смеялась надо мной; что на самом деле она гораздо старше; что меня вообще непрерывно водят за нос... Молчание. Наконец я произнес:

«Это и есть твой секрет?»

Ответа не последовало. Открыв рот, она уставилась на меня. «Дядя Петя...— проговорила она.— Господи, у меня совершенно вылетело из головы!»

Я вынужден был признаться, что и я совершенно позабыл о дуэли.

«Сколько сейчас времени?»

«Не знаю».

«Когда мы вышли, на этих часах было...»

«Не обращай внимания. Они испорчены. Ты хотела что-то сказать».

«Да,— сказала она,— хотела сказать. А может, не говорить? Вы бы не догадались, правда?.. Так вот, сударь, это он. Он меня — как это называется? — сделал женщиной».

«Гм. Вот как?»

«Вот вы говорили: игра...»

«Это не я, это ты говорила».

«Хорошо. По условиям игры я должна быть барышней. Белое платье, зонтик, все такое. Книжка в руке... И, понимаете, получается так, что эта история, то есть то, что между нами произошло, я имею в виду дядю Петю... это тоже традиционный сюжет!»

«Почему традиционный?»

«Ну как?.. Солидный господин с душистыми усами совратил гимназистку. Вы Бунина читали?»

«Читал. Так что же именно произошло?»

Она разгладила платье на коленях и приготовилась к рассказу. Дело было уже довольно давно. Они ходили по музеям, на выставки. Почти каждое воскресенье что-нибудь такое. Он даже водил Роню по запасникам; он там свой человек; одним словом, руководил ее образованием...

Дождь журчал под окнами, ночной ветер набросился на ветхий дом, хлопнуло в отдалении, ветер трепал крышу, лепесток огня дрожал в стекле керосиновой лампы.

Она понятия ни о чем не имела. То есть, конечно, знала, но что значит знала? У нее даже еще не началось; по ее словам, она считалась отстающей в развитии.

Однажды он устроил экскурсию в Архангельское, специально для их класса, водил всех по парку, объяснял, рассказывал; после все ели мороженое.

Он продолжал говорить, теперь уже о себе, они медленно шли следом за всеми, к воротам, отстали. Само собой это получилось или он все рассчитал, неизвестно, бывают такие обстоятельства, когда люди ведут себя, как лунатики: «Вам как писателю это, наверное, лучше знать». Роня утверждала, что она ни о чем не догадывалась, вернее, догадывалась, но ждала, что будет дальше. Они оказались в другой стороне огромного парка.

Нас, наверное, ждут, сказала она Петру Францевичу. Он ответил, да, конечно, я думаю, нам надо повернуть влево, нет, лучше направо. И дал ей платок, вытереть липкие пальцы. И они сели на скамейку. Кругом ни души.

Я слушал Роню внимательно и спросил: сколько ей было лет?

Конечно, она уже не была такой дурочкой, сказала она, кое-что знала. Девочки всегда все знают. Но что значит — знала? Это было невероятно, это происходило с ней самой, это ей говорили о любви, и кто же? — взрослый мужчина, друг семьи, красиво одетый, от него пахло духами «Осенний ландыш».

«Ландыши бывают весной».

«Да? — возразила она. — А вот это был осенний».

Так вот.

И этот человек, дядя Петя, шепотом и, очевидно, в сильном волнении говорил ей невозможные слова, она сидела, опустив голову, на коленях у взрослого человека и вытирала пальцы, липкие от мороженого. «И знаете, — добавила она, — вам покажется странным, но меня это просто поразило, я увидела, что он плачет!»

Тут были разные подробности, которые она не может объяснить, как-то так получилось, что они оказались лицом к лицу, и она чуть было не рассмеялась, взрослый мужчина — и плачет, — и стала вытирать ему щеки платком, он потерял голову, она потеряла голову, и, в общем, это произошло.

«Угу. Ты сопротивлялась?»

Да, то есть нет. Она словно околела. Ее поразили факт.

«Факт?»

Да, факт. А что же экскурсия, куда делись все остальные? Остальные ждали у входа, Петр Францевич объяснил, что они заблудились, что-то придумал; она не помнит...

Дождь утих.

«Вот. Теперь вы знаете».

«Послушай, Роня, — сказал я после некоторой паузы. — Когда мы с тобой встретились в лесу, ты мне говорила...»

«Что же я говорила?»

«Что ты пробуешь себя в литературе».

«Правда? Не помню», — сказала она надменно.

«Да, ты именно употребила это выражение. Так вот, я должен сказать, что нахожу у тебя недюжинные литературные способности!»

«При чем тут способности?»

Я развел руками.

«Вы что, мне не верите? — вскричала она. — Не верите, что все так и было?»

«Одно нехорошо, ты оклеветала ни в чем не повинного Петра Францевича. Зачем?»

Насупясь, с обиженным видом она смотрела на меня, пока легкая судорога не пробежала по ее телу, и мы оба расхохотались.

XXIX

Тут я должен заметить, что ее вопрос, как ни смешно, заставил меня задуматься. Как я отношусь к девственности? Термин, можно сказать, вышедший из употребления. С почтением, сказал я. Можно было бы ответить: с умилением. А может быть, и со страхом. Почему со страхом? Почему не только девственница со страхом оберегает себя, но и всякий, кто к ней приближается, испытывает страх? Меня не интересовало, зачем она это придумала, всю эту историю с поездкой в Архангельское; может быть, Петр Францевич действительно водил ее по музеям, вполне возможно, что и экскурсия была на самом деле; собственно, так и сочиняются истории; и, само собой, Роня знала, что «друг семьи» оттого и друг, что равнодушен к ней; может быть, даже имело место объяснение, где-нибудь в пустынной аллее. Помнится, когда мы с бароном в лесу удалились для приватной беседы, он упомянул о серьезных намерениях; видимо, и родители знали, что он собирается жениться на Роне, и одобряли этот проект. А она? Меня и это не особенно занимало, мой летучий роман с девочкой из усадьбы был игрой, правда, чуть было не зашедшей слишком далеко.

Меня не интересовало, зачем она придумала историю с соблазнением, мало ли какая фантазия может прийти в голову семнадцатилетней девице; меня занимал вопрос о девственности, о том, что оставалось вечно живым мифом, невзирая на все революции, перемены моды и так далее, да, живым, и не только здесь, в полумертвой деревне, но и ко всему на свете равнодушном большом городе; и, как тысячу лет назад, миф был окружен колочей проволок двойного страха, миф рождал двойную ассоциацию с военной атакой и преступлением. Девственность была подобна башне, дворцу или крепости, которую брали штурмом, и победителя ждала слава; девственность была заветной шкатулкой, которую взламывали тайком и озираясь, и вор заслуживал наказания. Очевидно, что нападение могло быть успешным лишь при условии внезапности; фантазия Рони опровергала версию о внезапности. Насилие предполагало полную неподготовленность, искреннее неведение жертвы; но в фантазиях Рони оно уже было, так сказать, запрограммировано, и существовали кандидаты, их было два: один — Петр Францевич, другой, очевидно, я. Насилие справедливо рассматривалось как надругательство — и в то же время как нечто такое, без чего девственность была лишена смысла и со временем должна была превратиться в позор. Выходило, что девственность опровергала свой собственный миф; значит ли это, что миф девственности был от начала до конца изобретением мужчин?

Если это так, думал я, то девственность — в самом деле миф и ничего более; если это так, то она должна заключать и действительно заключает в себе для нашего брата всю тайну и таинственность женщины, предстает, как уединенный скит, как сомкнутые врата, за которыми пребывает нечто не имеющее имени, некая священная пустота; девственность должна быть обещанием, которое никогда не будет выполнено, должна повергать в трепет, должна пугать и притягивать, — между тем как носительница тревоги и тайны, какая-нибудь круглолицая, толстозадая и глупая, как все они, дочь Евы либо вовсе не подозревает об этом, либо соглашается признать ее в качестве некоторой окруженной почетом условности, как носят нагрудный знак, который сам по себе не заслуга, а лишь символизирует заслугу, быть может, мнимую. Я не мог согласиться с таким ответом.

Я не мог представить себе девственность каким-то театром. Не то чтобы я так уж цеплялся за традиционную мораль; и я, конечно, знал, как часто женщина только тогда и расцветает, когда сброшено это бремя, как если бы целомудрие было врагом женственности в прямом физиологическом смысле. Но то, что девственность, это спящее чудовище, в самом деле мстило всякому, кто осмелился его потревожить, — с этим чувством, или, вернее, предчувствием, я ничего не мог поделаться: оно не было ни изобретением мужчин, ни фантазией женщин, оно существовало само по себе и владело мною, и это, собственно, и был единственный ответ, который я мог дать Роне.

XXX

Две тени шевелились на потолке, двойной человек сидел за столом на табуретке приездного и делал бумажные кораблики. Две флотилии выстроились друг перед другом, потонувшие корабли падали со стола, отличившиеся в бою получали награды: красные звезды на бортах и синие полосы на трубах.

Интересно, подумал постоялец, у меня цветных карандашей нет, значит, их принесли с собой.

Вслух он сказал:

«Между прочим, мы тоже так играли в детстве. Но это мои рукописи, зачем вы портите мои рукописи?»

Человек повернул к нему одну голову, вторая была занята рисованием.

«Ах вот как,— сказал он небрежно,— а я и не обратил внимания».

Вторая голова возразила: «Тут темно».

«Вы умеете говорить раздельно?» — спросил путешественник. Тут только он заметил, что стекло снято, колпачок горелки отвинчен, на столе мерцал полуживой огонек.

«Мы тоже сидели с коптилками. Приходилось экономить керосин,— сказал он неуверенно.— Это было во время войны. Я делал уроки, писал дневник. Все при коптилке!»

«Мало ли что! — возразил двуглавый человек.— Керосин и сейчас дефицитен».

«Да у меня целая бутылка стоит в сених».

«Ай-яй, какая неосторожность! Вы игнорируете правила пожарной безопасности».

«Теперь я вижу, что вы можете говорить в унисон»,— заметил приезжий.

«Долго не могу,— сказал человек,— не хватает дыхания. А что это за дневник? Вы упомянули о дневнике».

«Обыкновенный дневник подростка. Даже, я бы сказал, не без литературных амбиций».

«Он сохранился?»

«Нет, конечно. Я его уничтожил. Это было позже».

«Послушайте,— сказал человек, орудуя ножницами,— тут у вас что-то не сходится. Даты не сходятся. Вы говорите, во время войны, делал уроки... Выходит, вы уже ходили в школу. Но ведь вы еще не старый человек. А война была давно».

«Да как вам сказать? Не так уж давно. Я прекрасно помню это время. Сводки, песни... Могу, если хотите, кое-что исполнить. Я все военные песни знаю наизусть».

Постоялец свесил голые ноги с кровати и затянул вполголоса: «На заре, девчата, проводите комсомольский боевой отряд. Вы о нас, девчата, не грустите, мы с победой придем назад. Мы разведем вражеские ту-учи...»

«Любопытно. Впервые слышим.— Обе головы переглянулись.— Ты слышал? Я не слышал. Мы не слышали. Ладно, оставим эту тему.— Человек повернулся к приезжему и закинул ногу в сапоге за другую ногу.— Так что же это все-таки был за дневник? Вы уже тогда были, э, писателем?»

«И-и-и врагу от смерти неминуемой, от своей могилы не уйти»,— пел, раскачиваясь на постели, приезжий.

«У вас прекрасная память, но, к сожалению, ни малейшего слуха!»

«А мне нравится,— сказала вторая голова,— давай еще».

«А ты, Семенов, не встревай».

«Что же, мне свое мнение нельзя высказать?»

«Помолчи, говорю. Когда надо, тебя спросят».

Голова обиделась и стала смотреть в сторону. Человек спросил:

«Почему вы его уничтожили? Там было что-нибудь о нашем строе? Антисоветчина небось?»

«Да что вы! — испугался приезжий.— Не было там никакой антисоветчины».

«А что же там было?»

«Да ничего».

«Интимные дела? Порнография?»

«Я боялся, — сказал путешественник, — что его найдут родители. Я порвал его в уборной, все тетрадки одну за другой, их было десять или двенадцать. В мелкие клочки. В уборной».

«Тэ-экс, — медленно проговорил человек о двух головах, отшвырнул ножницы и вышел из-за стола, загородив свет коптилки. — Значит, говоришь, в клочки. Вот мы и добрались наконец до главного. Теперь поговорим серьезно. Что там было? Выкладывай все начистоту».

«Что выкладывать?» — спросил приезжий. Он сидел, съезжившись, на своем ложе, двуглавый навис над ним.

«Я жду, — сказал человек. — Мы ждем».

«Там было... — пролепетал приезжий. — Я не помню».

«А ты постарайся. Напряги память».

«Но я забыл!»

«А мы не торопимся», — сказал человек ласково.

«Малоинтересные вещи. Всякая ерунда, чисто личного характера...»

«Вот видишь. Кое-что уже вспомнил. Рисунки?»

«Какие рисунки?»

«Рисунки, говорю, были?»

Приезжий кивнул.

«Ага, — сказали головы, потирая руки, — порнографические рисунки. Рассказывай, чего уж там! «Играй, играй, рассказывай, — запела голова, — тальяночка сама, о том, как черногла-азая с ума свела!» Видишь, и мы кое-что помним».

Человек подсел к приезжему на кровать. Путешественник подвинулся, чтобы дать ему место. Путешественник обвел глазами избу, черные стропила и железные крюки.

«Значит, опять будем в молчанку играть. Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Не хотелось бы!»

«Что вам от меня надо? — забормотал приезжий. — Я уже сказал: я не помню. Я даже не уверен, был ли этот дневник на самом деле».

«Отказываться от показаний не советую».

Приезжий молчал.

Человек сделал знак помощнику, другая голова отделилась и вышла, ступая сапогами по бумажным кораблям.

«Значит, говоришь, не было дневника, ай-яй! Вот мы сейчас посмотрим, был или не был. Семенов, ты где там?»

Семенов, с сержантскими лычками на погонах, наклонив голову, переступил порог, огонек коптилки вздрогнул, помощник положил на стол кипу школьных тетрадей, перевязанную бечевкой.

«Нет, — сказал приезжий, — это не я, это не мои...»

Сержант стал развязывать бечевку. Узел. Он схватил со стола ножницы.

«Не надо! Не режьте! — закричал постоялец. — Веревка пригодится! Я сам все расскажу! Я все подпишу, не надо! Боже, если бы я знал... Если бы я только знал... Но откуда вы взяли?... Почему порнография? При чем тут порнография? Ведь вы даже не читали! И что вы все твердите: дневник, дневник... Какой это дневник, это литература... А у литературы свои законы... Своя специфика... Это не я! Нельзя смешивать автора с его персонажами... Одно дело — автор, а другое — действующие лица... И к тому же, — бормотал он, — это даже не мой почерк. Вы мне подсунули... Я не пишу в таких тетрадках...»

«А чей же это почерк? Ты что дурочку-то строишь? — сказал лейтенант. — Кому шарики крутишь? Сволочь хитрожопая, ты кого обмануть хочешь?! Поди погляди, — отнесся он к другой голове, — что там за шум...»

Помощник вышел в сени и вернулся.

«Это делегация», — сказал он.

«Мешают работать! — зарычал лейтенант. — Кому еще я там понадобился? Скажи, я занят».

«Они не к вам. Они к нему», — сказал помощник.

В сенях уже слышался топот. Ночной лейтенант поднял голову, приезжий тоже с любопытством взглянул на дверь. Заметался огонек коптилки, появилось несколько человек солидного вида, в седых усах, длинных черных сюртуках или, вернее, демисезонных пальто. Они вошли, наклоня головы, один за другим в низкую дверь, выстроились у печки и вдоль стены с ходиками, после

чего первый, расстегнув пальто, из-под которого выглянул фрак, и сняв с коротко стриженной седой головы блестящий цилиндр, выступив вперед, отвесил присутствующим поклон и осведомился: здесь ли проживает писатель?

«Это я», — сказал растерянно путешественник.

«Нобелевский комитет уполномочил меня и моих коллег известить вас о том, что вам присуждена премия Альфреда Нобеля за этот год».

«Мне?» — спросил приезжий.

«Вам. Нобелевский комитет просил меня от имени своих членов, а также его величества короля передать вам поздравление с наградой, к которому я и мы все, не правда ли... — глава делегации обернулся к остальным, — охотно присоединяемся!»

«Вот видите, — сказал приезжий ночному лейтенанту, — я же говорил, что это литература».

Лейтенант прокашлялся.

«Семенов, — сказал он помощнику, — ты лучше выйди, займись там... Нечего тебе тут торчать».

«Я, собственно... — продолжал он. — Тут, очевидно, произошло небольшое недоразумение».

«Нedorазумение, — проворчал приезжий, — ничего себе недоразумение!»

«Мы проверим, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Ошибки бывают, кто же спорит? На ошибках учимся».

Тем временем господин, возглавляющий делегацию, вполголоса переговаривался с коллегами. Из служебного портфеля была извлечена папка с тисненой эмблемой и грифом. Уполномоченный комитета почтительно протянул раскрытую папку писателю.

«Это предварительно. Диплом будет вам вручен во время церемонии...»

Лейтенант, вытянув шею, заглянул через плечо приезжего.

«Красиво, — проговорил он, — умеют, черти... Н-да. Мы присоединим этот документ к делу».

«Но я же вам сказал!» — захныкал писатель.

«Ничего не могу поделать. Инструкция есть инструкция, и закон есть закон».

«Какой закон!.. Разве это закон?»

«Для кого как, — отвечал ночной лейтенант и сделал знак помощнику, который стоял по стойке «смирно» у порога. — Товарищи, — обратился лейтенант к делегатам, — господа... Попрошу освободить помещение».

XXXI

Шлепая по дощатому полу босыми ногами, приезжий подбежал к окошку. За окном было густо-синее небо. Тень от избы тянулась через дорогу к пустырю. Тень накрыла коляску, лошадь и сидящую на козлах фигуру секунданта. Приезжий плюхнулся на сиденье. Он спросил: «Куда едем?» «Куда велено», — был ответ. Возница посвистывал, подрагивал вожжами, экипаж летел вперед, и рессоры мягко подбрасывали сонного седока. Солнце начало припекать. Подъехали к мосту, лошадь поволокла коляску по шатким бревнышкам, вот и река осталась позади, дорога шла в гору. «Аркаша, как бы не опоздать», — сказал озабоченно путешественник. Аркаша не удостоил его ответом, привстал, испустил разбойничий возглас и хлестнул Артюра; повозка вылетела на равнину, позади столбом стояла пыль. Несколько времени спустя под колесами захрустели сухие ветки, седок открыл глаза. Лошадь брела шагом по лесной дороге. Открылась поляна. Некто в цилиндре, погруженный в задумчивость, сидел на поваленном дереве.

Петр Францевич встал, и противники обменялись приветствиями; писатель объяснил, старательно подбирая слова, что хотя правило, по которому опоздание может рассматриваться как знак неуважения, ему хорошо известно, это произошло против его воли, так что он просит его извинить. Барон отвечал снисходительно-небрежным кивком, был брошен жребий, приезжий получил необходимые инструкции, в частности, его просили обратить внимание на шнеллер, так как это приспособление действует моментально при ничтожном движении пальца, предпочтительней целиться, не держа палец на спусковом крючке. В заключение, щелкнув курком, Петр Францевич оставил его на предохранитель-

ном взводе и показал, как переводить курок на боевой взвод. Приезжий занял указанное ему место. На другом краю поляны стоял, держа пистолет стволom кверху, в траурном сюртуке и цилиндре, доктор искусствоведения Петр Францевич.

«Начнем, пожалуй», — промолвил Петр Францевич, вытянул руку с пистолетом перед собой и бодро двинулся навстречу врагу. Путешественник последовал его примеру. Они подошли, каждый со своей стороны, к барьеру. Путешественник поглядел на свое оружие, потом взглянул на небо, точно искал там цель, и поднял пистолет дулом кверху.

«Позвольте напомнить! — вскричал Петр Францевич. — Выстреливший в воздух рассматривается как уклонившийся от боя. Если вы посмеете заведомо стрелять мимо, я тоже буду вынужден выстрелить мимо, а я не позволю кому бы то ни было решать за меня, как мне следует себя вести. Извольте встать как полагается и прицелиться... Да цельтесь же вы, черт бы вас побрал!»

Писатель разглядывал свой пистолет с таким видом, словно старался понять принцип действия механизма и забыл все наставления. Искусствовед снял цилиндр и утирал пот.

«Пошел вон! — сказал он в сердцах подвернувшемуся Аркадию. — Садись в коляску... можешь не смотреть. Итак, дуэль начинается снова — или вы навсегда заслуживаете репутацию труса».

«Если не ошибаюсь, вы послали меня к черту, — заметил приезжий, — так что мы квиты...»

«Что?! — возопил Петр Францевич. — Милостивый государь!»

Аркаша стегнул коня и скрылся в чаще.

Дуэлянты побрели каждый к своему месту, путешественник приосанился, подражая Петру Францевичу, стал боком, левую руку упер в бедро, правой выставил пистолет и, не меняя позы, плечом вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя искоса на противника, двинулся ему навстречу; тот медлил, несколько мгновений стоял, опустив пистолет, затем поднял руку с пистолетом и тоже пошел вперед. Путешественник старательно целился и думал только о том, чтобы не коснуться прежде времени спускового крючка. Пистолет был довольно тяжелый, и рука начала затекать, он подпер ее левой рукой, невольно повернувшись грудью к противнику; в этой не вполне эстетичной позе, держа в правой руке оружие, а другой рукой поддерживая ее ниже локтя, он продолжал движение неверным шагом, путаясь в густой траве, и ему казалось, что искусствовед находится все еще далеко. Между тем Петр Францевич уже стоял перед барьером, очевидно, ждал, когда путешественник приблизится к своему барьеру. Прекрасно, подумал приезжий, и ускорил шаг; он рассчитывал в следующее мгновение сделать выстрел, но споткнулся; и в эту самую минуту, решив, как видно, воспользоваться тем, что противник подставил грудь, и не дожидаясь, когда писатель дойдет до пиджака на траве, обозначавшего барьер, а может быть, сдали нервы, — в эту минуту Петр Францевич выстрелил.

Петр Францевич посмотрел на пиджак и с горечью подумал, что вынужден был снизойти до недостойного противника; эти люди никогда не поймут смысл и значение дуэли, не поймут, что в поединке нельзя пренебречь ни одной, даже самой малой подробностью этикета, ибо в вопросах чести не может быть незначительных мелочей. Мещанский пиджак на траве принадлежал пошлому миру; надо было послать этому субъекту что-нибудь поприличней или хотя бы оговорить в условиях, что дуэлянт является к месту встречи одетым как подобает; что-нибудь вроде «форма одежды летняя, парадная», как пишут в военных приказах; а впрочем, ведь это само собой разумеется. Петр Францевич смотрел сквозь тающий дым на пиджак и распростертого на нем путешественника, который не подавал признаков жизни, хотя и успел, падая, сделать свой выстрел.

Два выстрела прогремели почти одновременно. Писатель, сбитый с ног коротким, сильным ударом, успел подумать о том, что следовало бы побереечь пулю: ничего страшного, сейчас он встанет, — и уж тогда поглядим, кто кого; посмотрим, как этот хлыщ будет вести себя под прицелом. Он даже представил себе, как он посмеется над бароном, будет долго целиться, а потом отшвырнет пистолет и зашагает прочь. Вместо этого, сам того не заметив, он успел нажать на крючок, и шнеллер мгновенно сработал; пуля пролетела мимо, искусствовед некоторое время стоял на месте, как того требовали правила, и дожидаясь, когда рассеется дым. Путешественник воображал, как он отшвырнет пистолет и

пойдет, насвистывая, прочь, а на самом деле пистолет, еще дымящийся, бросил в траву Петр Францевич. И вместе с подоспевшим Аркадием они склонились над неподвижным, лежавшим с открытыми глазами писателем.

«Ладно, — промолвил Аркаша, — поиграли, и будя...»

«Что? — рассеянно спросил Петр Францевич, несколько приходя в себя, нахлобучил цилиндр и приосанился. — Начнем сначала, — сказал он. — Достань-ка там, в саквояже... Или лучше я сам».

Приезжий, поддерживаемый Аркашей, поднялся с земли с каким-то почти разочарованием и недоуменно воззрился на своего врага; оказалось — чего он, само собой, не заметил, — что пистолеты в руках у дуэлянтов были с просверленными стволами, видимо, для учебных целей; оказалось также, что в небольшом, но вместительном саквояже, с которым прибыл на поле боя доктор искусствоведения Петр Францевич, был запасен ящик с другой парой пистолетов. Теперь они явились на свет, длинные, поблескивающие гранеными стволами, как будто только что вышедшие из мастерской Лепажя, с затейливыми собачками, с гравированным рисунком на металлических щеках. Петр Францевич взял в каждую руку по пистолету, спрятал руки за спиной.

«Правильно: поиграли — довольно, — пробормотал он. — Пьет, как свинья, а все-таки ум сохранил... Репетиция окончена! Благоволите назвать руку: правая или левая?»

XXXII

«Не позволю! — закричал вдруг, подбегая, Аркадий. — Будя!»

«Что это значит?» — холодно спросил Петр Францевич.

«А то и значит. Ваше сиятельство, это не дело».

«Да ты что, спятил?... Как ты посмел? А ну, убирайся вон, чтоб я твоей физиономии больше не видел!»

«Физиономии... — ворчал Аркаша. — Ишь начальник нашелся. Холопьев, ваше сиятельство, больше нет, вот так!» Он выхватил пистолет у растерявшегося писателя, обернулся к Петру Францевичу, тот держал свою пушку за спиной. Аркадий сунулся было к нему — барон отступил на два шага и наставил на Аркадия дуло.

«Пристрелю, как собаку!» — заревел Петр Францевич.

Приезжий счел своим долгом вмешаться.

«Может быть, я вел себя не по правилам, вдобавок, как вы знаете, я не дворянин, — сказал он. — Но, клянусь, я не питаю к вам никаких враждебных чувств. Мне кажется, обе стороны показали свою готовность драться... Что касается известной особы, мне кажется, это недоразумение. Если вы думаете, что я вознамерился перебежать вам дорогу, уверяю вас...»

«Ничего я не думаю, — возразил мрачно Петр Францевич, — я только вижу, что это бунт. Это — бунт!» — строго сказал он, глядя на Аркашу.

«Да ладно уж там, какой такой бунт... Где уж нам... Мы темные. Мы мужики, вы господа. А только отвечать за вас я не желаю. Не желаю отвечать, ясно?»

«Отвечать? Ах ты, скотина! А ну, вон отсюда!»

«Чего лааетесь-то? — сказал Аркадий. — Начнется следствие, кто да что. И света белого не увидишь. Вы-то всегда вывернетесь, у вас там небось все дружки да знакомые. А мне за вас отдуваться. Кто отвечать будет? Я. Кого за жопу возьмут? Аркашку... В общем, вы это, того: игрушку вашу спрячьте. А то еще кто увидит, народ-то сами знаете какой. В момент настучат. Похорохорились, покрасовались — и будя. А если чего не поладили, то и на кулачках можно решить».

«Ты так думаешь? — сказал Петр Францевич. — Может, в самом деле, а?» Его противник пожал плечами.

«Дай-ка сюда». Барон отобрал у Аркадия пистолет, доставшийся писателю по жребию, взвесил оба пистолета на ладонях. Потом повернулся и прицелился в отдаленное дерево. Грохнули два выстрела, присутствующих объяло облако дыма.

«Хорошая марка, — пробормотал он, разглядывая пистолеты, — это вам не...» Вдохнул, вложил дуло себе в рот.

«Ради Бога, осторожней!» — воскликнул писатель, забыв, что пистолеты разряжены. Искусствовед покосился на него, усмехнувшись, вынул пистолет

изо рта, приставил к виску, к сердцу. Затем — знак Аркашке; тот подскочил с саквояжем. «Ладно,— сказал Петр Францевич,— поехали чай пить. Я, между прочим, еще не завтракал».

XXXIII

«Слава те Хосподи, живой!» — вскричала Мавра Глебовна.

Она сбежала со ступенек и обняла меня.

«Я уж все на свете передумала. Ишь затеяли! Спасибо тебе, милосердная,— приговаривала она, торопливо крестясь,— заступница, спасибо...»

Сели за стол, где по-прежнему сиротливо лежали мои бумаги. Моя несостоявшаяся биография, моя новая жизнь...

«И чего не поделили? А все вертихвостка эта — и тебе, и ему».

«Роня?»

«А кто ж еще-то?»

Я заверил Машу, что ничего у нас с ней не было, ей всего-то семнадцать лет или сколько там. Полуребенок.

«Не скажи. Знаю я их всех; молодая, да шустрая... И чего ты в ней нашел? Девка, что доска, ни сзади, ни спереди».

Я попытался ее разубедить, она резонно возразила:

«Кабы ничего не было, так он бы в тебя не пулял».

До этого, сказал я, тоже не дошло.

«Не дошло, и слава Богу. Аркашке скажи спасибо».

«Да откуда ты все это знаешь?»

«Знаю. И про вашу свиданку знаю, что она к тебе прибежала, бесстыдница,— все знаю».

Источник информации, разумеется, был все тот же — или следовало предположить, что известия распространялись по каким-нибудь трансфизическим каналам. Таинственный вездесущий персонаж по имени Листратиха, о которой я постоянно слышал и которую никогда не видел,— кто она была? Я подозревал, что никакой Листратихи вообще не существует: это был дух, блуждавший вокруг, анонимная субстанция, мифический глаз — или глас — народа.

«Дело холостяцкое, я тебя не виню. Только ты к ним не лезь, это я тебе не из ревности говорю. Не ходи туда, ну их к лешему! У них там свои дела, пушай сами разбираются. У них своя жизнь. А у нас своя»,— сказала она и положила мне руки на плечи.

Я коснулся ладонями ее бедер. Зачем же, спросил я, смеясь, она сама туда ходит?

«Я-то? А это не твоя забота. Да шут с ними со всеми!»

Все же мне хотелось знать: что она там делает?

«Ну чего привязался-то! Услужую. Молоко ношу».

«И все?»

«И все, а чего ж мне там делать? — Она помолчала.— Ну, к барину хожу, к Георгию Романьчу. Ему, чай, тоже нужно: мужчина в соку, а она непригодная, рыхлая — сам видел. Ихнее дело господское, ых!.. — Она вдруг сладко зевнула.— Как захотится, так меня зовет».

Вот и пойми женщин, подумал я; а еще говорила, что отвыкла.

«Да ты не обижайся. Это ведь не любовь.— Она добавила: — Кабы не они...»

«Что — кабы не они?»

«А вот то самое! Все тебе надо знать. Не было бы тут ничего, вот что, все бурьяном бы заросло. Их в городе уважают. Секретарь райкома, говорят, приезджал».

«Зачем?»

«Справлялся, не надо ли чего. Он ведь у старой барыни скотину пас».

«Как же это могло быть, Маша? Ведь революция-то когда была?»

«Ну, не он, так отец али дедушка, я почему знаю. Люди говорят, а я что?.. Да и леший с ними со всеми... Милый, соскучила я по тебе».

Вдруг снаружи постучали.

Я поднял голову, мы оба посмотрели на дверь.

«Да ну их всех!..»

Стук на крыльце повторился.

Я выглянул между занавесками и отпрянул, словно там стояло привидение. Мавра Глебовна сидела на постели. В ответ на ее немой вопрос я растопырил руки и вытаращил глаза.

Наконец я выговорил:

«Это она».

«Кто?»

Я молчал.

«Не пускай! — сказала сурово Глебовна. — Ишь вертихвостка! Постой, я сама пойду. Сиди. Это наше бабье дело».

Она вышла и столкнулась с Роней в полутемных сенях; но в том-то и дело, что это была не Роня.

Это была не Роня и не мифическая Листратиха, и обе женщины вступили в избу.

Я пролепетал:

«Откуда ты... как ты здесь очутилась?»

Сидя на табуретке, гостя растегивала пуговицы плаща, сдернула с головы шелковую косынку, поправила прическу.

«А это Мавра Глебовна, — сказал я, — моя соседка. Знакомьтесь».

«Очень рады», — промолвила Мавра Глебовна, поджав губы.

«Что-то там испортилось в моторе, и, представь себе, перед самой деревней. Дошла пешком».

«А Миша?» (Мой двоюродный брат.)

«Там остался».

«Может, я схожу, трактор достану?..»

«Не волнуйся. Там уже кого-то нашли. Ну, я тебе скажу: ты в такую дыру забрался! — Она обвела глазами избу, покосилась в сторону Мавры Глебовны, взглянула на стол с бумагами. — Работает?»

Мою жену — я привык считать ее бывшей женой... мою жену зовут Ксения, по отчеству Абрамовна. Это отчество ни о чем не говорит. До сих пор можно встретить стариков, бывших крестьян, с именами Моисей или Абрам. Моя жена — обладательница безупречной анкеты и занимает высокую должность заместителя директора по ученой части в институте с труднопроизносимой аббревиатурой вместо названия, которое я никогда не мог запомнить. Моя жена держится прямо, ходит крупным шагом, постукивая высокими каблуками, носит сужающиеся юбки, светлые батистовые кофточки с бантом, курит дорогие папиросы и великолепно смотрится в начальственных коридорах. Мы с ней ровесники, но уже несколько лет, как она перестала стареть, возраст ее остается неизменным, ей 39 лет.

Моя жена была женщиной именно того физического типа, который мне когда-то нравился; подобно многим я связывал с телосложением определенное представление о характере, душе и умственных способностях и, сам того не сознавая, тянулся к женщинам, которые могли бы заслонить меня от жизни. Что-то мешало моей бывшей жене, даже в те времена, когда мы познакомились, быть красивой, вернее, хорошенькой, это слово к ней не подходило, из чего, однако, не следует, что она была непривлекательна. Нужно отдать ей должное, сложена она превосходно: просторные бедра, все еще не опавшая грудь, плечи королевы.

Мавра Глебовна поспешно подала ей старую, выщербленную плоску (моя жена искала, куда стряхнуть пепел). Некоторое время спустя, выглянув в окошко, я увидел перед домом машину, поднятый капот, Аркадия, который инспектировал мотор. Мой двоюродный брат разговаривал с Маврой Глебовной, державшей за руку четырехлетнего малыша, невдалеке остановилась старуха, согбенная, как Баба Яга, опираясь на помело, что-то клубилось вдали, словно к нам ехало войско, темнело, и опять, как все последние дни, стал накрапывать дождь.

XXXIV

Нужно было устраиваться на ночь, завтра, сказала моя жена, надо встать пораньше; я предложил, чтобы мы с братом устроились на полу, Ксению положим на кровать; мой брат, поколебавшись, объявил, что переночует в доме Мавры Глебовны, моя жена пожалала плечами, дескать, как вам угодно; будем наде-

яться, что погода не подведет, добавила она небрежно, только бы не проспать. Ходики на стене бодро отстукивали время. Разговор продолжался недолго и понадобился для того, чтобы не говорить о главном, то есть о возвращении: теперь это уже как бы не требовало объяснений.

Как это ехать «домой»? Волна протеста поднялась в моей душе, как застарелая изжога со дна желудка. Я проглотил ее — молча и мужественно. А что оставалось делать?

Подразумевалось, что прошлое похерено, что мы ни в чем не упрекаем друг друга, просто начинаем жить заново. Вернее, мы продолжаем нашу жизнь; да и о каком прошлом, собственно говоря — если не считать некоторых недоумений, — идет речь? Завтра мы уезжаем в город, она приехала, чтобы протянуть мне руку мира, если можно было говорить о войне между нами, и я, естественно, отвечаю ей тем же. Но никакой войны, собственно, и не было. Бегства не было. Я отдохнул на свежем воздухе, я провел творческий отпуск на даче, пора домой. Все это, ужасавшее меня именно тем, что вдруг предстало как нечто не требующее объяснений, нечто решенное и даже само собой разумеющееся, устраняло необходимость обсуждать и некоторые вытекающие отсюда следствия, некоторые житейские подробности, например, то, что нам предстояло, как и положено супругам, провести ночь вдвоем под одной крышей.

Именно об этом, о том, что мы остаемся наедине после того, как брат уйдет ночевать в дом к соседке, об этом, как о само собой разумеющемся, ни слова не было произнесено, и было ясно, что наутро тем более уже не о чем будет говорить: какая необходимость ворошить старое, коли мы провели ночь вместе, как и положено супругам? Как уже сказано, меня ужасал этот *fait accompli*, то, что все выглядело как *fait accompli*; но сознаться ли? Я почувствовал и определенное облегчение. Больше, чем «факт», меня приводила в ужас необходимость выяснять отношения; и вдруг оказалось, что не надо ничего говорить, объяснять, доказывать, не надо оправдываться; а главное, ничего не надо было решать.

Мы поужинали, на столе горела керосиновая лампа. Моя жена вышла и вернулась; когда я, в свою очередь, вошел в избу, она стелила себе на кровати. Для меня была приготовлена постель на полу.

«Здесь довольно тесно, — проговорила она. — Это что, простыня?»

Она сказала, что устала после мучительной дороги и уснет как мертвая. Было произнесено еще несколько фраз о ее работе, об институте. О нашем ребенке — ни слова, это был болезненный пункт, которого она разумно не касалась; я предполагал, что девочка в пионерском лагере.

«Все кости болят, — пробормотала она, — после этих ухабов».

Это означало: раз уж все решено, обойдемся без телесного примирения. Это также означало: не в плотском влечении дело. Кроме того, это был намек на то, что я не должен думать, будто мне все так просто сошло с рук, прощено и забыто. И в то же время это был некоторым образом шаг навстречу: отказывая мне в близости (на которую я, как предполагалось, рассчитывал независимо от всего, в силу мужского самолюбия и мужского сластолюбия, моей низкой мужской природы), она давала понять, что я ей небезразличен: меня наказывали, но наказывали и себя. В темноте мы покоились каждый на своем ложе, и я принялся обдумывать, как бы мне завтра увильнуть. Да, я употребил мысленно это пошлое выражение; я чувствовал, что у меня не хватит решимости объявить напрямую и без лишних слов, что я не намерен возвращаться. Я думал о том, что у моей жены начальственный вид, крупная решительная походка, просторные бедра.

Можно было бы развить эту тему, рассмотрев ее с разных точек зрения. Я представил себе научный институт, занятый составлением всеобъемлющей Энциклопедии Женского Тела. Широкие бедра означают многое. Но прежде всего — власть.

Я тоже был утомлен до крайности, предыдущую ночь почти не сомкнул глаз, не говоря уже о дуэли, на которой я был убит, потом воскрес и чуть было не подставил грудь для второго выстрела. Мне казалось, что моя жена спит, но в темноте раздался ее голос. Она назвала меня по имени. Я спросил: в чем дело?

«О чем ты думаешь?»

Я отвечал, что думаю о своей работе.

«Ты пишешь что-то крупное?»

«Пытаюсь».

«Давно пора. Я считаю тебя — при всех оговорках — очень способным человеком».

«Я тоже считаю».

«Ты не имеешь права пренебрегать своим талантом».

«Не имею».

Ситуация менялась: теперь я оказывался обиженным, о чем свидетельствовали мои короткие ответы, она же, напротив, выглядела виноватой. Наступило молчание.

«Ты неплохо выглядишь, посвежел. Между прочим, тебе несколько раз звонили».

«Кто звонил?»

«Из издательства. Интересовались, где ты.— Пауза.— Ну что, будем спать?»

«Будем спать»,— сказал я и внезапно решил, что завтра же или даже сейчас, не откладывая, объявлю моей жене, что никуда не поеду; если она хочет остаться здесь дня на два, пожалуйста. Но на меня пусть не рассчитывает. Необъяснимым чутьем она угадала мое намерение и сказала:

«Ладно».

«Что ладно?»

«Ладно, говорю, пора спать. Иди ко мне».

И, так как я ничего не ответил, ибо находился в некотором ошеломлении, она добавила:

«Ну в чем дело? На полу неудобно, только измучаешься».

Я молчал.

«Мне просто жалко, что ты проваляешься всю ночь без сна, да и пол холодный. Не ломайся. Ложись рядом со мной, будем просто спать. Я устала».

Выходила какая-то нелепая история, я лежал на самом краю, рискуя упасть с кровати, но невольно касался моей жены лопатками, пятками ног. Она проворчала:

«Я же говорила... холодные, как лед».

Несколько мгновений спустя мы приняли позы, более естественные в нашем положении, а что же еще оставалось делать?

XXXV

Черные воды сомкнулись над нами, сон обхватил меня мягкими щупальцами, схоронил мое бездыханное тело на илистом дне; но это беспамятство продолжалось недолго, смутное, сумеречное сознание вернулось ко мне, как будто лунный луч заглянул в окно; я спал и не спал и во сне думал о сне. Несколько времени погода я очнулся, я лежал в темной избе, которую уже привык считать своим домом, но оказалось, что и она была сном; некоторое время, сказал я, но должен себя поправить: сновидение, каким бы запутанным оно ни казалось, длится считанные мгновения; но и это выражение надо понимать условно, ведь время с его минутами и секундами существует только в дневном мире, где датчики регистрируют электрическую активность мозга, между тем как по ту сторону дня, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере иной природы.

Итак, я все еще находился там, вернее, наполовину там, как бредут через топкую заводь по колено в воде,— я все еще пребывал отчасти в стихии сна. Можно было бы сказать, что я оказался в двух временах, если время сна вообще можно считать временем. Можно было сказать, что я по-прежнему владел грамматикой сна — или она владела мною,— странные сочетания слов, невысказанные глагольные формы, небывалые части речи, для которых не существует названий, удивляли меня самого, несмотря на то, что принадлежали мне и родились вместе со мной: ведь язык — ровесник души. Я вернулся к началу моей жизни, в первые, ранние дни; на моих глазах, если можно так выразиться, происходило то, что когда-то произошло со всеми нами: рождение души из ночного первобытного хаоса; моя душа просыпалась и лепетала на языке, который уже в следующие мгновения станет невнятным ей самой. В следующие мгновения он покажется абракадаброй. Я застал этот миг двуязычия. Я все еще брел

по топкому дну, я владел праязыком ночи, но думал о нем на языке дня; что же удивительного в том, что я прикоснулся к загадке литературы.

Я догадался, что если мы видим сны, то сон в свою очередь и на свой лад видит нас, и литература способна — только она и способна — вернуть равноправие младенческому праязыку грез. Только она может продемонстрировать, что сон и явь — два равносильных способа нашего существования в двойной действительности. Что здесь иллюзия, что правда? При взгляде оттуда наше бодрствование представляется загадочным сном, совершенно так же, как проснувшемуся человеку кажется абсурдом то, что происходило во сне. Что правда, а что обман? Я понял, что для литературы такого вопроса не существует.

Утро настало, каких, быть может, еще не бывало от сотворения мира: тихое, нежное, переливчато-перламутровое; неяркое солнце неподвижно стояло в желтоватой дымке, как стареющая невеста в фате. Шелестя травой, гуськом мы прошли влажное огородное поле, пробрались сквозь кустарник и спустились к реке. На графитовой воде плясали искры, ближе к другому берегу вода казалась серо-молочной, серебристо-голубой; отплыв на середину реки, я обернулся, моя бывшая жена, в купальнике, широкобедрая, белорукая, с полуоткрытой грудью, все еще не решалась ступить в воду; брат стоял на том берегу, усердно приседал и размахивал руками.

Завтрак на воле, в огороде за домом. Мои бумаги, как некий почетный мусор, были сложены на печном приступке, стол вынесен в огород. Они привезли продукты из города. Мой брат позвал соседа.

Как-то само собою решилось, что мы не будем сейчас обсуждать мой отъезд. Пожалуй, заметила Ксения, поглядывая на небо, обещавшее замечательную погоду, пожалуй, сегодня не поедем. Эта глагольная форма — поедем, побудем — была удобна тем, что могла относиться только к ним, к жене с братом, а могла иметь в виду всех троих; она подразумевала, что, конечно, мы поедем все вместе, и в то же время оставляла для меня лазейку. Мы как будто условились, что не будем говорить о том, о чем надо было поговорить. Так ли уж надо? И о чем? Зачем портить себе настроение в этот мирный, туманно-солнечный и постепенно становившийся приглушенно-жгучим день дряхлеющего лета?

Аркаша явился, как всегда, в телогрейке, в ушанке, которую он снял, прежде чем сесть; жена раскладывала еду, разливала чай из медного чайника, она сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к солнцу, а брат мой разговаривал с Аркашей.

Я посматривал на мою жену, как мне представлялось, равнодушно-оценивающим взором человека, который провел ненароком ночь с незнакомой женщиной и спрашивает себя, красива ли она и сколько ей может быть лет.

Ксения спросила, чувствуя на себе мой взгляд, не поднимая век:

«А как же зимой?»

«Чего зимой?» — спросил Аркадий.

Она спросила, как они тут живут зимой.

«Так и живем, чего ж! Дров эвон сколько хочешь».

Он посмотрел на небо, на кupy деревьев и промолвил:

«Хорошо тут. Воля».

«Куда же народ подевался?»

«Какой народ?»

«Односельчане. Колхозники».

«Куда... Которые померли, а кто и деру дал».

«А ты, значит, решил остаться».

«Я-то? А куда мне бежать? Мне и здесь хорошо».

«Сколько тебе лет, Аркаша?»

Аркаша почесал в затылке и отвечивал: может, сорок, а может, пятьдесят.

«Какого ты года,— переспросила моя жена, с закрытыми глазами подставив лицо солнцу,— по паспорту?»

«Чего? — сказал Аркадий и поглядел в сторону.— Нет у меня никакого паспорта, на кой он мне...»

Мой брат заметил, что теперь и у колхозников есть паспорта.

«Мало ли что есть»,— был ответ.

«А если милиция спросит, что тогда?»

«Нет у нас милиции».

«А если приедет?»

«Пушай приезжает».

На дороге перед нашим огородом стояла, опираясь на палку, темная старушечья фигура. Солнце освещало ее так, что нельзя было разобрать лица. Невозможно было сказать, смотрит ли она на дорогу или на нас. Что ей надо, спросила моя жена, приставив ладонь к глазам; мы тоже обернулись. Аркадий степенно пил чай.

«Листратиха,— сказал он презрительно.— Таскается тут».

Он добавил:

«И не зовите, все одно не услышит. Глухая».

Мой двоюродный брат поднялся из-за стола. Солнце высоко стояло в бездонном, звенящем небе. С другого конца деревни доносились голоса, стихающий рокот механизма. Там возвышался, перегорюдив дорогу, заляпанный грязью подъемный кран на платформе с восемью колесами, снова прибывший неизвестно для чего, неизвестно откуда. Мой брат вышел, держа в обеих руках канистры, надеясь разжиться бензином у водителя; мы с Аркашей стояли у плетня.

«Живите. Куда торопиться-то?»

«Пора».

«Куда спешить-то?»

Я вздохнул.

«Дела, Аркаша».

«Подождут дела. Что, скучно тебе тут, что ль? Али бабы одолели?»

Я развел руками.

«Женщины, они, конечно, того,— заметил глубокомысленно Аркадий и сдвинул шапку на глаза.— Женщины, они...»

Я согласился, что женщины — дело такое.

«А ты плюнь,— посоветовал Аркадий,— ну их всех в ж...!»

Зычный голос донесся с другого конца деревни:

«Аркашка!»

«Зовут, слышь,— сказал он.— А вы уезжать собрались. Чего заспешил-то?» Этот вопрос относился к брату.

«Да я не знаю,— проговорил мой брат с сомнением,— ты как?»

Я пожал плечами, мы оба взглянули на мою жену, которая по-прежнему сидела у стола, подняв к солнцу незрячее лицо, на носу у нее был наклеен лист подорожника.

«Отгуляем, и поедете».

«Аркашка! Мать твою!»

«А то совсем оставайтесь»,— сказал Аркадий.

«Погода,— сказал мой брат,— лучше не надо».

«У нас всегда погода в самый раз».

«Урожай, наверное, будет хороший»,— заметил мой брат.

«Ладно, разорались,— сказал Аркаша, махнув рукой.— А чего? Оставайтесь. Никуда Москва не денется. Отгуляем, а там уж...»

Он направился вразвалку к подъемному крану, служившему, как выяснилось, для разных нужд. Егор снимал с платформы ящики с напитками и харчами. Василий Степанович, в сапогах и расшитой по вороту белой рубахе навыпуск, препоясанный ремешком, руководил разгрузкой.

XXXVI

Как некогда языческие капища становились подножием христианских базилик, как древняя вера отцов не умирает, а переселяется, словно душа в новое тело, в новый государственный культ, так престольные праздники тайно продолжают существовать под видом революционных годовщин, Международного женского дня, Дня космонавтов или работников железнодорожного транспорта. Не то чтобы верность обычаю предков была так уж сильна, но и похерить их невозможно: они лежат в этой земле; другое дело, что если бы, скажем, они воскресли, то чего доброго, оказалось бы, что и они все позабыли. Но что значит забвение? Позабыли, да не совсем; сказать, что хранят благоговейную память, тоже нельзя. Вот почему нет ничего несуразного в предположении, что, восстав из гроба, предки наши преспокойно уселись бы рядом с немногочислен-

ными потомками пировать во славу железнодорожного транспорта. Ибо в конце концов всякий Париж стоит обедни и всякий праздник важнее, чем повод для него, — разве вам не случилось пировать на именинах, не зная в точности, кто такой именинник, не приходилось бывать на поминках, когда уже через полчаса все забыли, кого поминают? Праздник — это и есть доказательство забвения, доказательство того, что жизнь одолела смерть и настоящее торжествует над прошлым; если бы мы спросили, по какому случаю, собственно, здесь гуляют, вопрос потонул бы в звоне стаканов и остался бы без ответа.

Погода была превосходной. Погода была, по справедливому замечанию Аркаши, в самый раз. С утра раздавались крики, уханье, бабьи взвизги. Доносились обрывки песен и скрежет гармошки. Группы более или менее празднично одетых поселян двигались по улице; несли флаги и обрамленные полотенцами иконы; с изумлением каждый спрашивал себя, откуда вдруг набралось столько народу. За околицей, куда укатил подъемный кран, по другую сторону деревни, на широком лугу были расставлены столы или то, что их заменяло, хлопотали женщины, носились дети. Стоял грузовик с откинутыми бортами, блестели жидким латунным блеском раструбы геликонов, и над сидящими в кузове музыкантами покачивался и вздувался под легким ветром на шатких жердях кумачовый лозунг.

Грохнула музыка, бум, бум, бум — бухал барабан, народ бросился на лужайку, стали поспешно рассаживаться. Музыка заглушала голоса. Сидящие на скамьях теснились, пропуская опоздавших. «Подвинься чуток... Да куды ж, вот я сейчас свалюсь... В тесноте, да не в обиде!» Сдержанный гул прорывался в промежутках между громыханьем оркестра, бабы озирались по сторонам, озабоченно подтягивали уголки платков. Вдруг все стихло. Василий Степанович с бокалом в руке, стоя за столом почетных гостей, — рядом старик-представитель с тусклым взором, с орденом на музейной гимнастерке, в сивых усах, рядом, выглядывая из-за мужниной могучей фигуры, круглолицая, в белоснежном платочке Мавра Глебовна, рядом Ксения Абрамовна в светлой шелковой кофточке с бантом и, само собой, супруг-путешественник, — Василий Степанович поднял руку, призывая к вниманию. В грузовике, однако, неправильно истолковали его жест, грянул туш. Публика гневно обернулась к музыкантам. Кое-кто, не выдержав, уже выпивал и закусывал. Музыка стыдливо замолкла.

«Товарищи! — сказал Василий Степанович и гордо, мужественно обозрел односельчан. — Товарищи колхозники и колхозницы, механизаторы, доярки, труженики полей... Дорогие земляки! Разрешите мне, как говорится, — Василий Степанович крякнул, — от имени и по поручению! Мы собрались здесь в этот торжественный день, чтобы все как один... В ответ на неустанную заботу партии и правительства ответим новыми успехами, небывалым урожаем!»

Раздалась жидкие аплодисменты. Оратор продолжал:

«Наше слово крепкое. Наш колхозный, трудовой закон — перво-наперво делом рассчитаться с государством. А то ведь у нас как получается? Как работать, так голова болит. А как пить да жрать, так мы все как один, небось никто не болен! (Одобрительный смех.) Верно я говорю, мужики?» Снова раздался смех. Возгласы: «Молодец, Степаныч, режь, ети ее, правду-матку!»

Кто-то пробовал возразить: «Да ладно тебе... слышали мы...»

«А чего, правду говорит мужик».

«Какой он тебе мужик? Языком чесать. Это они умеют».

«Давай, Степаныч! Режь, ети ее...»

«Ура!» — воскликнул Аркаша.

Василий Степанович постучал вилкой о рюмку, оглядел собрание.

«Разрешите считать ваши аплодисменты за единодушное одобрение...»

«Ура, ура!» Все засвищели и затопали.

«Слово предоставляется нашему дорогому гостю! Представителю райкома, персональному пенсионеру».

«Дорогие товарищи, граждане нашей великой...» — начал бодрим фальцетом старик, украшенный орденом, но потерял нить мыслей и некоторое время беспомощно озирает столы, за которыми уже, не дожидаясь, вовсю пили и ели, смеялись, подливали друг другу, целовались и тискались женщин.

«Поприветствуем товарища пенсионера, героя гражданской войны!» — вскричал председатель.

«Помню, в двадцатом году...» — лепетал старик в гимнастерке.

Кто-то спросил:

«В котором?»

«В двадцатом, — сказал старик. — Мы не так жили. Мы воевали. Жрать было нечего. Не то что теперь».

«Ладно заливать-то...»

Другой голос сказал удивленно:

«Етить твою, никак Петрович?»

«А ты его знаешь?»

«Как не знать! Я думал, он давно помер».

За столами пели:

«Ехали казаки от дому до дому, подманули Галю, увезли с собой».

Бабий хор дружно грянул: «Ой ты, Галя, Галя молодая!»

«Разрешите мне! — надрывался, стуча вилкой, Василий Степанович. —

Предоставить слово!...»

«Мы кровь проливали. А теперь? — продолжал старик. — Кабы знали, мы бы... Эх, да чего там... — Он взмахнул сухой ладошкой и возгласил: — За здравие царя, уря-а!»

Свист, хлопки и крики восторга.

«Слово предоставляется, — сипел Василий Степанович, — товарищу писателю!»

Шум стих, потом чей-то голос спросил, словно спросонья:

«Чего? Кому?..»

Путешественник нехотя поднялся, и все головы повернулись к нему. Некоторое время он молчал, как бы собирался с мыслями. Затем взглянул на Василия Степановича, на жену, на Мавру Глебовну, обвел грустным взглядом пирующих.

«Дорогие друзья...» — проговорил он.

«Писатель, — сказал кто-то. — А чего он пишет-то?»

«Хер его знает».

«Известно, бумажки пишет».

«Чего резину тянешь? Давай, рожай!»

«Товарищи, попрошу соблюдать тишину, — вмешался председатель. — Кто не желает слушать, тех не задерживаем».

«Дорогие друзья, — сказал приезжий. Голос его окреп. — Работники сельского хозяйства! Новыми успехами ознаменуем! Все как один...»

Раздались слабые хлопки, приезжий провел рукой по лбу и продолжал:

«Я, собственно, что хочу сказать... Вот черт! Понимаете, хотел сказать и забыл. Забыл, что хотел сказать!»

«Ну и хер с тобой!» — крикнул кто-то радостно.

Председательствующий постучал вилкой о стакан.

«Да, так вот... Для меня большая честь присутствовать на вашем празднике. Вот тут товарищ очень правильно сказал, что мы пишем бумажки. Так сказать, отображаем... Но, товарищи! Парадокс литературы заключается в том, что чем больше мы стараемся приблизиться к жизни, тем глубже вязнем в тентах письма. В этом состоит коварство повествовательного процесса».

«У меня вопрос», — поднял корявую ладонь мужик в железных очках, перевязанных ниткой, лысый, с жидкой бородой, по всему судя — тот самый, кто навестил приезжего в одну из первых ночей.

«Пожалуйста», — сказал председатель.

«Я вот тебя спросить хочу: ты зачем чужую избу занял? Ты разрешения спросил? Нет такого закона, чтоб чужую квартиру занимать».

«Мой брат купил эту избу. Вот он тут сидит, может подтвердить. Я же вам объяснял...»

«Нечего мне объяснять! Ты вот ответ».

Кто-то сказал:

«Да гони ты его в шею, чего с ним толковать?»

«Кого?» — спросил другой.

«Да энтото, как его...»

Еще кто-то вынес решение:

«Живет — и пуцай живет».

Писатель продолжал:

«Что я хочу сказать? Литература служит народу. Так нас учили. Но, товарищи, чем мы ближе к народу, тем мы от него дальше. Таков парадокс... А! — И он махнул рукой.— Ребятки, может, станцуем, а?»

«Вот это будет лучше»,— заметил кто-то.

«Бух! Ух! — ударил барабан. Тра-та-та, ру-ру-ру,— запела труба. И все повскакали из-за столов.

Путешественник перешагнул через скамейку и пригласил даму. Оркестр играл нечто одновременно напоминавшее плясовую, «Марш энтузиастов» и танго «В бананово-лимонном Сингапуре».

Путешественник танцевал с тяжело дышавшей, зардевшейся Маврой Глебовной, чувствуя ее ноги, мягкий живот и грудь. Желая путешественника вел, описывая сложные па, Василий Степанович. Его сменил, галантно раскланявшись перед таинственной улыбавшейся Ксенией Абрамовной, ночной лейтенант в новеньких золотых погонах. Помощник лейтенанта сидел среди стаканов и тарелок с недоеденной едой, подливал кому-то, с кем-то чокался и объяснял значение органов: «Мы, брат, ни дня ни ночи не знаем... Такая работа... Вот это видал? — И он скосил глаза на свою нашивку, меч на рукаве.— Это тебе не польку-бабочку плясать... Я вот тебе так скажу. Мы на любого можем дело завести. Вон на этого...» — Он указал пальцем на танцующего писателя. «Которого?» — спросил собеседник. «На этого. Знаешь, какое дело? Во!» Двумя руками он показал, какой толщины дело. «Да ну!» — удивился собеседник. «Только чтоб ни слова об этом,— сказал помощник.— А то... Ладно, не бойсь. Давай...»

Между столами и на лугу откалывали коленца поселяне, бабы, согнув руку кренделем, трясали платочками, пожилой мужик в железных очках, позабыв о своем вопросе, хлопал себя по животу, выделывал кругалю. Оркестр гремел, дудел: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю! Когда ревет и плачет океан». Труба пела: «Нам нет преград на море и на суше». Кто-то лежал, раскинув руки, созерцая бледно-голубое далекое небо.

XXXVII

В это время вдали клубилась легкая пыль, солнце играло в подслеповатых окнах, через всю деревню, мимо покосившихся изб, мимо печных остовов, мимо повисших плетней пронеслись один за другим в развевающихся одеждах верховые.

«Эва кто пожаловал»,— сказал чей-то голос.

Дружка стреножил коней. Витязи с темными глазницами, в круглых княжеских шапках, в плащах поверх кольчуг, в дорогах портах и сапожках из юфты молча приблизились к почетному столу. Мавра Глебовна поднесла хлеб-соль. Мальчик, умытый и причесанный, нес два кубка.

Витязи приняли кубки, степенно поклонившись председателю и народу, сели на краю стола.

Две цыганки сорвались было с места, заорали: «К нам приехал наш любимый Борис Борисович дорогой. К нам приехал наш родимый Глеб Глебович дорогой! Пей до дна, пей до дна...» На них зашикали.

Председательствующий Василий Степанович приветствовал гостей. Братья наклонили головы.

Все снова сидели на своих местах, бабы шушукались, музыканты дремали в кузове грузовика.

После чего слово было предоставлено барону Петру Францевичу, который уже стоял наготове, с бокалом в руке.

«Уважаемый председатель, святые князья. Братья и сестры, друзья, русский народ!» — изящно поклонившись направо и налево, растроганным голосом сказал Петр Францевич.

Он отпил из чаши, пригладил на висках седеющие напояженные волосы и кончиками пальцев коснулся благовонных усов.

«Человеческая душа есть величайшая загадка. Буйный зверь и скорбящий ангел в ней живут, одной плотью укрываются, одним хлебом питаются. Сегодня пируем и лобызаемся, а завтра проснется демон, обернется ангел зверем — и пошел грабить и жечь. Так уж, видно, повелось на Руси, други мои любезные, мужички...»

Все затаили дыхание, Петр Францевич оглядел собрание и после короткой паузы продолжал:

«И есть у этого зверя верный союзник. Только и ждет он, когда разгуляется, распояшется русский человек. Ждет, чтобы прийти и помочь ему жечь, грабить, насиловать. Две силы объединились, чтобы погубить землю, два недруга, тот, что сидит в нас самих, и тот, кто ждет своего часа на дальних подступах нашего необъятного государства...»

«Во дает!» — сказал чей-то голос.

«Монголы, поляки, французы... Тевтонская рать с головы до ног в железе. Только было встанет на ноги государство, отстроятся города, бабы нарожают детей — новая напасть, опять нашествие, опять все гибнет в огне... Уж совсем было сгинула Русь. Ан нет! — сказал Петр Францевич.— Откуда-то поднимается новая поросль, ангел подьмет крыло. Стучат молотки плотников, рубятся избы, засеваются поля, князья собирают удрученный народ, попы молятся учат одичавшее стадо. До нового избиения, до следующего раза... И были гонимы, как прах по горам и пыль от вихря, говорит псалмопевец. Доколе же, спрашивается, все это будет продолжаться? У вас хочу спросить, мужички! Не чудо ли, что мы все еще существуем, второе тысячелетие тянем...»

«Эва куда загнул!» — сказал голос.

«Но вот наконец нам объявляют, что русский человек исчез, нет его больше, истребился и стерт с лица земли, как некогда были стерты древние народы. Так-таки и пропал, черт ли его унес, терпение ли Господне истощилось, неизвестно! Нет больше русского народа, так, лишайник какой-то остался. Но я спрашиваю вас, земляки-сельчане, друзья мои дорогие! А вы-то кто? Я спрашиваю: вы-то живы? Или это видение какое, фата-моргана, дивный сон мне снится, а на самом деле вас и нет вовсе? А?.. Вот то-то и оно!» — усмехнулся Петр Францевич и провел пальцами по шелковистым усам.

Он скосил глаза и слегка нахмурился, Мавра Глебовна поспешно подлила витязям и оратору. Доктор искусствоведения Петр Францевич вознес чашу.

«Славным пращурам нашим — ура!» — крикнул он, и мужики и бабы отчаянно завопили «ура» и захлопали. Оркестр заиграл гимн. Перед столами появился, слегка пошатываясь, с огромной гармонью Аркадий. Началось братание, раскрасневшиеся женщины переходили из рук в руки, лобызали мужиков, мужики обнимали друг друга, Петр Францевич нежно расцеловался с путешественником, Ксения прильнула устами к Василию Степановичу. Братья-витязи уже сидели в седлах. Начал накрапывать дождь.

Некоторое время спустя дождь стучал по столам, залил рюмки, тарелки, миски со студнем и виногретом, дождь исколол острыми иглами серую поверхность реки. Люди бежали опретью к деревне, те, кто не мог подняться, почивали в лужах. Пошел град, повалил снег.

Снег закрыл до половины низкие окна и завалил крыльцо. С трудом открылась дверь, путешественник, обмотанный шарфом, в валенках и рукавицах, с деревянной лопатой выбрался из темных сеней. С полчаса он работал метлой и лопатой, откопал ступеньки, разбросал снег перед окнами и прорыл дорожку к хибаре соседа. Усы и борода путешественника покрылись сосульками, ресницы побелели от инея. Проваливаясь в сугробы, он добрался до двери. «Эй, Аркаша!» — позвал он. Дорога и огородное поле скрылись под волнистыми наметами снега, река сравнялась с полями, и призрачные леса с трудом угадывались в дымчато-белом мареве бездыханного дня.



Несколько вопросов Борису ХАЗАНОВУ

— *Насколько автобиографичен ваш роман? Имеется в виду не сходство событий и совпадение дат, а соответствие мироощущения главного героя — писателя — вашему мироощущению.*

— В эпоху, когда был провозглашен крутой подъем сельского хозяйства и страна должна была догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока, я был деревенским врачом в довольно глухом месте, вдали от железных дорог, в самом сердце Нечерноземной России. Я хорошо знал мой участок, по которому колесил в своем медицинском автомобиле, неплохо знал и всю область. В качестве заведующего сельской участковой больницы я был избран депутатом районного Совета. Однажды на сессии выступил местный прокурор. Он произнес грозную речь, в которой обещал покончить с повальным бегством молодежи из села. Прокурор говорил с местным крестьянским акцентом, так что можно было догадаться, что он сам принадлежал к тем, кто удрал из деревни. Но он был недостаточно знаком с положением вещей, потому что на самом деле никакой молодежи в колхозах давно уже не осталось. В послехрущевские времена мне тоже приходилось не раз бывать в глубинке, и, как прежде, я видел мертвые деревни, похожие на ту, куда приехал герой моего романа. Вот то, что можно назвать автобиографическим элементом в этом произведении.

Что касается самого героя, то, конечно, и в нем есть кое-что от автора. Правда, мне не приходилось убегать от жены. Кроме того, я не был в России профессиональным писателем (что бы ни подразумевалось под этим званием). Мысли о литературе, тщетные усилия писать и сознание собственной беспомощности, без сомнения, заимствованы у автора.

— *Мир, окружающий вашего героя, с одной стороны, вроде бы и предметен, а с другой — иллюзорен. Что это: следствие умонастроения героя или вы вообще считаете, что мир — лишь усредненная совокупность наших иллюзий?*

— Мы рискуем въехать в сугубо философские дебри, поэтому постараюсь выразиться осторожней. В мои намерения не входило написать социальный роман, всплакнуть о гибели крестьянства, обличить недавнее прошлое и т. п. Другими словами, то, что называется объективной действительностью, могло быть в лучшем случае лишь фоном для сюжета и действующих лиц. Романист предпочитает иметь дело с человеческой действительностью, в которой иллюзорность происходящего по-своему не менее реальна, чем предметная реальность. Воспоминания и сны занимают в этой действительности такое же почетное место, как и «объекты».

Но главы, написанные от первого лица, не зря перемежаются главами, где о герое говорится «он», и это делает ваш вопрос еще более обоснованным. Скажу кратко: эта деревня одновременно — и действительность, и фантом. Как, впрочем, весь наш мир. Это довольно обычная деревня и вместе с тем — морок, что-то вроде потустороннего царства, в котором навсегда остановилось время. Поэтому там все может происходить одновременно. Бывший и, видимо, раскулаченный, давно и бесследно сгинувший владелец избы является ночью отстаивать свои права; бывшие помещики как ни в чем не бывало благодушествуют в своем имении, а по окрестностям кочуют братья-рюриковичи, убитые в XI веке. На празднике, одновременно престольном и советском, присутствуют все: и местный бюрократ, и неудачливый писатель, и его соперник — барон и патриот, изображающий из себя русского религиозного философа, и девочка, которая не знает, как себя вести — как дворянская барышня или как современная девица, и какой-то там полумифический герой гражданской войны, и гэнэушники, которые охотятся за беглым кулаком, и сам этот так называемый кулак, и даже древнерусские святые.

— *Весь роман пронизывает тема одиночества. Для вас это бегство от себя или к себе? И не иллюзорно ли и оно?*

— Я хочу напомнить, что не ответственен за своего героя. Но, разумеется, чувство одиночества свойственно нам обоим. Герой бежит от жизни, которая ему об-

рыдла, надеется найти (и, очевидно, находит) убежище в глухомани, так сказать, ищет путь к самому себе. Об авторе этого сочинения можно сказать, что он ищет убежища и утешения в литературе.

— *По ходу действия периодически появляются святые Борис и Глеб. Почему именно они?*

— Очень просто: немецкая репродукция знаменитой московской иконы XVI в. с двумя всадниками на серебристом фоне, напоминающем лунную ночь, на конях, которые не скачут, а скорее танцуют, висит на стене у меня в комнате. Но я воспользовался образами князей не только потому, что люблю их изображения, их житие, не только оттого, что они для меня — живые фигуры русской истории и русской культурной традиции. Братья, умерщвленные по приказу Святополка и канонизированные вскоре после смерти, были, как всем известно, первыми национальными святыми Киевской Руси. В полумертвой, забытой Богом деревне присутствует нечто вечное, присутствует история. В каком-то смысле она всегда одна и та же — как пейзаж, «далекое зрелище лесов». Братья-мученики, о которых нельзя с уверенностью сказать, существуют ли они на самом деле или только являются, как и положено святым, действующим лицам романа, — выражают ту двойственность, которая, я думаю, присуща всему сочинению. То они витязи в княжеских шапках, на призрачных танцующих конях, то спившиеся попрошайки, которые шатаются вокруг поместья, не то настоящего, не то воображаемого. Мои герои кажутся нарочитым изобретением фантазии, но в них есть и нечто от нашей действительности; они могут показаться карикатурными, но к ним можно отнестись и всерьез.



Ирина ЕРМАКОВА

Б е л ы й з в у к

Афродита

из тягучей сладкой пены
сонной пены сольной пены
пузырей и брызг слепящих
аккуратно посвищу

ветер простыни надует
ветер пустится по венам
и стерильная картинка
повернется на стене

корабельщик корабельщик
улетит меня отсюда
говорит волна с волною
на белужьем языке

корабельщик корабельщик
солнце красит желтым йодом
солнце крутится все ниже
я готова я вполне

и на палубу выходит
безупречный корабельщик
в белом кителе крахмальном
а в руке нормальный шприц

за бортом хлопочет пена
заливается сирена
крылья хлопают и двери
коридор пошел винтом

ветер в черепахе гуляет
но летит корабль белый
мимо взмыленного света
вдоль акульих плавников

где хохочет желтый снизу
золотой и белый сверху
пенной розовой взбитый
оглашенный Божий пир

Гекзаметры о счастье

Нет никакого спасенья от счастья — догонит, достанет,
Вытолкнет в черный мороз, в звон хризантем ледяных,
Вывернет свет наизнанку, покатит в автобусе долгом,
Будет кружить и трясти, будет болтать до утра.

Холодно летним богам на московской пустой остановке,
Искры слезятся из глаз, влажно краснеют носы.
Греются счастьем бессмертные, звездный коньяк прикупают
И, ожидая меня, жаркие гимны поют.

Но мимо них пробегает блаженно урчащий автобус,
 Где, ошипав лепестки, я остываю в тепле,
 Где мне и так хорошо, о великие вечные боги,
 Без тормозов и руля голые стебли везти.

Не улизнуть никому от повального счастья — поздно!
 Счастливы боги, подруги, трескучие лживые звезды,
 Счастливы все наконец, — шальный автобус гоня,
 Свистнуло счастье мое и — добралось до меня.

* * *

Погоди, побудь еще со мною,
 Время есть до темноты.
 Наиграй мне что-нибудь родное,
 Что-нибудь из вечной мерзлоты.

Ласточки, полезные друг другу,
 Собирают вещи за окном.
 Беспризорная зарница — к югу
 В полной тишине махнет хвостом.

Божья вольница. И в нетерпенье
 Сумерки раскачивают дом.
 Здесь всегда темнеет постепенно,
 Здесь темнеет нехотя, с трудом.

Пальцы колют маленькие иглы,
 Сметывают звука полотно.
 Некому увидеть наши игры.
 Посмотри, уже почти темно.

Тьма идет. Но, может быть, из тени,
 Из гудящей тени шаровой
 Выглянет горящее растение —
 Блеск последней вспышки.
 Даровой.

* * *

Спит луна, похожая на лиса,
 спит и видит в крест окна — меня,
 и во сне проводит вдоль карниза
 языком зеленого огня
 мягко, никого не беспокоя,
 чтобы мне — прозрачной и ничьей —
 проскочить бегущую строкою
 по карнизу — к Радости моей,
 чтобы мне, как всякой райской твари,
 сразу все сокровища...
 — Смотри:
 отчий дым,
 мерцающий лунарий,
 сладкий запах серы,
 пузыри.

* * *

Идет огромная зима.
 Овидий кутается в шкуру.
 Не отрываясь от письма,
 он починил стрелу Амуру,
 и медной проволоки хвост
 теперь свисает из колчана.
 Я просыпаюсь раньше звезд,
 я просыпаюсь слишком рано.
 В аэропорт. Мой путь высок.
 Летят посыльные от Феба,

но тонкий медный волосок
мешает мне увидеть небо.
По набережной, до метро
в одной сандалиии летучей,
о пар, о Божий дар, о случай —
река баючит серебро
и разбивает о гранит —
Овидий пишет письма с понта —
и Аполлон меня хранит,
и воробьи меня поют
под куполом аэропорта.

* * *

Белый звук, слуховая накладка,
дудка стужи, невнятный толчок,
стукнет форточка, и по лопаткам
холодок побежит, холодок.

Дикий ветер, норд-ост посторонний,
мог случайно задеть в темноте
шкуркой льда остекленные кроны
в их осиновой нагоде.

Или посвист невидимой плетки,
или беглой души мотылек
притянулся на сонный короткий
беспричинный полночный звонок.

И по слуху — на дудку метели —
ты разинешь оконный проем:
белый снег забивается в щели,
белый свет набивается в дом.

* * *

Шальная минутка, веселая водка,
Темнеет, поедем кататься, красotka,
Купаться поедем, накупим черешни —
Машина свободна. А время? Конечно!
Поедем. Пора возвращаться к себе —
Маяк подмигнет фонарем на столбе,
И море заплещется в памяти сводной:
Мы все неожиданно — просто свободны.
Вот счетчик ретивый взыграл и забился,
Вот бабушка Соня на керченском пирсе,
Знакомые детские звезды взошли,
Рассыпался воздух, не видно земли.
Отлив оставлял полосу на заборе.
Ты помнишь о море? Я помню о море.
Прилив растревляет — намочит и солит.
Ты помнишь о море? Я помню о нас,
Я помню блестящий лазоревый таз,
Где бабушка крупные рыжие солит
Икринки, на солнце — пролетные брызги,—
Подробности происхождения жизни.
Чабрец, подорожник, бессмертник, крапива,
Нам — глубже, южнее, до горла пролива,
Где черные воды касаются тверди,
Ты помнишь? Еще бы, я помню о море.
Я помню, мы живы, а значит — возможны,
Свободны, невидимы и бездорожны,
С пером под лопаткой, при полном разоре,
Я помню, за нами — открытое море.



Люди из ущелий

ЗАПИСКИ БРОДЯЧЕГО ЧЕЛОВЕКА

Где-то около часа мы тащились за прицепом с каким-то комбайном, множа неудачные попытки его обойти, неизменно заканчивающиеся крепким словом водителя, так что у нас были все возможности хорошо ознакомиться с сельхозтехникой.

— Московские водители самые хреновые, — поведал мне мой шофер после очередной неудачи с обгоном. Проблема сводилась к моральному облику обгоняемого, а также (почему-то) милиции.

В конце концов прицеп с гигантским богомолем поднажал, оторвался от нас и навсегда исчез вдаль.

Так же промелькнул и исчез разрушенный задонский монастырь, поделенный между овощехранилищем и больницей...

Водитель велел налить себе квасу. Выпив, он передал крышку-кружку мне и... Российские дороги малоподходящи для питья с рук, — пришлось признать мне, облившись с ног до головы. По штанам текло, в рот не попало.

С наступлением ночи все правила движения перестали соблюдаться. Каждый выжимал из машины все ей доступное, и, когда мы под знаком «50» шли дёвьяносто, мимо нас птицей пролетел трейлер, и только красные огни еще недолго мелькали вдаль.

На указателе возник загадочный город Г-Деж. Писался он через дефис, видимо, с целью отместить ассоциацию с частью речи. Мне почему-то пришла на ум глупая песня про Вологду. Потом загадочный Г-Деж обернулся банальным Герогиу-Дежем, необязательным в этой донской степи. Честь, оказываемая лишь умирающим лидерам дружественных правительств, меня же преследующим и по месту жительства, и по месту работы.

Дорога дает мне увидеть страну посреди труда. Тяжелое зрелище. Унылое упорство. Кажется, будто ею владеет страх голодной смерти. Лишись страна на один день *их* труда — и всему придет конец. Может, это не осознанный страх, а скорее ощущение долга, выработанная привязанность, солидарность усилий, каждое из которых ничего не значит, но в целом кормит этого экономического монстра.

Наверное, мы лишены даже подспудно этого страха голодной смерти, и пафос малых дел не затрагивает нашего целомудренного сознания, для которого — или я несу все, или я совсем свободен.

Вечер, холод, водитель читает газету. Закат. Машина, ставшая кладбищем мошкары. Водитель моет ноги в кабине, а потом выливает воду под сиденье, заодно помыв и пол.

Два «счастливого пути» в сотне метров один от другого: пунктуально осуществленная инициатива двух колхозов.

Столовая без воды, зато с двумя плакатами бок о бок: «Хлеб — наше богатство, береги его» и «Хлеб — богатство, его береги, лишь сколько надо к обе-ду бери». Вероятно, опять преуспели в выполнении чьих-то директив.

Разговоры в пути. Главное: перепуганный Киев после Чернобыля. Все тревожатся о знакомых, сидящих там на месте с семьями, несмотря на предложения друзей и сознание опасности. Экстремальность повседневной жизни.

В Краснодаре встретился с Ритой и Малышом, приехавшими на поезде. Ночуем у знакомой с необычным именем Луиза. Странная одинокая женщина в двухкомнатной квартире на берегу реки Кубань. Она преподает в местном университете и даже в брежневские времена не скрывала своей религиозности.

У нее дома за чашкой чая встреча с краснодарскими демократами-антисемитами. Умные, образованные люди и порют такую чушь! Везде окопались евреи — в издательствах, институтах, учреждениях — и давят русских. В правительстве тоже еврейское влияние — через евреек-жен.

Такие разговоры страшно невежливы и чреватые недоразумениями: поскольку графа в паспорте предварительно не выясняется. Их это не страшит, видимо, моя русскость написана у меня на лице.

— Вы мне говорите вещи, о которых я знаю с детства: «Среди трех богатырей Илья Муромец — еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи...»

— Что это? — спрашивают они.

— Школьный фольклор.

Они проповедуют национализм и российскую воинственность (Сергий Радонежский). Я говорю, что наше коммунистическое правительство стоит ругать уж никак не за евреек-жен. Они говорят, что я не понимаю связи. Я говорю, что среди моих диссидентствующих друзей — куча евреев.

— Они добиваются права на выезд.

— Зачем им уезжать из принадлежащей им страны?

Гости ушли разочарованные: они говорили так смело как единоверцу, а попался, вероятно, скрытый жид.

Вечером Луиза рыдает на кухне. Неужели из-за расхождений во взглядах?

Утром беседуем о жизни. Она прогрессивнее и свободнее моей тещи, но ей тоже непонятно, чем мы живем — и зачем: тусуемся, носимся по стране, не борясь с совком, но и не вписываясь в него, не принося никому пользы и даже не развивая культуру... Она ее развивает вопреки сопротивлению партийных мракобесов.

Захолустный, полудеревенский, весьма милый город. По обочинам дороги ничейные абрикосовые деревья, ломающиеся от спелых плодов. Даже нагибаться не надо. С чистой совестью объелись на год вперед.

Поезд до Сочи. Любимый мой когда-то город. Не был здесь девять лет (не считая одного дня проездом — четыре года назад), но знаю наизусть. Все такой же, начиная с вокзала: удивительного, со сказочно чудной башенкой, арками, фонтаном и пальмами среди серых камней, словно советская тывка под южным солнцем превратилась в дворец. Лишь стало больше кавказцев и каких-то жуликоватых людей ходить по этому дворцу. От него — электричкой до Гагр. Из Гагр автобусом до Пицунды. Девятнадцать лет назад я жил здесь в лучшем на побережье только что открытом интуристовском санатории и прятался от поданного на обед коровьего языка под стол. Но годы прошли, и мне совсем в другую сторону. Остановка «Рыбзавод» (конечная). Оттуда пехом вдоль моря, по камням и по воде.

Знаменитое «третье» ущелье. (Есть еще «четвертое», уже совершенно дикое, для высокопродвинутых людей.) Ставим палатку над ручьем под деревьями.

В воздухе легкое напряжение: представители власти здесь — в роли стражей заповедных мест, от хиппи и туристов. Хиппи рассказывают про мордобой в местных ментах с последующей парикмахерской экзекуцией. Чтобы не попасться в городе — туда посылают самых нестремных. Встречаюсь с прижившимися здесь людьми, уж давно со своим миром, историей, эпосом. У них своеобразный стиль общения, с передразниванием местного абхазского акцента и комическим прибавлением ко всем существительным приставки «а»: «Мы пошли в агастроном... Залезли в апалатку...» За другими существительными летели их кривые отражения: «тусовка-шмусовка», «костер-шмостер» — в ореоле рифмованных междометий. Были мастера говорить на этом языке, казавшемся со стороны темным. У них свои обычаи, свой способ существования и общения с окружающими. Огонь и приготовление еды значат для них очень много. Многие значат чужая щедрость и даровые подачки (как правило, от туристов). Многие зна-

чат созерцание и лень, голод и холод. Я обнаружил их стоянку совсем рядом с легким и организованным отдыхом обычных туристов, унаследовавших все безделье мира, скучных, рациональных, негероических.

Я сидел у костра вместе с ними, уже одетыми на ночь в разнообразные закуты, в колокольчиках, шляпах, с палками, сигаретами и рассказами, умиротворенными, загорелыми, полными укоренившегося в них быта — около вечно не закипающего чайника их вечного чаепития. Их спокойный, неспешный разговор, дышащий откровением, случившимся с ними здесь.

Я узнал про отшельника, живущего на горе (значит, был кто-то, продвинувшийся дальше них), про человека, живущего в расщелине, про семидесятилетнюю балерину, живущую здесь круглый год прямо на берегу со своим хозяйством и железной кроватью, являющейся одновременно домом (стоит лишь натянуть через спинки целлофан), про бродячих психологов и одичавших журналистов. Всем нашлось место в этой колонии. Без денег, без вещей, кроме тех, которые они раздобыли здесь, с полным побережьем друзей и знакомых, с туристами и вином, книгами и редкими денежными переводами, городом и милицией, подстерегающей там, и пограничниками, налетающими сюда и борющимися с палатками. И все равно прекрасная, затягивающая жизнь.

Существовала не только хипповая теория, но и хипповая практика — это было самое интересное. Люди обустроивали свой быт, чтобы он был удобен, неожидан, небанален. Им было интересно заниматься «бытом», потому что это было искусством: шить себе одежду, переделывать и украшать дом — чтобы существование стало игрой и праздником. Они владели самыми простыми вещами и трудились хоть не на износ, но постоянно, а их считали бездельниками и пустобрехами. Они производили свою бытовую революцию, освобождаясь от ненужных вещей. Бытие, тяготеющее к самообслуживанию, сталкивалось с бытием, тяготеющим к излишеству и красоте, порождая удивительные химеры.

Один из моих новых друзей сидел три дня на скале и спустился успокоившийся и преображенный. Другая упала с обрыва в ручей и попала в больницу, но через три дня опять была здесь — здоровая. Одного подстригли*, другого избили и сорвали крест, когда он ждал разговора на переговорном пункте. И опять я узнаю, что кого-то увезли, кого-то ограбили, кого-то спасли и накормили, кто-то напился и его мучило с голодухи. Вспоминают о том, как за ними приплыли на катерах — допрашивать, и у кого-то переписали документы, в то время как другие убежали в горы и смотрели сверху. Тут можно уйти и спастись даже во время облавы. Это и есть их эпос.

Время проходит в беседах. Все они прекрасные рассказчики. Мастерство это здесь шлифуется и доводится до совершенства.

Девушки, давние знакомые, давние спутницы моих друзей, неожиданно изменили маршрут, поехали с сестрами и родителями в дома отдыха, на турбазы или остались дома, а их мужья скитались и ночевали под открытым небом, попрошайничали, загорали и бродили по берегу пустого синего моря.

— Мы попрошайничаем деньги, чтобы не попрошайничать время,— говорят они.

У них уже не было имен, не было собственности, не было времени. С ними было трудно, если не живешь точно так же. Сочетая невежество и простоту с утонченной образованностью, они жили без часов, без распорядка, легко жертвовали планами ради каприза спутника или личного произвола и притягательности пляжа.

— Захотелось поработать: ляг поспи — и все пройдет,— говорит вильнюсский Егор.

Нарушение привычек начиналось с самого утра: никакой организованной попытки встать. А после завтрака, состоявшего порой из мидий, одно-единственное слово поднимало вдруг пять-шесть человек отправиться еще дальше — за край горизонта, образованного утесом, как на край света.

— В следующем году тут уже будет без маза. Менты обещают закрыть четвертое ущелье,— говорят они с эсхатологической интонацией, будто оно и так уже не «закрыто», как и все нецивильное побережье.

* Историю этого человека я помещаю отдельно в постскрипtum.

Но до следующего года еще далеко.

Дима и Иннокентий (Ник) договариваются играть джаз.

— Давай,— говорит Дима,— это надо. У нас в городе все такие снобы. А как что-то сделать — никого нет.

Вместе с ними сидят водолаз Макс и Андрей со страшными синими ногами — от советских кроссовок. С этого момента его местная кликуха — Синенький.

Дима объясняет причину последнего увоза:

— Свинтили двадцать человек, чай-май. Приехали с автоматами. Когда мы побежали, один козел перетряхнул затвором. Лишь поэтому мы и остановились.

— Ерунда, у него наверняка не было патронов. Им не выдают,— говорит Честный, отбарабанивший недавно лейтенантом после колледжа.

— Может быть, но не хотелось проверять. Знаешь — это круто действует на нервы.

— Вы могли пожаловаться. Ничего себе — перетряхнуть затвором! Они не имеют права. А вдруг у меня слабое сердце, туды-сюды, и меня кондратий хватит? Надо было написать на них телегу.

— Без толку. На нее насрут, или она будет сто лет гулять. Ты же знаешь: в этой стране все так устроено, чтобы никакая жалоба не дошла по назначению.

— Только хуже бы было,— философски говорит Ник.— Началось бы следствие, разбиралово, выяснялово: а где вы работаете? Вот было б клево!

— Потом нам сказали убираться из города. Все разъехались кто куда. Мы с Джоном перенайтали на вокзале — и назад.

— А нас как в Судак винтили в прошлом году,— говорит Ник.— Нас тоже было человек двадцать. Они пригнали автобус, кучу полиса. А мы им, тырыпыры: никуда не поедем. Сели, взялись за руки и стали петь. Они и уговаривали, и угрожали. И тут, приколитесь, нас отдыхающие отмазали. Окружили всех, человек сто или двести, и стали защищать перед полисом: «Зачем вы их уводите? Что ж, если они с крестами, то им и на пляже появляться нельзя?» В конце концов они уехали, но забрали наши паспорта. Велели прийти на следующий день в городскую комендатуру. Сказали к часу, мы приехали в три. И еще два часа срала нам на мозги. Там гебист был странный, стал нас сортировать. Я был там с дядей. Он не волосатый, просто решил попробовать так жить. Он учился в школе для музыкально одаренных детей. Клевый музыкант. Гебист ему: «А ты, не волосатый, отойди! Чего к ним подбиваешься? С ними все ясно, они враги. Их можно уважать. А ты кто? Лучше не путайся здесь». Потом они перетряхнули наши рюкзаки, все отдали, кроме кассеты, где мы с дядей записали антисовковую песню. Я стихи сочинил, а он музыку написал. Они ее прослушали, послали телегу ему на работу, и его выперли. Он в ящике работал. Потом мы беседовали с этим гебистом. Он мне говорит: «Ты думаешь, мне самому все нравится?» Это после того, как я ему сказал, что всех бы их расстрелял. Он мне отвечает: «Я сам многих бы расстрелял. Мне самому многое у нас не нравится». Я говорю: «Только нам, наверное, разные вещи не нравятся. Скорее даже противоположные». Он, наверное, говорил про тех, кто плохо работает.

— Конечно,— кивает Принц,— про пьяниц и карьеристов всяких сраных.

— Кто-то обошел его, вот он и злится,— говорит Таня.

— Да нет, для гебиста он клевый мен. А вот в Симферополе, куда нас все-таки вывезли в автобусе, с нами совершенно вывихнутый говорил. «Если,— говорит,— кто-то из вас когда-нибудь здесь мне еще попадет, то упеку на месяц в триппер-бар, где у вас обнаружат триппер, сифилис и вшей».

— Обнаружат, как пить...— бросает Егор.

— Потом нас всех посадили на поезд, каждого до его города, паспорта отдали проводникам и велели выдать по прибытии. Но мы уже на следующей станции все вышли, смитинговались и поехали на Азовское море.

— А ксивы?

— Проводники отдали, нужно им очень возиться. Сразу, как поезд отъехал, пришли и говорят: «Нате, ребята, ваши паспорта, в гробу мы видели ваших ментов...»

— Ништяк!

— Ништяк! А на Азовском море нам говорят: «Здесь погранзона, уматывайте отсюда!»

— Как? С кем там граница?! — изумился Дима.

— С Черным морем, наверное,— предполагает Макс.

— И вот, как бы там ни было... В Судаке нам говорили: «Здесь вам нельзя, местные жители не привыкли, они вас будут бояться. А интуристов у нас нету». В Симфе говорят: «Здесь есть интуристы, и вам нельзя показываться». В Приморске говорят: «Здесь погранзона неизвестно с кем...» Мы там протусовались три дня. Ужасный городок: черный асфальт и вишни.

— Зато, наверное, вишен нажрались,— говорит Шуруп с завистью.

Шуруп рассказывает о побеге под Выборгом. Бежал через болота на Кольский полуостров. Егор из Вильнюса говорит, что бежал дважды. В своем Вильнюсе он работает мусорщиком.

Егор умный мужик и, видно, любит читать. Но здесь он ничего не читает, как и почти все.

Каждый приезжий kid привозит сюда что-нибудь новое в плане опыта, сведений, познаний, талантов. Парень из Минска рассказывает о Чернобыле. Факты почти с места событий. Объясняет технологию этих реакторов и причину того, почему не смогли отключить систему.

Генрикас из Прибалтики рассказывает о трипе по Азии:

— Там прохладнее...

Я рассказываю о встрече в Краснодаре. Все стали говорить о славянофильстве и антисемитизме. Только брось тему: базар всходит как на дрожжах.

Синенький — друг Малыша. Возится с ним, как с родным. Мягкий и кроткий, с маленькой бородкой по подбородку, как у князя Мышкина. Багира пытается его соблазнить. Он в ужасе шарахается от нее.

Пока люди владели собственными угодьями, их власть не обязательно распространялась на свободу передвижения по ним — до полной неприкосновенности к ним чужих пяток. Требования могли выдвигаться в пределах неформально-человеческих и самими личностями удовлетворяться: «Halte! Штраф за проезд через чужое владение. Стакан чаю!» (Бунин, «Сосед».)

Ныне неведомые выскочки от государственного корыта, пользуясь пачкой удостоверений и бумаженций, беззастенчиво накладывают свою лапу на удобные им географические точки, понимая природу и среду лишь в качестве продолжения материальной сферы государственных интересов, дающего право на любое отторжение. От этого божественного права и происходят нелепые требования как неизбежное следствие капризного желания попользоваться на дармовщинку чем-нибудь исключительно ценным, отесняя плечом других, не подкрепивших своих прав столь надежно.

Есть тут инструктор, приехавший с туристской группой из неведомых мест, но сам страшно властный и конкретный, претендующий на владение ущельем. Он даже показывает нам какие-то членские книжки и дипломы: совершенно сумасшедший тип.

— Это я делаю для того, чтобы вы знали, с кем имеете дело.

— Вы не стали от этого лучше,— отвечаю я.

— Да? Ну, так *вы* покажите документы, которые бы подтверждали, что вы можете здесь быть.

— Зачем это? Какая разница, какие у вас есть бумаги и каких у нас нет? Все это глупо и нелепо, неужели вы не понимаете?

— Ах, у вас ничего нет! Тогда почему вы ходите здесь с таким видом?!

Ну, надоел! Я говорю:

— Покажите документ, где написано, что ущелье принадлежит вам.

Он мне сует эту абракадабру. Он бы еще квитанцию из прачечной показал.

— Мне это неинтересно,— говорю я и собираюсь уйти.

Он кричит мне в спину:

— Иди-иди отсюда, убожество! Твои ровесники погибают в Чернобыле, а ты здесь прохлаждаешься!

Господи, как я хотел врезать в эту тупую, преисполненную уряднической власти морду, уверенную в своей правоте! С ненавистью я изложил это все системному Гераклу, бывшему боксеру, и тот вызвался сделать это за меня. Я отказался. Но до чего доходит мстительность уroda: сам-то он тут, а мне надлежит

быть в Чернобыле, будто в угоду ему устроенном, чтобы и на «ровесников» нашлась проруха. Их надо сделать побольше, чернобылей с афганистанами, а то ему не дает покоя факт моих ровесников как таковых, ходящих по этой земле.

Он тоже не стар, и непонятно, что он, такой сознательный, делает здесь, у теплого моря? И разве не видно, что я не настоящий советский «ровесник», охотно закрывающий чужие амбразуры?

Впрочем, к его утешению, мы вскоре сменили место: вдоль ручья гулял беспрерывный ветер, задувающий едва разведенный костер и морозящий по ночам. К тому же туристское окружение, шумное и мельтешащее, нам тоже не нравилось. Теперь наша палатка стояла на горе в начале последнего, «четвертого», ущелья.

Сидим над морем на скале под сосной у маленького костерка и читаем «роман» Гарика Рижского. Безыскусное повествование о его встречах на дороге, об одном спецприемнике, о другом, беседах с ментами, бродягами и уголовниками в камере. Он проповедовал им Льва Толстого, непротivление и Бога. Удивительно, как много он вынес — без всякого ущерба для себя. Написано почти примитивно, но с большой искренностью. Литература, сделанная лишь из душевной чистоты. Он относился к происходящему без обид, амбиций и гнева — просто пытался объяснить что-то: нам, читателям, и им, сокамерникам.

Шуруп загорелся:

— Я тоже могу так писать.

Стал воображать себя писателем. Ему есть что рассказать, как и любому тут.

Нас посетил мент в штатском. Предупреждает о возможности и праве применить оружие. Невежественный и какой-то деревенски отсталый. Случайно разговор сбился на рыбную ловлю и грибы. Обнаружился знаток и страстный любитель, на чем и помирились.

На следующий день эсминец на горизонте, вертолет, пограничники. И в середине дня налет пятерых мужиков, претендующих быть представителями закона в наших ущельях. Но удостоверений не показали и никто не назвал фамилии. Лишь форма на одном из них и агрессивная манера держаться подтверждали их род занятий.

— Вы видите, на мне форма,— говорил мент.— Какого еще удостоверения вам надо?

Начали не с пулеметов, а с общих фраз о праве на отдых и удовольствия. И это звучало навязчиво и неуместно. Потом последовало: «Документы!» — на что я огрызнулся, что не держу их в плавках. Мне было велено сходить за ними. Но, прежде чем я успел найти и вернуться, один из ментов сам забрался ко мне с обыском.

— Показывай свои вещи, может, у тебя оружие.— Не поленился даже в плавки заглянуть: документов не держу, зато вдруг прячу там гранаты?

В это время на пляже происходила другая сцена. Расслабившись на солнце, волосатые не спешили приносить паспорта.

— Макс, ну сходи за ними,— нехотя попросила Лена.

И тут мент взорвался:

— Вы думаете, я приехал смотреть, как вы нежитесь на солнце?! Встать! Встать!

Не спеша поднялись, не спеша принесли документы.

Пока, как рассыпанные грибы, собирали паспорта, мент в рубашке наехал на меня насчет работы, военнообязанности. В ответ я стал дерзить:

— Это праздный интерес или уже допрос?

— Собирайся,— сказал обиженный мент,— надевай штаны.

— Зачем?

— Поедешь с нами.

— Куда?

— В Пицунду.

— Зачем?

— Не важно. Одевайся.

— А я все-таки хочу знать: зачем?

— Я же сказал: не надо задавать вопросы. Одевайся — и все.

— Не поеду, пока не узнаю причину.

— Хорошо. У меня вызывает сомнения фотография в паспорте.

Я переглянулся с Ритой. Считать ли это за достаточный повод или продолжать спектакль?

— А назад привезете?

— Привезем.

Пустой вопрос. Лишь демонстрация призрачной силы: я ставлю условия, они соглашаются. Заодно лишняя ложь на их лживой совести: ведь обманут. Да я и сам доберусь, лишь бы отпустили.

Менты стали переписывать паспорта.

— Значит, вернут,— сказала Рита с облегчением.

В этой стране быть без паспорта — стрем первостатейный. Спецприемник, хайрание, камера с уголовниками. Поэтому за забравшим паспорт ментом бегаешь, как пес на поводке.

— Да пусть забирают,— говорит Егор бесечно.— Тут из Гудауты приехали, забрали паспорта, говорят: явиться к такому-то. А мы не явились. Потом они сами приплыли, вернули паспорта. А мы без паспортов неделю жили. Лейтенант с погранцами приходит: ваши документы! А мы: ступайте у ментов спрашивайте.

Рита глядит с уважением. Это третий народ, врасплох их не застанешь, будто старых зеков. Все к лучшему. Никакого пиетета к документам, так много значащим в жизни. Ну, пока ты тут, многие привычные вещи действительно выглядят иначе.

Я был вызван криком к кучке сидевших в тени деревьев ментов и сподобился душеспасительного разговора, за терпение слушать который я выторговал себе право никуда не ехать. Они посчитали, что я и так достаточно унижен за свой гонор: беседа сопровождалась скверным эхом в виде угрозы получить пятнадцать суток за нарушение паспортного режима. «А как же туризм?» — ловлю я их. Они противоречили себе на каждом шагу, выдвигая все новые доводы, почему должны подвергнуть нас остракизму. В одну кучу мешались и погранзона, и запрещение дикого туризма, и решение гудаутского исполкома. В конце концов, когда въедливый Егор разбил все их доводы, нам по секрету было сообщено: «Вы умные люди, должны понимать, кому вы мешаете...» — И последовал кивок в сторону недостижимого «пятого» ущелья, а также «шестого» — сталинской дачи и правительственного санатория за скалой. Полной насмешкой прозвучал потом упрек в антисанитарии, угрожающей нашим детям и женам, и предупреждение о скрывающемся в пещерах опасном уголовнике, угрожающем нам самим. Мне даже пригрозили изнасилованием (старый довод). Я поймал их на слове, когда они распространялись о своем миролюбии, и выговорил для всех семь-восемь дней без налета. Но после этого — крышка! Если кто-то попадется, легко не отделается.

В тот же вечер, выйдя из моря, Шуруп сказал:

— Другим остается семь дней до конца заключения, а у нас семь дней до конца свободы.

— Это тебе в море пришло в голову? — спросил я с завистью.

Багира принесла хавку, но закопалась на берегу и осталась без еды. Обычное дело, вызвавшее в команде смущение.

— Ну, ты сама, Багира, виновата. Десять человек ждут одну, а ты тусуешься где-то.

Багира в ярости. Весь вечер шипит и ругает волосатых. Но никуда не едет. Куда уж отсюда уедешь?

Коварный налет через два дня вопреки договоренности. Ворвались на стожанку с ранья. За отказ сбросить палатку на Риту и Малыша — и самому себя выпороть ради удовольствия распоявавшегося мента — обещание пятнадцати суток ареста. Ругань, мат, пинки, физические способы устройства действительности на свой солдафонский лад. Солдат стал валить палатку прямо на неуспешного вылезти Малыша. Пытаюсь объясниться с ментом, ссылаясь на договор с его коллегами. Ему глубоко плевать. Он деловит, быстр и даже слушать не хочет.

Нас ведут к катеру на берегу. Там уже человек пятнадцать наших братьев. Сажает в катер. Перед самым отплытием — крик:

— Подождите, я с вами!

Это приехал Макс Столповский. Он подбегает к нам, кричит:

— Нет, я не успел искупаться! — и на глазах изумленных ментов кидается в море прямо в одежде, потом забирается в катер и мы плывем. Все смотрят с интересом на Макса, а он рассказывает. Человек, ночевавший под скалой (это был Андрей Ангарский, накануне поссорившийся с Егором и ушедший из «четвертого»), предупредил его, что будут винтить (озарение, не иначе). И Макс рванул в самое пекло. Такое ощущение, что он за этим и ехал и рад приключению в такой хорошей компании.

Везут по морю в Пицунду. Никогда так быстро и красиво, жаль лишь, что под конвоем и с нерадушными перспективами. Привели в отделение. Здесь обычное скотское обращение: один мент сообщил нам, что таких бы сжигал, а другой — что расстреливал. Станный прием людей, которых впервые видишь. Несмотря на это, мы с Егором взялись активно защищать свои права. За что нас двоих, а еще полного сил и куража Макса, не боровшегося, а издававшего над ментами, на три с половиной часа заперли в карцер. Это ново и нестрашно. Мы все воспринимаем как приключение. В это время маленький Мальш просовывает нам через решетку еду.

— Три с половиной часа ожидания стрижки и сорок пять суток тюрьмы — вместо отпуска, — сообщаю я друзьям с веселым изумлением.

Потом повезли на суд в Гагры и заперли в заброшенном здании — в бывшей комнате для судебных заседаний с горой старых дел до потолка, на которой мы легкомысленно лежим. На этих надгробиях человеческих судеб. Мы делаем смехотворные шоу и фотографируемся под гербом, машем, как флагом, шваброй с тряпкой, читаем дела и угораем. Наконец под присмотром охранников по очереди нас стали водить на долгожданный «суд»: в другую комнату с судьей в единственном числе, распоряжающимся нашей жизнью и свободой, как он сам выразился. Ментовские обещания наркодиспансера и проверки веняков оказались туфтой. За исключением того, что туда направили наших друзей — на наши поиски. Вместо этого — суд, ничем не кончившийся, потому что милицию почему-то не удовлетворил. Нагнавший страху судья лишь слушал, не пытаясь возражать и опровергать мои доводы, тем более когда я стал рассказывать про скидываемую на ребенка палатку. Так он меня и отпустил, обещав вынести решение позже. Это позже не наступило по сей день (считать ли, что я с тех пор хожу под судом?).

Итак, без документов, без крыши, в чужом городе, ничего не евши до пяти дня — мы идем на городской пляж. Читаем украденные дела, написанные безграмотно, со смехотворной пунктуальностью и нелепыми фактами. В приморском кафе добрая раздатчица, пораженная нами, продает нам после закрытия вкуснейшие лавашки. Поев, пошли гулять по прекрасному приморскому парку. Здесь на свободе ходят настоящие дрофы и фазаны. И мы, такие же экзотические и чужеродные, ходим мимо них, привлекая внимание прохожих. А как нам было хорошо в «четвертом» ущелье! Будто мы просили кого-то нас оттуда забирать.

Снова — теперь уже на ночном пляже. Решение переночевать на берегу пресекают менты. А проблема, где найти, стоит, усложняемая нашей численностью. Гуляя по ночному городу, строим разные планы: от наглого вписывания в гостиницу до установки палатки в центре большой городской клумбы. Садимся в автобус, чтобы уехать куда-нибудь на окраину, где темнее и безлюднее.

В автобусе к нам обращается подвыпившая местная тетка: кто да откуда? Вкратце рассказываем историю: теперь без паспортов, с детьми, ночью... Вдруг тетка предлагает идти к ней: у нее дом на берегу моря и при нем большой сад, где мы можем поставить палатки. Ее не смущает даже то, что нас четырнадцать человек и что на ее остановке вышло пол-автобуса.

Пьем чай в ее саду и рассказываем друг другу жизнь. Она местная учительница, ненавидит абхазов и их детей, один из которых пробил ей в прошлом году голову камнем. Тоскует по России и русским. Впрочем, она слегка навеселе.купаемся нагишом в флюоресцирующем море, начинающемся прямо за ее са-

дом. Потом ставим палатки. Доброте хозяйки нет предела: Риту с Малышом и Багиру она помещает у себя в доме.

Багира завоевала ее сердце странным образом — без спроса залезла в шкаф и надела платье ее дочери. И как ни в чем не бывало вышла в нем тусоваться. Хозяйка изумилась, а мы накинулись на Багиру:

— Багира, ты совсем офигела?! Кто тебе разрешил? А ну повесь на место!

Багира хлопает глазами, почти расплакалась. Хозяйка вдруг стала ее защищать:

— Леночка, ты, наверное, хотела быть красивой? Не надо, не снимай. — И оставила ночевать в доме...

Утром она встает хмурая, смотрит на нас обалдело, но не прогоняет, как мы рассчитывали, а пока разрешает остаться — до урегулирования наших дел. Рите и Малышу она даже предлагает не таскаться с нами, а остаться в доме. Рита отказалась.

К утру у нас еще никакого плана. Надо ехать в Пицунду, но начать возвращение туда мы почему-то решили с посещения гагрского городского пляжа, благо уже до него добрались. Чудесное море и новое знакомство с абхазским гостеприимством. На пляже разгорелся скандал: я стал по привычке переодеваться в открытую, без кабинки. Нас окружила толпа: местные мужики готовы убить нас за оскорбление своих детей, которым абсолютно не начхать. Они и сами бегают голыми. Женщины и пенсионеры предлагали «гуманную» альтернативу — милицию. Иметь дело с гагрской милицией после пицундской хотелось еще меньше, чем драки. В конце концов мы, как всегда, всех убедили и примирили (с собой). Во всяком случае, ушли целыми. Вообще ругань и сразу за ножи — кажется, абхазский способ приветствия.

Ухожу с пляжа. Магнолии, пальмы, перспектива возвращаться за документами. Возможно, снова суд и тюрьма. Остается в силе и обещание постричь. Но вокруг: лукавые хиппи и сумасшедшая Багира.

И здесь нас посещает неожиданная идея. Пицундскую предопределенность мы меняем на свою свободу воли.

Изрядно проплутав, мы оказались у городской «прокуратуры». Самое странное, прокурор был на месте и принял нас. Живой, толстый и добродушный, скорее грузин, чем абхаз, скучавший в своем пустом жарком кабинете с распахнутым окном, он набросился на нас, как на деликатес. По неизменной местной привычке всечасно перебивая и сбивая, выслушал нас. Некоторых людей я видел в этом качестве — умных и спокойных адвокатов самих себя — впервые, и они мне понравились. Особенно Честный, которого я знал в ущелье исключительно по смешным рассказам об армии и комбизире. Он сидел перед прокурором города и спокойно, уверенно, очень аргументированно излагал суть дела. Мы в меру сил ему помогали. Прокурор был покорен нашей численностью, нашим видом, нашим напором. Тем, что мы были в основном москвичи, и тем, что с нами были женщины и дети. Он схватил телефон и разрезал целый бурей слов своего смешного синтетического языка, где бесспорно понятно прозвучали: *наркомания, палатка, американцы*. Все три определения, видимо, относились к нам. Окончание речи было произнесено обнадеживающе по-русски.

— Не трогайте этих ребят. Я ухожу в отпуск и не хочу никаких больше жалоб.

После разговора он стал еще более сахарен, утишая былые обиды удовлетворяющими нас эпитетами «идиоты» и «идиотизм» в адрес своих правоохранительных коллег. Из обвиняемых мы превратились в свидетелей, ибо все грубоности происходили на многих глазах, и четырнадцать человек это подтверждало. Он даже признался, что, не будь у нас «такого численного превосходства», начатое против нас милицией дело могло бы принять худший оборот. Он явно нам симпатизировал, называя людьми удивительными, никогда не виданными и симпатичными, несмотря на то, что и этих симпатичных людей он не смог не прозондировать на предмет трудовой занятости (впрочем, выяснилось, что все работают — сторожами, истопниками и т. д. — или учатся).

Был он и в других отношениях человек не однозначный. На несгораемом шкафу он держал гравюру Сталина и бюстик еще какого-то идола. На стене висел обязательный Горбачев. Под ним столь же обязательная для правоговерного

грузина футбольная таблица мирового чемпионата на местном языке, ведущаяся и заполняющаяся. На его столе стояла подставка под ручки с выгравированным на ней золотом подарочным автографом верховного прокурора СССР.

Тем не менее ушли мы обнадеженные, подкрепленные обещанием помочь нам вернуть документы, хотя без права возвращаться жить в Пицунду. Потом выяснилось, что и Гагры нас терпеть не собираются.

Выпив много чаю с хлебом и подобрав остатки с чужих столов, боевая группа тронулась на автобусную остановку в сторону Пицунды. И уже при отправлении потеряла Макса Столповского и Багиру, задержанных контролерами. Эти двое уже ходят всюду парой. Парой и погорели. (Багира наконец нашла настолько безумного человека, чтобы прельститься ею. Они друг друга стоят.)

Пицундские менты нас как будто не ждали. Попытавшись по-вчерашнему, они встретили наш решительный отпор и завели пустой и idiotский разговор, напоминаящий все те, что мы вели неоднократно в ущелье, — с туристами, их инструктором, ментами. Возможно, они решили, что мы важные шишки и имеем протекцию.

Каждый из нас, испытывая сатисфакцию, пользовался случаем поучить ближнего и что-то добавлял к разговору:

— Вы бы не арестовывали, а приехали бы к нам на чаек, поговорили бы, тогда бы узнали, что к чему. А то так грубо...

— Мы же сберкассы не штурмуем, ничего не ворует. Вы бы занимались своими «приличными людьми» при галстуках, которые в Москве помидорами торгуют.

«Козел» и «постричь» сменилось на это безалаберное лясочение с праздными милиционерами, которые в конце концов перешли на сепаратный и гораздо более им близкий разговор о футболе.

Оказывается, нас держали здесь до прибытия начальника заставы, русского и, само собой, майора. Он не был груб, но не поддержал реноме, созданное ментами о его заставе, якобы демократичной.

Потом ждали спецавтобус и бегали за письмами и переводами. Он нас в этот автобус погрузил — и погрозил, приказав шоферу вывезти нас не только из Пицунды, но и из республики вообще. Домчать до самого аэропорта Адлер, а там как хотим.

И до самых Гагр нас конвоировал газик погранзаставы — делать им было больше нечего! У домика нашей благодетельницы мы велели шоферу остановиться, якобы забрать вещи, и здесь, сплотившись и окопавшись, выдержали генеральное сражение. Мы пустили в ход и прокурора, и права человека, дарованные конституцией, и «снимаемый» дом (цивильную привязку), и обещание скоро уехать. Идя нам навстречу, пограничники выдвинули унизительные контр-требования: чтобы мы определили срок отъезда, а потом каждый день ходили регистрироваться на погранзаставу. Мы встретили это гулом удивления и возмущения. Но в целом атмосфера была мирная, и после подтверждения хозяйкой ее доброй воли на наше проживание погранцы наконец убралась.

Через час они снова пришли и повторили для забывчивых свои требования (вероятно, хотели проверить, здесь ли мы еще, не растворились ли в воздухе).

Рано утром еще раз пришел офицер, молчаливый и покладистый. И мы успокоились. А через несколько часов подкатил разъяренный полис на машине в сопровождении двух женщин официального вида и еще одной, вероятно, ментовки в штатском. Обзывая нас чем ни попадя, он ворвался в дом и поднял пинками спавших там. Задержанный во дворе, он упустил хозяйку, сбежавшую от него через заднюю калитку. Он долго разорялся: на нас, на хозяйку, незаконно впустившую нас к себе, отобрал половину паспортов. Другая половина отдать паспорта отказалась и затеяла бесконечную дискуссию, где мелькали и Берия, и прокурор, и милиция, и внешний вид, перемежаемые угрозами, требованиями и оскорблениями с обеих сторон. Морально он был все же забит: отняв паспорта, он сам мешал нам уехать. Решив покончить с этим, он вернул паспорта — на два с половиной часа, пообещав приехать к этому времени и арестовать неуехавших. Мы, конечно, могли испариться в любую сторону, но чаша терпения была переполнена. И мы с проклятиями покинули город в тот же день.

На прощание еще раз услышали угрозы: если когда-нибудь наша нога ступит здесь, каталажка и стрижка — лишь малое и первое, что ожидает ее обладателя. Мент высказывает это витиевато в сторону младшего чина — таким образом обращаясь к нам, сидящим напротив, без паспортов, между небом и землей.

И все же жалко было покидать проклятый прекрасный город с чудесным дендропарком, единственной улицей Руставели вдоль всего города, прижатого к морю, — не Ленина, не Сталина, не Советской, с кипарисами, мороженым и лавашами, с удивительной хозяйкой и домом с ореховым садом, где ночевала тусовка.

Сочи: архитектурный стиль — сарай с трансептом и периптером. Здесь мы разделились: я с Ритой и Малышом поехал к знакомой Марье Андреевне, у которой проводил чуть ли не каждое детское лето. Но здесь нас тоже не ждали: натянутые вымученные разговоры, испуганные взгляды. Преданнейшая нашему семейству Марья Андреевна откровенно объясняет, как неудобно было бы нас принять. Я говорю:

— Вы посмотрите, ребенок болен!

— Ну а я тут при чем? Хорошо, только на одну ночь...

Мы развернулись и ушли. Сочи, мой детский миф, был выдрян из сердца с кровью.

Делать нечего, поехали на вокзал. Здесь, путаясь среди откровенных взглядов и реплик местных толстых кавказцев, я посадил Риту и Малыша в московский поезд. Рита от обиды в слезах, просит не бросать. Но я почувствовал, что из-за насильственно прерванного путешествия не добрал впечатлений. А Закавказье так близко, и был страшный соблазн его покорить...

Для ускорения дела сам поехал поездом в противоположную сторону, не эзжая в Батуми, где меня встретили бы не так, как в Сочи. Впрочем, кто знает?

Тбилиси: те же самые южные дома с застекленными верандами вместо балконов, создающие хаос и чувство стихийно образовавшегося муравейника или цыганского табора.

Улица Леселидзе — главная магистраль с давних лет (от пл. Ленина). На первый взгляд поражает обилие аптек и магазинов с одеждой. Если хочешь современно одеться, обставить квартиру и подлечиться — приезжай в Тбилиси.

Но сюда можно ездить и за иным. Это удивительный по архитектуре город, где вкус виден даже в самых ординарных постройках. Плюс специфический стиль. Плюс специфический климат. История и природа создали этот южный город, до сих пор пощаженный в своей уникальной средневековой хаотичности, со скрытыми от глаз внутренними дорогами-лестницами, лоджиями, галереями, балконами, на мостовые под которыми «никогда не падает дождь».

Запомнились культурность и добросердечие грузин, особенно грузинских юношей из кафе-столовой на площади идиота, где я взял двойную порцию макарон и кусок лаваша и отказался от кофе и других дорогих излишеств — в отсутствие дешевых. Эти двое юношей, за прилавком и кассой, отказались — не иначе как в компенсацию за гастрономические страдания — взять с меня деньги. Всего-то, наверно, вышло копеек пятнадцать, но я долго не понимал, чего они хотят, и наконец сердечно их поблагодарив — не за мою выгоду, а за душевный порыв, — сел наворачивать эту очень щедрую гору вермишели, к тому же с луком, читая одновременно купленного только что Тютчева (что тоже было радостно и удивительно).

Теперь у меня есть силы плотнее изучить город.

Сиони — кафедральный собор, возведен в V веке, перестроен в XIII.

Метехи — построен при царе Димитрии Самопожертвователе в 1278—1289 годах на месте древней церкви, погибшей при монгольском нашествии. Рядом — дворец грузинских царей. В 1746-м царь Ираклий II с боем захватил Метехскую крепость, находившуюся в руках то персов, то турок. И, видимо, восстановил право владения Тбилиси.

Церковь Эчмиадзин св. Георгия.

Норашени, заложена в 1793 году.

Джварис Мама, XVI век.

Единственная за весь день неприятность: столкновение с местным полисом. Опять изловили, молодцы, матюгаются, допрашивают, требуют какого-то «отпускного свидетельства». Я помню батумских полисов 82-го года и их неж-

ное сокрушение: «Будь я в штатском — трахнул бы...» — и ничего хорошего не жду. Здесь у меня нет никого, кто бы меня отмазал. Но держусь спокойно, зная их переменчивый и в общем-то пофигистский нрав. Разозлились, но отпустили (хотя пожелание «не обижаться» одного из полисов, наименее участвовавшего в операции, существенно скрасило картину).

Егор дал мне телефоны в Тбилиси — неких Гоги и Джорджи, но я ими не воспользовался и в то же вечер отправился ночным поездом в Ереван.

Вы заняты трудом, а я — умиротворением тех страшных сил, которые ваш безумный труд породил, которые родились из противоречия между красотой мира, человеческой свободой — и вашей бедной, изнасилованной жизнью. Я оправдываю жизнь и мир хорошим к ним отношением, но вы называете меня эгоистом и тунеядцем, лишаясь последнего, кто способен восхищаться — и защищать мир и счастье жить!

Как раз подвернулось под руку тютчевское: «...Пускай служить он не умеет, боготворить умеет он».

Потрясающая новизна и красота здешнего мира — этих горных пространств Армении, привратников священного Арарата. Такую красоту я не видел нигде — только на картинах Рериха. Не видел даже на Алтае, где он их писал. Может быть, тогда я не забрался так высоко, как было нужно. Сейчас это было видно даже из поезда. Оглушительное голубое небо вершин, непереносимое солнце, а я всегда был солнцепоклонником! И в один тон с этой голубизной — мягко зеленеющие, чернеющие, голубеющие горы. Очень чистые, бездревесные пейзажи, обрывающиеся этими глубокими, бархатными силуэтами, ничуть не страшными, а как бы уводящими тебя в небо, подчеркивающими небо, как самые знатные приближенные его.

Тут все наполнено архаикой и священным духом. Священные могильники камней, лежащие по предгорьям. Сами горы, будто придуманные в мастерской богов и обдутые космическими ветрами, священные уже тем, что завершают вертикаль земли, ее возможный богоборческий порыв, и выше их, на них ничего не может подняться и осквернить...

Вопреки горячему желанию, вопреки величественным пейзажам Ереван оказался совсем не *то*. Даже не то, что Тбилиси.

Прямо от вокзала резала глаз грубая примизная шоссе и бездуховная торжественность и громоздкость сталинской архитектуры. Город оказался вторичным, уничтоженным и воскресшим в тяжелом сталинском граните, стилизованном под что-то местное, но скорее как памятник невоскресшего былого, чем что-нибудь приятное для жизни. Но это было все же лучше, чем какой-нибудь Печерск или Новопечерск, где осуществлен тот же глобальный градостроительный эксперимент, но в хрущевском исполнении. Это был все-таки культурный Восток, остаток духа великого народа с тысячелетними мировыми связями, которые помогли и Тбилиси, и Еревану преодолеть кое в чем даже совдеп.

Если в Тбилиси было много аптек, то здесь было много цветочных магазинов. Прочих магазинов здесь было меньше, но с кафеюшниками и продуктовыми магазинами здесь так же хорошо. Повсюду можно было посидеть, попить кофе, съесть мороженое и даже послушать какой-нибудь популярный *там* (и уже здесь) *break dance*. Но столовых, где можно было бы дешево поесть, здесь не было вовсе. Можно попить сок, даже молоко, съесть одно (или два) из бесчисленных кондитерских изделий, дорогих, но разнообразных и повсеместных. Как-то мне удалось все же позавтракать, бедно по ассортименту (я взял лишь рис) и в отличие от Тбилиси довольно дорого по деньгам. Но, самое главное, люди были весьма приветливы, и в автобусе оба раза не взяли с меня деньги за талончик. Правда, прямо на вокзале какая-то русская женщина добрые двадцать минут поносила меня на чем свет: за нищий вид, за дурное влияние на детей и за убогость мыслей, — приводила в пример Чехова и получила от меня «Мою жизнь», после чего вернула тему, призывая на мою голову нетерпимость общества, которое отнюдь ее не поддерживало. Потом какая-то армянка бесстыдно до феноменальности сунула деньги в кассу впереди меня, оправдываясь, что я русский, а она армянка (что невозможно было опровергнуть). Выглядела

она с точки зрения недавней пуританки вполне прилично. Не знаю, как с точки зрения примера детям.

Больше меня никто не оскорблял — как оскорбляли в Сочи. И, конечно, это была не Абхазия. В Ереване в отличие от Тбилиси весьма много книжных магазинов, но купить что-то стоящее я смог только в музее Матенадаран, где старинные памятники письменности хранятся, а современные — продаются при входе.

Армянский алфавит создан в 405 году Месропом Маштоцем. Древнейшая армянская рукопись — Лазаревское евангелие 887 года.

Сравнительно много для совдепа было и художественных салонов с неплохими интерьерами. Но в целом город был обезличен и некрасив, и я уехал в тот же день не удовлетворенный архитектурой, но весьма довольный тем, что узнал о жизни в центре армянской земли.

Приключения никогда не кончаются! Ехал, ехал в Баку — с любопытными неплохими людьми, с патриотическим восторгом рассказывавшими мне об Арарате-Масисе, мимо которого мы как раз проезжали. Они переживали, что его чуть-чуть закрывают облака и он не виден во всем великолепии. Они просили спрашивать, и я спрашивал: о высоте (более пяти километров, с постоянным прибавлением истории Ноя) и о территориальной принадлежности (ткнул в большое: хоть полусвободное, но их государство было здесь. А там — холокост 12-го года). Тщетно пытался разглядеть красный виноград.

— Красива? — спрашивают меня.

— Красива, вот только вторая вершина чуть портит очертание.

— Это Алягас. Ты не прав, нет, не прав.

Был среди них ереванский технолог-книголюб. Он долго распространялся о своей любви к книге («тоже» — потому что передо мной лежало три, которые он без стеснения пересмотрел), поговорили об истории, которую он особенно любил. Я пошел нагромождать факты: Платон, Фрезер, Библия... (Остальные с сокрушением: «А мы почти не читаем...») Потом пошла граница, близко, можно рукой дотянуться (первая граница в моей жизни): три ряда колючки с нашей стороны и ни одного с *их*. Небезызвестная Арагва — место, где все проволоки и рубежи скопчались в кучу у самого поезда, а до Ирана было пятнадцать метров воды. Я видел людей и машину на том берегу, обычную гражданскую машину. Вообще оборонительный момент с той стороны был выражен очень слабо — лишь несколько отдаленных вышек и совсем у границы — аул, в котором уже зажигались огни. Мои проводники по этому краю говорили, что местные жители, стоя вдоль реки, переговариваются друг с другом. Стреляют только с нашей стороны. И даже не стреляют, как было подчеркнуто, а убивают. С их же стороны не стреляют никогда. (Книжник родился здесь и с детства ходил на границу. Он же ругал меня, что я так плохо изучил местность и ереванские достопримечательности... Плохо изучил: я их просто не нашел!) Потом мы пили: они чай, я — кофе, которым меня угостил какой-то азербайджанец, купивший его в поезде и угощавший весь вагон.

И так я ехал, ехал, мирно беседуя, через араратскую долину, где «всегда неизменный климат», в Баку — и не доехал...

Они ворвались неожиданно, с автоматами со сложенными ручками, с кобурами и сумками на боку, в тактически грязной амуниции, при офицере, и встали на каждой площадке по двое, и на каждой станции проверяли всех выходящих, задерживая тех, кто не имел пропуска в пограничную зону. До этого я уже видел пограничников на платформе, но не придавал значения.

С оружием, в форме — они стали проверять паспорта у всего вагона. Но взяв мой — забыли про всех остальных.

Вместе с офицером они судили и рядили над моим паспортом, придирались и выпрашивали. И отдали с подозрительной неохотой. Потом я о них забыл, глядя на чарующие столбики, — и напрасно. Эти столбики стояли метра через два и были почти столько же в высоту. И под током, как объяснили мне «старожилы». Проволока действительно была прицеплена очень плотно, на первой линии даже намотана клубками во все стороны. Потом нас ослепили прожектором, стрелявшим с вышки метрах в двухстах. Он шандарахал по поезду прямыми попаданиями все время, пока тот шел мимо.

Я сходил за вторым чаем и бравший взятки проводник-азербайджанец, обещавший отличное обслуживание, не очень проворно мне его дал. И я уже его допивал и достал сырок с куском лаваша, когда пограничники появились вновь, пожелали приятного аппетита и поинтересовались, когда я кончу, чтобы пройти с ними. «Тогда вам придется подождать», — сказал я. Они отошли в тамбур, и я выполнил, что наметил.

Потом был обыск в купе проводника. Отобрали документы, приказали высаживаться из поезда. Теперь я встретил откровенное сочувствие: мои соседи советовали мне не нести рюкзак, пускай сами несут. Какие-то две девушки советовали вообще не ходить: мол, за что? — они не имеют права! Они доходили до откровенного бунта, хотя одна признала, что против СССР ничего не имеет. Они даже отправились применять чисто женские методы, не возымевшие, однако, действия. В конце концов, когда меня уже высаживали из поезда, одна из них моей ручкой написала мне свой бакинский телефон и потребовала обязательно позвонить, когда бы я ни приехал.

Мой рюкзак, и правда, взяли и несли за мной отдельно. Я нес только сумку с продуктами. Платформа пуста, лишь группки вооруженных пограничников. Меня подвели к одной из них: оказалось, что задержал и обыскал меня старший всего этого атакующего отряда.

Это была Нахичевань, знакомиться с которой, при всем своем стопном уга-ре, я не мечтал ни сном ни духом.

До отхода поезда я служил развлечением солдатам, со все теми же: откуда, кто, почему, зачем волосы, какой веры и чья фотография в паспорте («Твоя девушка?»)? Выяснилось, что один из них до армии носил «почти такие же», что, видимо, должно было сыграть мне на руку. Но с отправлением поезда, когда они все снова разместились по площадкам, меня посадили в кузов военного грузовика («Без комфорта, но что ж делать...») и минут двадцать везли в часть. Мы сидели втроем на доске, высоко подпрыгивая на ухабах.

По приезде меня впахнули в темную комнату при КПП («Нет света», — объяснил сопровождающий), в которой я просидел несколько часов, ожидая некоего лица, который компетентно займется мною. Дверь оставалась приоткрытой, и я слышал их анекдоты, своим смыслом совсем не подходившие к «важности» места и роли этих людей.

Они все играли в какую-то игру: чеканили шаг при разводах, отдавали рапорты старшему по чину: серьезно, путано, в положении «смирно», с рукой у козырька. В половине двенадцатого почему-то заиграл, завыл гимн, и они все, востепенувшись, вскочили, весь гимн простояв навьютяжку, снова с «честью» у козырька. Кажется, так делала вся часть, даже спящие и сидящие в сортире. Потом продолжили анекдоты.

Я сидел, жевал конфету, думал и радовался. Это был прикол, я же радуюсь всякому приколу. Да, нынче прекрасно «клюет»! И хоть клевало на меня — в выигрыше был я.

Но пришедший наконец штатский, который одновременно был лейтенантом, решил вести дело всерьез. Он явно мне не верил, и ему с самого начала все было ясно: и почему я так мало пробыл в Ереване, и почему поехал этой дорогой, а не стопом — через Севан (иначе зачем спальник и фонарь?), словно истый защитник *идеи*. (И как ему было объяснить, что на поезде потому и поехал, чтобы побыстрее вернуться к жене, бессердечно брошенной мною на платформе города Сочи?) Начал он с психологического допроса меня, потом моего багажа («Что там лежит?.. Нет, не вынимайте, сами скажите... А теперь вынимайте... А что это?.. А зачем это?»). Потом уходил, проверял, видимо, по коммутатору агентурные данные. Потом обыскал сам, пролистал записи, попросив прочесть самый критический, как назло, кусок. Чуть-чуть прочел, дальше отказался, объясняя отказ личными мотивами творчества. Он не настаивал. Но что все они, козлы, хотели знать: женат ли, почему без жены, где работаю, с какого до какого отпуск (и почему так много — мой лейтенант оказался даже неплохим знатоком Москвы) — и требовал снова (как в Тбилиси) какого-то мифического отпускного свидетельства. Я посоветовал, как знатоку Москвы, не разыгрывать передо мной комедию, а про себя добавил: «...и выдавать за факт — мечту».

Стал изучать мои пометки в Цицероне: «А что вы здесь отметили?.. А что вы хотели сказать этой отметкой?..» «По-моему, все там сказано ясно». Я первый раз злился на свою откровенность и пренебрежение всеми правилами конспирации, отчего для умного человека все мое антисоветское нутро было открытой книгой. Слава Богу, мой лейтенант не принадлежал к их числу. К тому же его могло сбить с толку то, что Цицерон в моих отметках не только ругал тиранию, но и отрицал богов.

— Ну, я же знаю, и ты знаешь, зачем ты сюда ехал. Зачем тебе в поезде и спальник, и фонарь, и карта (мой стопник — «Атлас автомобильных дорог»). Лучше соznайся, чего ваньку валять...

— Вы говорите полную ерунду, мне даже спорить с вами смешно. Вы слышали про такую вещь: презумпция невиновности? А у вас действует, я вижу, презумпция виновности.

— Да у меня доказательств против тебя хоть отбавляй! Ты без разрешения въехал в погранзону, уже это одно!

— Я не выбираю маршрут поезда. Это он въехал. И никто на вокзале в Ереване меня не предупреждал и этого разрешения не требовал. И ни у кого не требуют, вы отлично это знаете. К чему вся эта игра? — Не на того напал, я на ментах пуд соли съел.

В конце концов он позвонил домой моим родителям в Москву, поднял небось с постели...

Вернулся, тон изменился.

— Ладно, утром мы тебя посадим на поезд и поедешь дальше...

Увы, он выполнил свое обещание лишь отчасти. Утром на том же грузовике меня отвезли на вокзал и действительно посадили (без билета) на поезд, но не в Баку, а обратно в Ереван. Причем сдали пограничному конвою, который сообщил любопытным, что с задержанным разговаривать запрещено. Пограничники сошли в том месте, где кончалась погранзона, отдав мой паспорт проводнику, чтобы тот по прибытии в Ереван сдал меня на вокзале ментам.

Я ехал и злился: не люблю повторений и возвращений, а главное, новой потери времени. Путешествие стоило признать неудачным. И правильно, я ничего другого и не заслужил: не надо было бросать Риту.

Лежа в тоске на бесплатной, но постылой полке, даже без матраца, стал сочинять стихотворение, которое назвал «Под конвоем»:

Что ты можешь мне дать
На этой земле,
Что как раз можно взять,
Не замаравшись в дерьме?..

И так далее. За этой деятельностью успокоился. Оправдан всякий опыт, дающий стихи, даже скверные. К тому же, когда подъезжали к Еревану, проводник вернул мне паспорт:

— На, не хочу я с ними связываться. Только не попадайся им больше, такие суки...

Что же, поеду стопом через Севан, как, видимо, и следует мне по моей дорожной карме.

Я доехал до Севана на легковушке с милыми армянскими парнем и девушкой под срывающуюся музыку.

На берегу Севана прямо рядом с трассой армянский храм, который я зарисовал. Под ним какой-то местный дурак-экскурсовод вещал группе зевак о рыбе сиге и профессоре Мечникове, поднятии уровня Севана и прочей ерунде. При чем тут сиг?

Пошел на берег искупаться. Но, сколько ни шел, не мог найти глубины. Поднятие уровня Севана, видно, все-таки было относительным. Зато, несмотря на малую глубину и средне-жаркое солнце, вода в озере была ледяная. Я уже отвык от такой.

Севан — малюсенький недостроенный городок с обычной комедией любопытства местных людей. Здесь я неосторожно сел перекусить на какую-то ступеньку с растаявшим мазутом и измазал штаны. Коеими запачкал сиденье следу-

ющему водителю (опять частнику), который любезно увез меня прочь от Севана. Я честно ему в этом признался и извинился. Обломал человека.

Потом на грузовике — до пересечения трех дорог на пересечении трех границ: армянской, грузинской и азербайджанской. Трасса петляет в ущелье изумительных лесистых гор, а по обочине стоят люди с полными тазами грибов. Я был даже признателен пограничникам, что они вынудили меня на это посмотреть. Машина с добродушным грузином шла обратно в Тбилиси. Я усилием воли свернул себя на бакинскую трассу.

Всюду встречаешь учителей и поражаешься, насколько сходны мысли учительствующего водителя и кандидата филологических наук.

— А зачем ты путешествуешь? Какой толк в этих путешествиях? Есть от этого какая-нибудь польза для других, вот мне будет какая-нибудь польза?

— Нет, вам не будет.

Чувствуется та же самая закалка. Лишь у водителя откровеннее проявляется главная мысль: всюду искать материальную пользу, приносить которую вменяется в обязанность другим людям. Польза, приносимая обществу, — это их критерий ценности, их разменная монета. Но нет *общего человека*, поэтому человек должен всегда бунтовать против обобщений и статистики, выговаривая себе право лучше знать о своем настоящем, как государство мнит, что лучше знает о потребностях экономики.

Живя в Москве, я всегда бывал шокирован видом бедных самоубийц, совершающих свой ежедневный намаз, рядами и колоннами в отвратительной спешке устремляющихся к местам стоянок своих галер, где они вырабатывают то, чем не могут пользоваться, где они трудятся, чтобы не иметь, где они загромождают все пространство свободы, необходимой для того, чтобы в жизни был какой-то толк.

Впрочем, не все так грустно на трассе. Под Кировобадом попался словоохотливый правдорец-армянин из Азербайджана. Он отъехал уже далеко от меня и все же вернулся и предложил подвезти.

— Я гуманный человек, — объяснил он.

Сразу представился:

— Фронтя.

Он родился, когда началась война. Но патриотизма от родителей не унаследовал: почти сразу он назвал наше государство дурацким. Дурацкость, впрочем, заключалась в том, что всех кормим, а у самих ничего нет. Я объяснил, что кормим в целях стратегических, отвоевывая плацдарм у Запада. Он ответил, что он парень грамотный и все понимает. Поговорили об агрессии советских войск в Афганистане. Его антипатии странно совмещались с воинственными патриотическими ухватами типа: захватить не один Афганистан, но и Иран в придачу, ничего им (Западу) не оставить. Плевать он хотел на Запад.

Поговорили о Чернобыле. Две тысячи погибших, если верить голосам. Рассказал о жившем там друге, который, не будучи, как и все, предупрежденным, после смены стал стирать пыль с машины — и получил крутое количество рентген. Теперь не чувствует ног, выпали волосы, лежит в госпитале в Москве вместе со многими другими. Мой шеф ездил к нему.

Прошелся о нравах в Азербайджане: пять тысяч за поступление в медицинский техникум, 25 — за мединститут. А откуда взять? Вообще на что жить, получая 180—200 рублей? Вот и ездят халтурить в другой город, тратя десятку на бензин. Зато получает пятьсот — восемьсот, а иногда и тысячу. Он строитель. Раньше всегда хотел быть честным, а потом понял, что честным не прожить. Рассказывает о методах, которыми пользуются здешние хозяйственники, уврачиваясь от директив сверху. От них требуют поставок хлопка, который здесь не растет, но есть в плане, и никто не смеет спорить. Поэтому местный председатель совхоза, участник каких-то съездов, пламенный строитель коммунизма, стал меняться с другими районами на шерсть. За это и сняли. Зато в его рапортах по урожаю этого самого хлопка совхоз обгонял даже Среднюю Азию. Рассказал о майоре милиции, вымогавшем деньги. Мой шофер помог этого майора разоблачить (тот давал десять тысяч за попавшегося сына и сокрытие своих тайных махинаций).

Рассказывает о миллионерах, о том, что в области восемьдесят процентов — богачи: самое большое по Союзу благосостояние, машины, отдельные дома, собственный скот, частные поставки. Зато масло стоит семь-восемь рублей, мясо — десять. Он на обед тратит три рубля. А сколько на ужин? А дочери, а сыну? Учителя в школе ни одну оценку не ставят без взятки.

— Дочь у меня из восемнадцатого века — безответная. — В голосе к безответной любовь.

От него первого я услышал, что здесь, в Азербайджане, армян не выносят. Это развенчивало миф о пресловутой дружбе советских народов. Да что там «дружба»! — перережут, как нечего делать, они же варвары!

И еще мой армянин ратует за частный сектор, за свободную покупку материалов (а то сразу — воровство, суд, он только что что-то там купил у частника, то бишь слева). Тридцать пять лет работал — купил машину. Ни дня она не простаивает. Ничего, ездит. Соседи смеются: поменяй. А на какие деньги? Может быть, вы дадите? Говорит о богатых соседях, мнение которых слушает вся улица, даже о футболе. И о том, как дал по морде прорабу, который не так закрыл наряд. И о прекращении обучения на русском языке в технических вузах в республиках. «А нам в свое время говорили: учите русский язык, это такой прекрасный язык!..»

Довез меня по объездной до трассы аж за Евлох — действительно гуманист. Извинился, если что не так.

Все азербайджанцы ужасно любопытны. За удовлетворение любопытства готовы поить и кормить. В первой же азербайджанской чайной закидали вопросами. Все здесь помешаны на чае вприкуску. Пью его бесплатно за короткий рассказ о себе. И так везде: в Дагестане, в Чечено-Ингушетии. В Осетии бесплатный обед в столовой лишь за роспись в книге благодарностей: человек из Москвы, к тому же такой прикольной.

Местный старик-нравочитель рассказал о русском старике своей молодости, рыболове и отшельнике, посещавшем лишь местный винзавод, где ему бесплатно наливали канистру вина (как здесь принято). Он жил один на озере, богатом рыбой, и ни с кем не встречался. Это как бы аналог моему случаю. Но молодые не только любопытствуют, но и ищут пользы от знакомства: какого-нибудь подарка или организации бизнеса с Москвой — они чай, я оттуда — джинсы. Отказываюсь. Тогда обычная брехня про баб.

Потом ночевка в поле, на площадке под придорожной насыпью рядом с трубой, по которой течет ручей. Я уже привык так: один, под открытым небом, как последний бродяга.

...Я проснулся рано утром после неплохого сна, свернул спальник, вымыл лицо в ручье, съел плавленый сырок. Потом поднялся на дорогу и поднял руку — как всегда, не очень высоко, с толикой высокомерия и независимости.

Дальше — длинный вояж на переполненном частнике до Баку. Жаркая долгая пустыня. Где-то за Шемахой первый раз видел *миражи*. Жалкая колючая трава по склонам гор, напоминающая разбрызг из аэрографа. Какие-то насекомовидные сооружения в море — вроде водяных пауков. Вышки, море вышек — страшный, уродливый лес. Такие же заводы — грязные, закопченные, покрытые серой пылью. Довезли до Баку. Похоже, владельцы машины хотели бабок (заметное охлаждение при посадке, разговор о такси). Жара, опять сталинское влияние в кирпиче и камне, книги («Песни о Гильоме Оранжевом», бери, если не тяжело), глумливый смех за спиной, старинный район с мечетями и медресе, минаретами, баней, караван-сараем, в котором ныне ресторан. Некоторым постройкам, вроде Девичьей башни, почти тысяча лет. Крепость, старый город (напоминает Тбилиси). На стенах вывески и реклама: Restaurant, Bank, Hotel Ambassador, etc. Вроде кино. Спросил о сей притче продавщицу из магазина. Она ничего не знает. Смотрит на меня: «Вы сами из фильма?»

Я вышел на улицу, забавляясь нелепой репликой. Если я актер, то в каком кино? В таком случае для меня, как для настоящего кшатрия, кино и должно быть моей реальностью. И сейчас самое важное — понять, в каком фильме я снимаюсь.

Съемочная группа хорошо замаскировалась. Нигде не было видно никаких следов. Никто не останавливал меня, ни о чем не спрашивал. Все было очень натурально. И все-таки фильм, наверное, был. Многосерийный и не очень веселый.

Начало одиннадцатого вечера по местному. Сажу в здании вокзала, пишу. Подходит полис, требует документы, ведет к старшему чину. Снова дознание: по какому делу приехал? Опять спрашивают мифическое отпускное свидетельство. Если на вокзале, почему без билета? Ясно же, что сидеть здесь нельзя, а я сажу уже давно. Странно, другие ждут по нескольку часов, а я здесь едва двадцать минут. Советуют купить билет и сегодня же уехать. Я огрызнулся: зачем мне уезжать, я только сегодня приехал и хочу пожить, и что есть друзья, и жду, чтобы дозвониться. Отпустили. Только сел, подвалил еще один, и галиматъя началась снова. Кто, из какой секты, и почему волосы, и сколько лет, и надо ли этим идиотизмом заниматься в таком возрасте? Я откликнулся на идиотизм:

— Я же не спрашиваю, чем занимаетесь вы?

Поспорил, отошел. Ах, если бы только эти в форме! Сколько тут было перодетых полисов: вон налетели на нищенку на тележке!

Стало ясно, что покоя они мне не дадут, будут следить, и мне надо будет соответствовать действительной правде, им неочевидной. А это трудно: доказывать правду и заниматься творчеством. Поэтому иду опять искать место на газоне.

У меня был бакинский телефон: 92-07-86 — Ира. Но за весь день я так и не позвонил. Почему? Неужели любитель приключений испугался *случайности*? Нет, пожалуй, я хотел проявить такт. Она же не была из *наших*. Неизвестно, как бы она отнеслась к свалившемуся ей на голову незнакомому бродяге, которому в минуту душевного порыва дала свой телефон? Тогда была одна минута, сейчас — другая. И мне было бы горько убедиться в этом, особенно после облома в когда-то глубоко мною любимом Сочи. Лучше я останусь с идеальным образом. К тому же главное для нее — успокоить свое справедливое сердце, убедившись, что я на свободе. Но я свободен — это самое главное, цель достигнута, и смысл звонка терялся. Лишь пообщаться. Но кто она мне?

Видимо, я все же избегал *случайности*. Или немного иначе: в то время я избегал женщин вообще, относясь к ним крайне осторожно, как к убийцам нашей свободы. В Пицунде мы все ходили голые, но я глядел не на них, а лишь в книгу и на море. Про меня так и говорили: вон сидит голый с книгой в абсолютной темноте. Впрочем, там-то всё были *хиповки*, то есть существа родные и бесполое.

И все-таки, обреченный на ночь в городе, я позвонил. Бог с ними, с пред-рассудками, к тому же город по-настоящему могут показать только местные... Телефон молчал. Увы: вместо комфортабельной ночевки в доме у приятной девушки я ночевал на прибрежной скамейке и утром был обчищен двумя местными мерзавцами, которые опять захотели «подарка» (как какие-то монголо-татары) и прямо у меня на глазах залезли ко мне в рюкзак и похитили купленный в Тбилиси сувенир для Мальшша — и скрылись по очереди, так что я, с разобранными вещами, не мог броситься их догонять.

Спасибо тебе, Ира, за твое участие и прости...

На автобусе выбираюсь из Баку. Добрый русский военный на легковушке. Рассказывает про специфику неактуальной для меня армейской жизни, губу и прочее. В это время проезжаем Дербент с его стокилометровыми стенами — в горы и в море. Это знаменитый «Проход», защищавший Закавказье еще во времена Александра Македонского.

В Махачкале купаюсь (в первый раз) в Каспийском море. Вода почти пресная, какая-то не морская. На нежном песчаном берегу знакомлюсь с юношей Магомедом. Он ведет к себе домой, делает яичницу. Беседуем о Москве. Я оставляю ему свой московский телефон. Он провожает меня до трассы, показывает дорогу.

Проехал всю Чечню, заночевал в Ингушетии. Хозяин Миша, довезший меня до своего дома, зарезал овечку, разделал ее вместе с женой, зажарили печенку. А я отказался. Так что ели сами — вместе с соседкой. Они тоже спрашивают про Москву. Говорят о своей жизни: корова — пятьсот — шестьсот рублей, налог — сорок. Страховка же за нее в случае смерти всего сто пятьдесят. Такая же дороговизна и на все остальное. Нет масла. Хорошее платье — триста рублей. Соседка — мать семерых детей, не получает пенсии, не дают квартиры. Со-

бирается жаловаться Горбачеву, но не на это, а на порядки на рынках: запрещают продавать мясо, кукурузу, мед и т. д. Торговля только с официального разрешения.

Смотрят телевизор, поэтому знают: смерть Дина Рида — это подстроенное убийство.

Утром застопил дальнбойщика. Он местный, рассказывает мне, как взорвали гору под Минеральными Водами: мешала авиации. Хотели взорвать и Змейку, да упал уровень нарзана, и остановились. Как просто мыслят эти люди! Им на горы наплевать, а я еще мечтаю, чтобы они церемонились с личностью.

Кафе в Ставрополе с отравленными вафлями, трип на монструозно огромном ЛИАЗе, «короле трассы» (ибо перекрывает почти ее всю), с шофером-экс-пограничником, служившим как раз в Нахичевани. Рассказывает про постоянные тревоги, когда птицы и животные попадают в проволоку, про стрельбу по живой мишени и про то, что, несмотря на все усилия погранцов, страх, содействие местных жителей, получающих премии за каждого выявленного потенциального перебежчика, — бегут каждый год, впрочем, редко удачно. А местные, они же родственники, что с той стороны, что с этой, даже кишлак бывает один, просто рекой разделен. Подходят к границе и переговариваются. Попробуй пойми, кто чей.

Полтора часа простоял под Кропоткином, пока меня не подобрал трофейный «Мерседес» 38-го года, с двигателем от «Волги» (единственная в моей жизни поездка на «Мерседесе»). Шофер-экскаваторщик очень подготовлен к умеренной критике режима (каждый хиппи на трассе — разъездной пропагандист, разносчик диссидентской заразы по просторам кондовой).

Последний, уже ночной драйвер, не доехавший до Ростова восьмидесяти километров. Заночевал на автостоянке на лавочке. Утром три часа на трех машинах добирался до Ростова. Кафе, наглая попытка вписаться на автостанции (так, в общем, не принято. Надо избавлять шофера от необходимости личного отказа). К полседьмого вечера отъехал от Ростова всего на триста километров.

Стою на трассе, читаю книжку, механически поднимаю руку при шуме мотора. Кто-то пулей пронесется мимо меня, слышу сзади визг тормозов. Оборачиваюсь: стоит «жигуль», ждет меня, даже сдает назад. Водитель с изумлением смотрит на меня, качает головой:

— Не мог не остановиться — такой человек на трассе с книгой: никогда не видел!

Но и он меня изумил: сегодня утром он выехал из Грозного (сам он чеченец или ингуш) и еще сегодня собирается попасть в Калинин (то есть за Москву).

— Как думаешь, успею?

— Не знаю, — говорю я с сомнением. А сам рад: так быстро и удобно доберусь до места. Даже если не сегодня, а завтра — все едино.

Дальше страшная гонка: он и правда хотел попасть в Калинин еще сегодня. Я болел за него изо всех сил, и не его вина, что ему не удалось. Его тормозили на каждом посту ГАИ: за превышение скорости взяли двадцать рублей. Потом за отвалившийся номер, за непройденный техосмотр. В два ночи поломка. У меня отец — водитель, но я, увы, ничего не понимаю, только некоторые слова знаю. И опять удача: ночная помощь случайного водителя (вообще-то ночью никто не останавливается). В четыре ночи решили спать. Спим вместе в машине. Чуть светает, опять на трассу. В Домодедове он попросил у меня семь рублей — на бензин, чтобы доехать до своего Калинина.

Москва пробудила в нем робость и неожиданно взявшуюся бестолковость: совсем не мог ориентироваться.

Впрочем, я тоже почувствовал — страшный город с толпой-самоубийцей. Я слишком рано вернулся сюда. Мне надо было, как Одиссею, путешествовать десять лет.

P. S. (1998)

Рассказ Шурупа о том стриженном мальчике — через двенадцать лет (см. с. 78). Звали его Аркаша.

Вероятно, это произошло за несколько дней до нашего приезда. Егор в приказном порядке послал в город за продуктами самого нестремного. Им выбран был Аркаша. Он не хотел идти, но тусовка сказала — надо. Через четыре часа он вернулся с продуктами, но наголо стриженный.

— Вот цена ваших продуктов, — сказал он, отдавая сумку.

Неизвестно, что с ним делали в ментах, но его все еще мелко трясло. Трясло еще два дня. Потом он уехал (мы его не застали).

Через несколько лет, в 1989 году, Шуруп с Егором собирали в тех же местах мандарины, и Егор, вспоминая эту историю, признался, что не надо, наверное, так нажимать на людей, уж лучше вовсе не есть.

А еще через год в Москве объявились какие-то «индейцы», ошивавшиеся около «Этажерки» — хиппового кафеюшника на Тверской, которые мочили людей, в том числе и волосатых. Один раз они со своими индейскими криками кинулись на идущих по Тверской люберов и обратили их в бегство. В кожаных куртках, в цепях, они наводили стрем на всех завсегдатаев «Этажерки». Особенно был знаменит некий Шер-хан.

Однажды Шуруп зашел в «Этажерку» с работы — он работал неподалеку истопником, — выпил стакан чая и собрался уходить.

— Не ходи, — сказали ему волосатые, приросшие к своим стаканам, — там Шер-хан.

Шуруп, переживший люберов в самый оголтелый их год, 1987-й, не сдрейфил. Доставая сигареты, увидел, что на площадке лестницы сидит какой-то чувак в коже. Чувак поднялся и заступил дорогу.

— Ты что, ни хрена не боишься? — спросил он.

Шуруп присмотрелся. Страшный, в шрамах, патлы во все стороны, а лицо знакомое.

— Аркаша, это ты, что ли? Что у тебя за вид?!

— А, Шуруп... Узнал меня?

— Не сразу.

— У меня тут есть шампанское, хочешь?

— Хочу.

Они спустились в подворотню рядом с кофеюшником, где на парапете сидели волосатые, которых как ветром сдуло. Вновь обретенный Аркаша достал бутылку, они выпили.

— Что же, ты и Шер-хана не боишься? — спросил Аркаша.

— Шер-хана, наверное, боюсь, — сказал Шуруп. — Но я его никогда не встречал.

— Вот и встретились...

— Так это ты и есть Шер-хан?! — засмеялся Шуруп.

— А чего это ты надо мной стебаешься? — огрызнулся Шер-хан.

— Да просто вспомнил, какой ты был. Такой тихий мальчик.

— Мальчик... Я тоже тебя помню. Никогда не забуду, как вы тогда в Пизунде сдали меня ментам.

— Ты что, каким ментам?!

— Помнишь, я не хотел идти. Но вам было по фигу! Просто самим было в ломак. А я был для вас ничто.

— Это Егор сказал.

— А вы промолчали. Но я вам благодарен за урок. Когда они меня хайрали, я врубился, что в этом мире нельзя никому верить. Что любовь — все это фишня! Что здесь что-то значит только сила. Спасибо — вразумили...

А через несколько лет его друзья остепенились, исчезли любера, а Аркаша-Шер-хан умер. От наркотиков. Такая вот история.

И еще Шуруп рассказал, что Багира выбросилась из окна. И, наконец, что в годы грузино-абхазской войны в «третьем» ущелье был абхазский концлагерь. Говорят, что с пленными обращались крайне жестоко. А теперь кто-то уже вновь рвется туда загорать. Не могу представить, как это кайфовать в бывшем Освенциме?

К а р т и н к и

КРЫЖОВНИК

Серьезный человек в щелочку не подглядывает, буква зет, поза членистоногого, физии... Да и что увидишь ценой переохлаждения нежного копчика и нарушения кровообращения нижних конечностей? По большей части лишь трепет неясных крыл да нечто розовое без выраженной половой принадлежности. Нет, только лежа, среди смородины и крыжовника, на е5 или, положим, f4 любительской доски пайковых соток.

— Павел!

Зачем отзываться и выдавать стратегически верно выбранную позицию военно-полевой раскладушки, скрип-скрип, в самый разгар прополки ранней моркови соседскими барышнями? Или это кабачки? Не важно. Ботаника, в данном случае е рligibus unum, лишь ласковый хлорофилл фона.

— К Бычковым, наверно, пошел.

Конечно, куда же еще, убил ремонтировать оранжевый «Школьник» со звонком, ловкостью слесарного гения поощрять двигательную активность бычковского потомства.

Легкий ветерок шевелит набедренный сатин Павла Ильича Рабинкова, старшая, все-таки старшая, думает он, выбор неммыслимо труден, бессмыслен и решительно невозможен, но сладок концентрацией и сосредоточением. Ммммм. Молочная спелость против сахарной зрелости.

— Козел этот старый пес сосед, — скороговоркой поддерживает Катя бойкий ритм удаления маленьких противных листочков, — ты представляешь, вчера предложил подвезти от остановки.

— Вместо двухсот метров километр околицей?

— Да в его старых, вонючих «Жигулях».

Не такие уж они, положим, вонючие, думает сестра, но козел — это точно.

— Ну вот опять целый кусок пропустила, куда торопишься?

— Ленка, ты ворчливее матери.

Тыльная сторона ладони оставляет на лбу пыльную сороконожку. Зама-
рашка, как была замарашкой сестрица, так и останется.

Со стороны малинового плетня, из-за дальнего, поросшего какой-то куриной мерзостью угла огорода, плывут отзвуки полуденного боя Кремлевских курантов, «Маяк», ать-два, равнение на звезды, на рубин с электричеством внутри.

Четыре часа дня, скоро Катька засобирается на автобус, которым приедет сын Рабиновых Андрей. Андрюшка — хрюшка, мягкая игрушка.

Врешь, врешь, врешь, ну, Андрюшка, ну, свинюшка, ну, еще туда-сюда, ну а мягкая игрушка — это просто ерунда.

— Знаешь что? Твой папаша пристаёт к Катьке и за мною нагло подсматривает.

— Это месть за мое счастливое детство у щелочки китайской ширмы. Обратная сторона эдипова комплекса. Актуализация сублимации.

— Андрюха, ты болтун и очкарик.

— И жид. Скажи: жид пархатый.

— Жид пархатый, жид пархатый.

— Ну вот, придется теперь тебя наказать.

— Накажи меня, пожалуйста, my dear Andrew, my sweet boy.

— Да уж, придется, я вижу, с первого раза не доходит...

Девушки добивают грядку и разгибаются. Боже мой, Павел Ильич смеживает веки, так даже лучше, этот несносный нейлон, дедерон и полиамид, дурацкие тесемки и лямки, от которых лишь белая рябь, полнолуния в глазах, воображение сдувает, ууууф, и уносит, уносит... Клен ты мой цветущий, ты почему, братишка, весь в разноцветных лоскутках и похож на елку в самый комариный сезон? Волею-с Павла Ильича Рабинкова.

— Ку-ку, ку-ку,— от изумления начинает икать тупой организм кукушки в ближней роще.

— Павел, ты никак уснул здесь в тенечке?

А? Да, слегка, нормальное состояние интеллигентного человека на природе, легкая дремота, неосознанная необходимость, что поделать, вакация...

Полуокружью ушей и щечек Марии Петровны светятся розовой четвертью спектра.

— Павел, ну сходи, пожалуйста, к Бычковым, мы же обещали Алле.

— Мария, не знаю, что и делать, третий класс, в пятый пойдет, детина, а все путает семь на восемь с девять на шесть.

— Павел, может быть, позанимаешься с Алешей?

Отчего же, конечно, восемь на семь, нет проблем, хотя доценту кафедры аналитической геометрии логика велосипедных биссектрис, блестящих многоугольников и упругих плоскостей ближе и роднее таблицы, которую запомнить надо подобно чудному мгновению. Увы, серебряную стрекозу курочит сам Бычков, кандидат энтомологических наук с наклонностями живодеда.

Павел Ильич облачается в дачные брюки и университетскую тенниску. Калитка поет на перенесших все невзгоды зимы и весеннее непостоянство петлях.

У ограды стоит младшая из соседских барышень. Невероятно соблазнительные горошины легкого сарафана пытается сдуть и рассеять по плодородным окрестностям неугомонный сельский ветерок.

— Здравствуйте, Катерина.

— Добрый вечер, Павел Ильич.

Интересно, чертовски интересно, не испытывает ли девушка затруднений, проблем, скажем, в теории комплексного переменного? Павел Ильич объясняет всегда увлекательно и с необычайным воодушевлением. Alas, девица выбрала вечный постквант перфектум романо-германской филологии, унылые суффиксы в отрыве от животворящего корня.

— В этом платье вы выглядите на ять.

— Спасибо.

С пригорка видно шоссе, непрерывная погоня белого за красным от лузы к лузе разнообразных поворотов. Через полчаса приедет Андрей и станет выпрашивать ключ от машины.

— Пап, ну где же мне еще учиться, как не на прудах?

— В автошколе.

— Там инструкторами малопривлекательные менты в кожаных куртках.

Понятно. И все-таки, может быть, младшая?

Маленький мостик Павел Ильич едва ли не перепрыгивает, невидимая жизнь земноводных будит приятные мысли о том, как осенним утром, шурша резиной о траву, он пойдет с корзиной за лисичками.

Младший Бычков, Алеша, сидит на крыльце и молотком правит обод переднего колеса. Над ним шевелится на прищепке полосатый аэроклубовский носок, в траве валяются пропеллер и трещотка, не хватает пилотских очков и перчаток с раструбами.

— Павел Ильич? — бухает с веранды.

— Я, Алла. Здравствуйте.

— Здравствуйте, извините, не могу к вам выйти, блины.

— Очень жаль,— радостно отзывается Рабинков и усаживается на краше-ное крыльцо рядом со сосредоточенным мальчишкой.

— Алексей, а девочки у вас в классе есть?
 — Угу.
 — Хорошенькие?
 — Одна.
 — И чем же она милее других?
 — У ее брата есть лишние наклейки динозавров, и она обещала уговорить его сменяться на мой альбом «Али-баба».

Все в нежных перышках и голубых прожилках на вечернем небе плодятся облака. Павлу Ильичу хорошо видно, как на соседнем участке две бодрые пенсионерки пытаются сладить с покосившейся изгородью. Летят в крапиву пуговицы и шпильки, морщины, бородавки и веснушки подмигивают из самых неподходящих мест. Нет, лучше забудем с таблицей Пифагора, чертившего гвоздем неунывающие медианы на тысячелетьями просеянном песочке древних Сиракуз.

К себе Павел Ильич возвращается верхней дорогой вдоль рощи.

Мелкая, мягкая пыль делает пальцы за полумесяцем обрубленного носа сандалет похожими на мелюзгу не вовремя выкопанного картофеля. Этот путь вокруг тем хорош, что на той стороне овражка, по пологим кочкам склона обычно гоняют на великах переростки. Лихачат, кувыркаются и хохочут, не обращая внимания на плотоядные тени, там, наверху, между берез.

Сегодня ни одной девочки. Два белобрысых подростка, смахивающих на толстоногих щенков. Один наблюдает, второй примеривается к маленькому трамплинчику, прыжки в землю, руки на руле всегда готовой поучаствовать в членовредительстве «Камы», ни смеха, ни визга, ни солнышка уже оформившихся конечностей.

— Папа, я возьму машину?

А почему не бисеклет? Сколько поэзии, черт возьми, в катании юного и прохладного на раме, в этом шуршании детской щетины о шелк и птичьих ласках носом, норовящим клюнуть то ухо, то шею?

— Хорошо, если пообещаешь в Береговой больше не заворачивать.
 — Нет, только на пруды. Искупаемся — и обратно.

— Ладно, ладно, можешь не торопиться.

На веранде осы уже подступаются к ужину, пиво, привезенное Андреем, теплое и пахучее, лить его надо со знанием дела, не спеша, по белой стеночке туристического пластика.

— Марина, тебе наливать?

— Да, я сейчас.

Выход к столу — всегда выход к столу, даже если он накрыт походной клеенкой со следами черного циркуля горячих кастрюль.

— Ну, как там Леша?

— Одаренный мальчик, но лучше ему учиться музыке.

— Почему?

— Там вплоть до самой консерватории можно не выходить за пределы четырех на четыре.

Езда по летним косограм на коротконосой «копейке» похожа на морскую прогулку. Может быть, поэтому так и тянет сорвать с себя все лишнее и окна открыть?

— Андрей, слушай, ну неужели они не догадывались, ну никогда не замечали, что ты, маленький пакостник, там за ширмой...

— Честно?

— Честно.

— Однажды я уснул возле нее на полу и меня, полоротого купидона, утром застучал отец.

— Выпорол?

— Нет, в субботу повел в магазин и купил лук со стрелами.

— Андрюха, ты болтун и очкарик.

— И жид, скажи: жид пархатый...

После нескольких стаканчиков ячменного варева это происходит всегда. Павел Ильич из сумеречной веранды входит в комнату, сандалии он оставляет на половичке у стены. Мария Петровна домывает посуду, она не сопротивляет-

ся, только отходит чуть-чуть, делает два мелких шажка влево, чтобы тазик, над которым танцует пар, не мог ненароком поучаствовать в процессе.

Павел Ильич в такие минуты решителен и грубоват, на пол падает юбка, звена какой-то рассыпухой, забытой в накладном кармане, потом гребешок, на ум приходят, некстати совершенно, две сегодняшние пенсионерки. Павел Ильич закрывает глаза, сейчас, сейчас, дилемма, сумятица желаний сама собой разрешится, ну же... коса, две кругленькие булочки под синим треугольником, пара лямочек с узлом между лопаток — старшая, старшая, старшая, аршая, аршая, шаааая, яяяяяяяяяя...

Мария Петровна целует его в лоб.

Пережевывая гравий, к дому подкатывает беленький автомобильчик. Андрей. Павел Ильич бросает взгляд за синее стекло, силуэты, муть и неопределенность, ничего, он улыбается. Ночи в июле очень, очень короткие, как звук «о».

ИОНЫЧ

Днем это самый скучный угол в округе. Здесь не роятся даже простейшие и легчайшие из крылатых и пучеглазых организмов, не бьются головами о рифленые стены, не собирают на крылышки пушистую ржавчину с труб. Опустылено за зиму все неодушевленное, все механическое и утилитарное, плавь, солнце, бочку на крыше, сжигай хвосты водопроводные с наростами кранов, диссоциация рубероида, аннигиляция шифера — легкий пар, суета зазевавшихся молекул на месте рассеявшихся душевых кабинок и глаз успокаивающий вид низких деревенских построек за изгородью да сосен, массово восходящих на вершины невысоких холмов. Покой.

Полуденная прострация спортивно-оздоровительного лагеря. Желтые армейские палатки подобрали юбки, и ветерок беспрепятственно исследует полски матрасов. В крайней за столиком четыре спекшихся картежника, во второй слева — жертва неправильного опохмела, можно читать чужие письма и шарить в рюкзаках — все на реке.

В двух невысоких корпусах бывшего пионерского лагеря, под крышами просторных веранд температура значительно ниже точки кипения, и какая-то часть организованного белка концентрируется здесь. Незначительная, впрочем.

Пузырями азарта, гоняя в блиц на высадку, оживить стараются староиндийскую архаку крепконогие физруки. Их торсы, влитые в белые тенниски, свистки на ниточках между героическими выпуклостями больших грудных мышц ослабляют волю к жизни у парочки дежурных из двоечниц, что загнаны судьбою неразумной зачет по физкультуре получать на лоне родной, не слишком еще захватанной природы. Мойте, голубушки, мойте старательно, после сончасса кросс бежать, бежать пять кэ-мэ.

Густея в прокаленном воздухе из-за горы, с реки наплывает, чтобы зависнуть над прутиками громоотводов, урчанье механическое — это из порода явился рыбу погугать плоскодонный катер, называемый подобно половине всех предметов данной местности «Заря». Двенадцать ноль-ноль ровно, точнее, плюс-минус пятнадцать минут с учетом особенностей летнего времяисчисления.

На крыльце второго корпуса появляется довольно крупный молодой человек с округлым лицом, покатыми плечами и слегка волнующим х/б футболки мякишем непротивного еще животика. Леша Воробьев, студент бывший, ассистент несостоявшийся, занимающий одну из узких, некогда вожатских комнат, обжитых ныне малоденежным младшим преподавательским составом, на правах всеобщего любимца. Ширина его неизменной флегматичной улыбки не зависит ни от температуры, ни от влажности, лишь от послушности толстеньких, на дворничские смахивающих пальцев, которые он через вечер погружает в пасть с кльками черными и белыми переносного органчика с педалькой. И если руки, ноги ладят с электричеством, то к концу танцев, бывает, улыбка даже размыкает его губы, и вылетает что-то вроде звука: «Хо», — из Лешиной, совсем не приспособленной к продолжительной членораздельной речи гортани.

Сейчас на крыльцо он выносит детскую коляску — креслице на четырех колесиках с балдахинчиком; прежде чем появится хозяин предмета несерьезного из металла и синтетики десятилетия Митя Воробьев, предстоят короткие манипуляции с фиксаторами железяк. Пока Леша пощелкивает ими и позвякивает, цинковая бочка на крыше душевой музыканту то темечко накроет зайчонком солнечным, то шею обмахнет, то нагло ухватится в крестец, но Алексей на приставания дурацкие внимания не обращает.

Наконец сероглазая мама Люба выводит червячка-наследника, если не талантов, то музыкальных инструментов точно. Катить сокровище под шелест песочка погремушек к столовой через рощицу очень приятно. Все встречные здороваются.

Впрочем, на степень аппетитности обеда всеобщая приязнь влияет мало, набор жиров и углеводов молчит, колодой лежать под лапами, клешнями сосен не мешает, и молодец.

— Бревно? — смеется Люба.

— Угу.

После полутора лет мастера трехменной стройки, желание если не спать, то просто не двигаться, необоримое. Вторую неделю они уже здесь, а на пальцах ни мозолей от весел, ни царапин от скал. С одной стороны, Митька — пузо круглое с рук на руки перемещается, а с другой — так замечательно валяться и на спине, и на боку, и под деревьями, и у реки.

Зря, наверное, ушел из института, вести лабораторки — занятие не хлебное, конечно, но и не потное. А играть, репетировать можно пять, шесть, семь, как в старой песне, восемь раз в неделю, но опять же Люба, Митя...

Даже открывать глаза не тянет, хотя полюбоваться стоит, конечно, стоит и хлорофиллом, и озоном. Роскошь. Какие-то метелки, стебельки, листочки жирные под самым носом. Пахнут, уют и корм дают стрекозам, бабочкам, божьим коровкам.

Ну, что расселась, лети на небко, там твои детки развлекаются в разреженных слоях атмосферы, бомбовоз пролетел и оставил после себя серп жирного пушистого следа, то-то потеха нырять в него с головой. Давай, давай, жарь, лети, глупая.

Митька дрыхнет, и Любу сморило. Ветерок ищет какой-то полузабытый эпизод, торопливо листая страницы ее книги. Если память не изменяет, там, на пригорке, чуть подальше должна быть малина, медвежья ягода.

Пол-литровая баночка из-под воды быстро розовеет от пупышей-глазков, а маленькие беленькие косточки приятно между делом перемалывать зубами. Сверху хорошо видно, как внизу, в лагере, на несвежий, плешивый квадрат поля выползают жуки-футболисты. Неразличима лишь булавка, которая вот-вот заставит их носиться от угла к углу, соударяясь.

Под сосною, чистоплотным деревом, посидеть, что ли, для разнообразия?

Свисток короткий и резок, как зов обомлевшей свиньи.

Каждый матч в сезоне принципиальный, иначе зимой будет нечего вспомнить, в сентябре не о чем поговорить. Пересохший газон чихает пылью, белый пузырь ищет кочки, чтобы обмануть безжалостные щечки и подъемы. Дыхания хватает лишь на обстоятельства места и образа действия. К толчкам, захватам, активной работе коленей и локтей судья, мосластый педагог, как настоящий дарвинист, относится вполне терпимо. И это называется — дает народу поиграть.

Между тем экспедиция из числа слабосильных и немощных уже отряжена за белыми головками, идти недалеко, в Дьяково, два километра туда, два обратно.

У окошек отрядных спален, выходящих на белое с зеленым, ограду и нужник, что погружаются за сантиметром сантиметр и не сегодня-завтра утонут в волнах крапивы и ивняка, сидят кресс пережившие, перехитрившие второкурсницы. Спортачей, с ревом вытаптывающих поляну на той стороне, девицы презирают, но уже всю орудуют карандашами и помадой, готовясь к танцам.

На самом деле что-то рановато. Андрей Боровский, посредственный игрок на неплохой гитаре, преподаватель бородастый строительной механики, еще

только возвращается с реки. Подобный флагу, вспухшему от гордости за родину, его надувной матрас башкою тычется в траву. Впрочем, дневной прозрачности небес уже грядет на смену серенькая муть вечернего рассеяния.

— Ужинать пойдем?

— Надо.

Митя, на славу и по графику закусивший сладким и белым, спокойно дремлет под балдахинчиком. Коляска, корни, ямочки преодолевая, скрипит раскачивается, но малышу это не мешает. Внизу завибрировала рельса, кто-то кого-то обыграл в футбол, о чем и сообщает миру.

Лагерный клуб — коровника обрубок на оси симметрии двух корпусов. Днем под деревянными стропилами прохладно, хорошо пахнет и тянет на некрашенные доски сцены лечь и помечтать. Когда же непропеченный ком луны появляется в незагустевшем, синеть только начинающем вечернем киселе, внутри зажигается свет, и темный, таинственный амбар становится тесной, малопривлекательной конурой.

Хозяйство у Алексея с виду незатейливое, клавиша и двухканальный усилитель, правый он забирает себе, а в разъем левого втыкает шнур гитарки его партнер Андрей Боровский, проверенный рядовой институтской самостоятельности. Умеет он не много, но с ритма не собьется никогда, что и необходимо, и достаточно.

Главное, чтобы они прыгали. Не останавливались, как бетономешалка, это жевание-переваривание непрекращающееся, прорабская колыбельная, сидишь в вагончике, и, кажется, когда все на ходу, все движется, ворчит и хрюкает, нет повода кому-то влететь с хлестом перекошенным от холода и сквернословия.

Иногда приходит Люба, между Андреем и Алексеем садится и смотрит на профиль мужа, капельки пота путь намечают бакенбардам на его щеках, колечки чуба припечатались ко лбу. Вечер течет, и номера становятся все длиннее и длиннее, пять, семь, десять минут никто не может остановиться. Органисту аплодируют, кричат «уау», заморский символ «ви» из пальцев строят и родное «ятя», но для него все это лишь не обусловленная ритмом смена форм теней, как будто лажа легкая, но руки на черно-белое ложатся и все налаживается.

Без пяти одиннадцать цветочный запах бормотухи перебивает все остальные.

— На коду, Леша,— шепчет в ухо начальник лагеря, однокурсник Воробьева Коля Котов.

Но ширина улыбки музыканта в минуту эту такова, что еще четверть часа он будет реагировать на крики:

— Бис! Повторить!

Сборы недолгие, и всегда находятся желающие тащить за ним скарб драгоценный. Мокрый и взъерошенный Леша заходит в комнату, горит ночник, Люба читает, Митя спит.

— В душ?

— Пожалуй.

Мыло постукивает в пластиковой мыльнице, на вафельное полотенце пикируют кровососущие. Бочонок оцинкованный на крыше, резервуар с прогретым содержимым, как в полдень, не хамит, в глаза развязно не светит и панибратски не бликует. По-дружески подмигивает, не больше, под каждый шаг правой ногой.

Впрочем, разницы нет. Леша пробовал менять кабинки, их под желтеньким фонариком четыре. Леша пробовал подходить не со стороны футбольного поля, а путем окольным вдоль ограды, он пытался не сразу включать воду, а какое-то время стоять, медленно остывая у шиферной стены, но это происходит всегда и неизменно: как только начинают сыпаться из лейки капли, кто-то быстрый и легкий встает из травы, по деревянной решетке настила проскальзывает в улитку пена и ныряет в теплые струи.

Где эти глаза бывают днем? Почему никогда не попадают ему, не заставляют отворачиваться или краснеть нелепо? Может быть, это бесенок из деревни или же ведьма из дяковского геофизического лагеря?

Ох.

Возвращается он пахнувший свежестью и звездами, Люба гасит ночник, сегодня они будут просто спать, так всегда бывает после танцев, музыка забирает у него все, освобождает, очищает и делает нежным.

Тихим и удивительно ласковым.

ДУШЕЧКА

Прозрачный и звонкий день солнечного противостояния предстояло провести с животным. Вчера из столицы оно притащило мягкие валики переспелого брюха и сразу же начало обильно потеть. Начальник кондиционеров, вентиляторов, озонаторов и прочей хитрой электрической нечисти, призванной, но неспособной, в восемь ноль-семь уже вышел от, дымясь чесоточной злобой влажного и липкого. Свадебное железо мостов готово было кукурузой посыпаться из сломанного служебной осатанелостью рта.

«Козел», — нежно вибрируют жалюзи, белые крылышки аэроплана, парящего без фюзеляжа в сливочных струях востока. Счастливая эскадрилья.

— Анна Васильевна, а скажите, пожалуйста... — Проглотить трубка не может, но уху обжечь готова.

Факс!

Что значит, конечно же, потерялся? Следы урагана годами смывает дождь и не может утопить в дюнах своих песок. Вопрос лишь, какую форму принимает стихийное бедствие отгуляв — рулона, гармошки или змейки? Ах, ну конечно, ужом, гадючкой заползла синеватая лента с рассыпухой полуразложившейся кириллицы под коричневые коленкорные лопухи папки «к докладу».

— Сюда! — Серая сосиска пальца с чахлой, неаппетитной лобковой порослью между суставами, кажется, прыснет каплями кипящего жира, если согнется. И угадит, испачкает чудесное Анино новое платье, шелк в голубых и розовых облаках июньского рассвета.

Платье? Да разве оно заметит его? И новую челку, что само безрассудство и ветер?

«Свинья», — смачно фыркает дверь, вечно получающая невидимой коленкой под зад.

В коридоре на креслах соломенные снопы главного бухгалтера, угреватая вешалка носа начальника гаража и рыжие сороконожки бровей сочинского управляющего Гиви Александровича.

«После десяти», — прогавкала тварь.

Губка валиком — безнадежность, ротик ниточкой — понимание, зефир полей Елисейских в утешение. Всю без остатка магию прованского искусства экстрагирования — людям.

Вах.

В приемной зама, зверя лютого, на том, тенистом берегу ковровой серой с искрой дорожки, хрусталь. Литые стволы, ажурнойковки листья, капустные головки жирных гвоздик. Лена, суета ресниц над розовыми папилютками азалии, растение щедро награждается водой «боржоми» из богемского стакана. Вчера патрон, галантный хват, ее возил отведать рыбку из альпийских рек, к нам прилетающую на самолетах. Ну, что там, Расскажи, красавица, за кеглями колонн, в какие чудные пределы путь преграждает боец румяный со шлангом не в том месте?

Дзы-дзы. Дзы-дзы — ток электрический в коробке мечется, но пластик серый его не выпускает. Это за спиной, все вместе, нетерпение и недержание.

— Да?

— Чаю!

Кружок лимона с шестиугольником веселой пустоты в серединке так и хочется надеть на карандаш, залить чернилами и подавать, украсив шариками ластиков и веточками гнутых скрепок. Заметит или отхлебнет не глядя, а если обратит внимание, то хочется узнать, на что: цвет, запах жижи заинтересует или наконец-то солнечный перламутр маникюра?

— А что, погорячее никак?

Высшая нервная деятельность отсутствует. Туфелька.

Поразительно, такая огромная, тяжелая башка из недоваренного мяса, сколько же она весит с одним-единственным застрявшим в ней глотательным рефлексом.

— Запишите на сегодня...

Немигающие зенки производства Ленинградского оптико-механического объединения рекомендованы для применения в перископах, устройствах периферического наблюдения и артиллерийских буссолях.

— Вызвать... отправить... соединить... а это... — радуга обложечного полимера, лапка холодного зажима, — сегодня до четырех выправить и мне в трех экземплярах.

«Preagreement».

Jawohl, будет исполнено, ваше всеобъемлющее бегемотство. Не первый раз, дело знакомое. Опыт есть, навык имеется, на хорошо и отлично сдан университетский курс «Типичные ошибки низших приматов в употреблении временных конструкций английского глагола».

В контору Анну год назад устраивали мать и тетка.

К самому? К самому! Слюни, слезы, волнение женских желез и быстрых, тревожных гормонов перетоки.

А собеседование проводил вечно посмеивающийся мужчина с розовыми щечками рождественского бутуза, любитель превращать в оранжереи кубы служебных помещений.

Вел себя, как пшют в примерочной, диплом не меньше минуты изучал и даже вкладышем не побрезговал:

— Второй французский — это хорошо, но вряд ли, вряд ли пригодится...

Серьезен или шутит, таким родился или же строжайше соблюдает рекомендации специалистов по работе с кадрами, простой девчонке, выпускнице университета, понимать не обязательно, но вот масло, нерафинированное доцентское, что засветилось во время заключительного осмотра экстерера, на заметку взяли.

— А делопроизводство, значит, самостоятельно освоили?

— Угадали. Точно, вот этими вот белыми руками.

— Поздравляю!

Тушу-грушу же предъявили только через неделю. Она сама, в буквальном смысле напугав, выкатилась из логова, в котором, как оказалось, давно уже рычала, рвала доклады и ломала мебель, с зарей явившись прямо из аэропорта:

— Пошлите за минеральной... Гусева к девяти со всеми бумагами ко мне... И еще запомните или запишите: мыть, убирать, любые работы в моем кабинете проводятся только, я повторю, только по моему личному распоряжению...

Встать, сесть. Встать, сесть. На пле-чо!

Итак, вопрос остается открытым, осведомлена ли говядина во всем торжестве своей первозданности о половых различиях, испокон века двигающих миром, известно ли ей имя рычага, с которым древний грек искал точку опоры для великих дел?

Иными словами, читали ли вы, Игорь Леонидович, в вашем жиртревтовском детстве с четырехразовым питанием о пестиках и тычинках, уносились ли в фантазиях ночных вослед мохнатокрылому шмелю или пчеле с антеннами приема ближнего и дальнего на голове?

Насос двери о неожиданном исходе белковой массы по-товарищески успевае предупредить за несколько мгновений.

— Я в администрацию...

Нет, пчел мы только жгли, шмелей давили, ну а на ос садились просто, благо у нас всегда кирзач добротный заменял нестойкий верхний эпителий. Вот так, Анна Васильевна, если хотите любопытство удовлетворить в порядке ведения.

— Отмените встречу с Алексеевым, а Найману назначьте на семнадцать десять.

Полдня в колонны строивший механиков врывается начальник аппаратов охлаждающих и нагревающих, печально проплывает тело белое не вынесшего тягот постоянного жужжания. Бить будут, будут бить. Прощай, товарищ.

А вот и новый, весь в изумруде полиэтилена, еще не ведает, что нюхать предстоит, эх, бедолага. Я кондиционирую, вы кондиционируете, он кондиционирует.

Past perfect continuous, пожалуйста.

Он кондиционировал последние шесть месяцев, да, кондиционировал, до того как.

Текст предварительного соглашения на четырех страницах, рядом с перечеркнутыми абзацами на полях чернильные гуси новой редакции, Вы и Ваше мы неизменно пишем одинаково, вне зависимости от того, пыхтим или потеет.

Звонок.

— Приемная.

Пауза.

— Игорь Леонидович у себя? — Голос стыдливой нищенки, жена, то есть прямой переключен на секретариат, ого, даже секунды отвлечения себе не можем разрешить, абсолют концентрации и констипации.

— Вас соединить с машиной?

— Нет, нет, спасибо я перезвоню.

Ту-ту-ту...

Когда домой приходит, что делает скотина с этой маленькой женщиной, похожей на заветрившийся кусочек селедки из гастронома? Вешает на нее пальто, ставит кейс, употребляет как плевательницу?

Откуда же тогда два мальчика с такими же ветчинными головами? Шофера приглашал на полчаса, чтоб за бутылку сделал? Или она сама, застиранная и бесцветная, визиты наносила тайно бабушкам, умеющим рисованное счастье из колоды шестерок и семерок вынимать?

Вернулся. В контору входит, как в ванну загружается, еще на первом, а выдавленный воздух уже выплескивается в форточки второго, в окошки вытекает третьего. Все холодеет, и только крылышки парящих беззаботно чаек-жалюзей, не зная горя, напевают.

— Кро-ко мо-ко око-дил.

Чому ж я не створка, чому ж не летаю?

— Текст готов?

— Да.

Готово все! Моря и реки, леса и степи, недра и лона — Вселенная на цырлах, на стреме, начеку, команды только ждет, отмашки, знака хоботом, хвостом, так что расслабиться, минутку подышать обыкновенным воздухом — не слабость и не грех, а просто удовольствие, не слышали, коллега Павлов утверждает и даже доказал, успешной серией экспериментов продемонстрировал на вам подобных.

— Через две минуты мне.

Подсунуть под дверь? Подкрасться сзади — и в карман? За шиворот? На стол? Понятно. А мне валить отсюда без спасибо, без «ну-ну-ну» простого, без кивка?

— Уберите это.

Ага, попутный груз, чашки и стаканы, поставить на поднос и, дверь ногой толкнув тихонько, рассеяться, исчезнуть. Но прежде, извините, надо будет за спину все-таки зайти, чтобы бутылки из-под выхлебанных вами пузырьков забрать.

Итак, вот они, уши. Эти удивительные розовые, нежные грибочки, сумевшие пробиться сквозь жилы каучуковые буйвола и терку металлическую носорожьей шкуры. Всего-то тридцать сантиметров, двадцать, десять, пять.

Ам!

Сжать и не отпускать!

— Аннааааааа Васиинииииииильевна!

Да будет, неудобно же, когда такая боль, по имени и отчеству. Зовите просто Аня.

ХАМЕЛЕОН

Пить брют, сухой до горечи, до легкого озноба, на мурашах-колесиках пузырьков в горло въезжающее пойло. Теплое, потому что из-за пазухи, из кармана самодельного водоизмещением один учебник без обложки. Взрывоопасное, потому что прямо из бутылки, из зелени военно-морского перископа и воздушно-десантного окуляра.

— Ты меня любишь?

Почему нет? Лежа и стоя, с открытыми глазами и с закрытыми, тебя и всех подобных тебе, ха, нелепый вопрос, который никогда не задает небо радующее и ветерок нежащий, вода утоляющая и бутерброд насыщающий, сама жизнь, занятая сочинением сюжета, вся в желтом кружеве стружек завязки, белых нитях интриги и разноцветном бисере невероятных ходов.

— Ты меня любишь?

— Конечно!

В такой день, как сегодня, невозможно, просто немыслимо кого-нибудь да не любить. Стоя у пыльных перил моста, отражаясь в чугунных водах щукой и карасем, ногами давя лепестки-экзамены отцветшей розы сессионных тревог, нужно непременно губами ловить что-то живое и влажное, синими бездонными заворачивать зеленое и радужное.

— Леша, Ира, ну что вы там?

— Смоюсь?

Как? Прямо с моста? Мы, лишённые хвостов-стабилизаторов, с недостаточно развитым для ям и ухабов воздушных вестибулярным аппаратом? А впрочем, не такая уж и плохая идея, но нужно ждать ветра, буря могла бы нас прихватить, ураган пригласить на тур вальса.

— В бору, Ируся, голуба, ага?

Там, на горе, мы превратимся в запах черемухи, в птичье эхо и хруст желтых иголок хвои.

— Веришь?

Еще бы, обязательно веришь, канцелярские чернила сомнений давно уже съедены, слизаны с измятых вареников губ. Вишня, клубника — чистый рубиновый колер безоглядности.

Гопник-трамвай, цокая, нос, как серую кепочку, лихо приподнимая на каждом стыке, обгоняет отставшую парочку. Кондуктор, кормящийся устным счетом, привычно суммирует головы.

Две, пять фонарных столбов, сорок метров, еще две плюс две и на полкорпуса впереди только одна, итого — семь, четности нет, непорядок.

Соображает.

— Ну что, герой, — спросил Алексей Караваев Алексея Петрова, — телка сама в руки идет?

Действительно.

Должен ли сорвавший легко, беззаботно летний бутон сочувствовать неудачнику, всю зиму ждавшему набухания невзрачных почек? По желобам длинных улиц, хрустя слежавшимися кристаллами, дыша серебром еще не упавших с небес, ради чего сопровождал бедолага тонкорунную шубу?

Иринка, Иришка — дарил имен колокольчики, чтобы вернулись болотным чмоканьем равнодушного «чао», и только?

Получается так.

— Ты понял, просто по-черному кинула.

Кинула? Но разве так уж и плохо, что ветрена и непостоянна? Если не много подумать, то это как раз и делает жизнь разнообразной и неутоми-

тельной. Нет, нет, очень полезное качество особи противоположного пола, ты просто как-то неверно шел на волну, товарищ, и потому не испил шипучего брюта гребня. Но все поправимо, не надо отчаиваться, фатализм — удел астрономов, тезка. Обычный же невооруженный глаз, изъяны счастливые адаптации, аккомодации и аберрации даны нам как раз для того, чтобы не расставаться с надеждой. В общем, я предлагаю попробовать.

— Ты что, рехнулся? Или в самом деле собрался сказать: подруга, ты знаешь, сейчас Каравай к нам подвалит?

Зачем говорить, есть вещи, которые нет нужды портить несовершенством выразительных средств языка. Их следует делать молча.

— Петров! Комарова! Мы вас больше не ждем!

Ау! Бежим, ускоряемся, слева секундомер сердца, справа маятник бутылка. Вверх, туда, где над центральным быком коротышками толстых болтов сцепилось плечо правое с левым. А потом вниз, ух, догоним и налетим, потараним над зеленью отмелей того берега.

— Два дурака!

И это прекрасно, ветер в головах, свист, порхание, парение, беззаботность восходящих потоков и головокружительный штопор срыва. Теперь догоняйте вы! Света и Дима, адью, болид прошел между телами, соединенными слабым сплетением рук, сорри, Тая и Витя, крепче объятия, вас лихо обходят неизвестные игрек и икс справа и слева.

— Темп, Леха, темп, Караваев, у-у-у-у-у!

Ириша, мы первыми вступим на вермишель, ракушки и рожки молочной травки, жаль, что ботинки каши не просят, пища простой и вегетарианской не могут порадоваться тупоносые, пока мы дышим хвойным экстрактом, экологически чистым продуктом жизнедеятельности иголок и шишек. Дышим и пьем, облизывая и целуя скользкое горлышко, цедим теплые бусинки пузырьков. Тот, кто овладел раньше всех господствующей высотой, взобрался по крутому склону скалы, пожимая лапы всех встречных корней и веток, упав под сосну, имеет право отметить успех.

— Есть возражения?

— Нет!

Тогда повторим для закрепления.

— Петров! Комарова! Слышите, нет? Хватит в прятки играть!

Молчать, конечно, не по-товарищески, но отозваться физически невозможно, все в деле, в работе и губы, и языки. Даже глаза, но знаешь, ты зря закрываешь зеленые, девочка Ира. Валяясь на крыше мира, чтобы чувствовать себя небожителем, подобно Юпитеру пьющему и гуляющей Афродите, надо смотреть. Зырить.

Вон за рекой, которую режет носом-ножом, по справедливости делит весь день трудолюбивый белый кораблик, желто-красные этажи летнего города. Дома, словно стая собак, морды зарывших в пух тополей, дремлют на солнцепеке, и только ушки башенок, хвостики труб стоят привычно торчком. Да еще реет бульдожья башка угрюмого учебного заведения, подслеповатыми глазками окон пытается высмотреть, углядеть сбежавших питомцев.

— Боишься?

— Нисколько.

А этого, едва слышного хруста? Лягушка — с места двумя ногами? Ужика послеобеденные потягушки? Но что означает тогда топорик знакомого профиля, чудеса в решетке колючих веточек и шершавых листочков ближайших кустов?

Если ресницы захлопают, я скажу: знаешь, мне стыдно быть жадным, разве могу я присвоить ветер и безраздельно владеть солнцем, а ты неужели побрезгуешь хмельной медовухой чувств лишь от того, что сменился бокал, ведь главное, если подумать, главное — содержимое.

— Лешка, мне здесь не нравится.

Стой. А, впрочем, давай, сегодня день кроссов и ориентирования на ме-

стности. Американские горки дряхлого песчаника и луна-парк юного растительного покрова. Какой аттракцион выбираешь? Колокольню в лесах — деревянный трамплин на ветру или же частокол лыжной базы в гамаке паутин?

Чашу! Дебри! Потерянный азимут, крестик, пунктир.

— Ты зачем мне показывала язык?

— Я?

— Ты! Кто же еще? Безответственная, абсолютно несерьезная барышня.

А знаешь ли, большеглазая, что в июньской траве обитают на редкость коварные черненькие жучки, мелкие и ужасные переносчики клещевого энцефалита?

— Да быть этого просто не может!

Увы, угроза здоровью слишком серьезна, доктор просто обязан вас осмотреть самым тщательным образом. И не надо сопротивляться, это в ваших же интересах, мадемуазель, поверьте. И еще, как охотовед охотоведу, дровосек дровосеку, позвольте заметить: здесь, перед лицом дикой природы, имеющей зубы, когти и длинные подвижные хоботки, в одиночку надеяться выжить глупо, наивно и даже смертельно опасно. Поэтому пусть это будет ни к чему не обязывающей любезностью, но доктор, по правде сказать, также рассчитывает быть осмотренным.

— Серьезно? Тогда рискуешь остаться без пуговиц.

— Почему?

— Потому что я их с наслаждением откусываю!

Какая всеобъемлющая тишина. Лопнули пружинки механических стрелок, разъединились проводки электрических кузнецов, и даже моторчики игрушечного маломерного флота, словно свежей, сырой нахлебавшись воды, тарыхтеть перестали там, внизу, на реке.

В чем смысл тепла и покоя, почему победную точку хочется сделать отрезком, лучом? На какой странице, десятой, двадцатой, если нанизывать и нанизывать линейки и клетки, не размыкая рук, не отрывая губ, веревочка игры легкомысленной станет удавкой, как утолить жажду и при этом не утонуть?

Эх, Каравай, что же ты бросил собрата, сукин ты кот? Ножки не тренировал, географией края родного не интересовался, в топологию заповедного бора вникать не хотел.

— Доброе утро, Ирина Ивановна. Имеется предложение дельное — добить закипающее вино.

Щедрый остаток жидкости, перенасыщенной окисью углерода, располовинить. Костяшки золотых булек откинуть, освежающей горечью наполнить рот, нос и пищевод.

— Леша, давай купим еще одну.

Замечательная идея. По серым плитам песчаника спустимся на испсанное каракулями трещин асфальтовое полотно дороги. Жаль, что арабский мы не понимаем. Зато в роще будем опять валять дурака под тополями на скользкой траве, если, конечно, какое-нибудь семейство в чашу не забралось, чтоб всей оравой терзать и мучить беззащитный воланчик.

А потом мы пойдем по мосту над тяжелой водой и легкими суденышками, вдоль невымытых перил и полированных рельсов, а хваты-трамваи в бандитских тельняшках окраины будут нас обгонять, демонстративно вихляя задами...

— Руку!

— А ты, между прочим, знаешь, что там, на горе, за кустами сидел человек и подглядывал?

— Ну?

— И хочешь, скажу, кто это был?

— Говори.

— Караваев!

— Правда? Надо же. Удивительный, редкостный негодяй!

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и при этом плыть, плыть, руками раздвигая воду, а ногами отталкивая ее. Подобно мячику всплывать и погружаться, как будто птица, воздух пить, чтоб, словно рыба, насыщать им воду.

О, брасс — стиль мертвого полуденного часа, когда прямоходящих тянет лечь, растечься по дереву, хлопку или кожзаменителю. Стиль свободности плавания свободного человека вне досягаемости, видимости и слышимости ограниченных умственно и отягощенных желудочно.

Кто ты такая? Ветер! Как твое имя? Река!

Ага? Ага!

Значит, это напутствие из-под взлетевших над лупоглазым обложечным словом белых бровей буквы ё.

— Вика, надеюсь, без глупости? — Ни к кому лично не относилось, ни к чему конкретному не обязывало, а было всего лишь естественным отправлением желающего беззаботно ко сну отойти организма.

— Конечно!

Не волнуйся, мама, смеживай веки с чувством выполненного долга, роняй на пол парафиновую доярку, жертву самого прогрессивного в мире цветоделения, пусть будет легким путешествие обеда, лапши и гуляша, от точки входа к точке выхода.

Пока! Баю-бай!

Твоя хорошая дочь, вооруженная знаниями физики в объеме средней школы, оптики классической и квантовой, все предусмотрит до мелочей, она не смутит нечаянного взора и не возмутит скучающего слуха, войдет в реку вне видимости, выйдет из нее вне досягаемости.

Могу поклясться. Небом, которое неровное желтое делает гладким, темно-коричневым, и водой, что тяжелое, потное превращает в чистое, невесомое.

Честное слово!

Плыть всего лишь метров сто, но Вика не торопится, не спешит. Раздвигать носом абсолютную неподвижность сончаса, стежками равномерными брасса сшивать тобой же разорванную непрерывность, держа курс на колтуны ив, правя на языки гальки, ощущать себя частью, неотъемлемой составляющей всей этой необходимости сред, сфер и стихий!

Да!

Остров начинается мелководьем, мелюзгой мозаики желтеньких, сереньких, праздничных камешков. Найди сердолик и поцелуй!

Стоя по щиколотку в прогретой и прозрачной, можно обернуться и бросить взгляд на ту сторону разгладившейся и в сладкой дремоте вновь заблестевшей змеи. Чубы сосен на скалах, космы кедров, усы и баки кустов, сбегające по уступам, рассыпаются, громоздятся клоками, пучками и прядями рваной с искрами лепестков и мусором плодов бороды.

Никого и ничего.

Три одеяла, два полотенца, прикипевший к перилам домотдыховской лестницы дурачок стерлись, крикливое безобразие неестественных форм растворила в себе флора, девушка с божьими коровками родинок и стрекозами ресниц.

Горячая галька обжигает ступни, можно ойкая прыгать от одного кругляша к другому, а можно молча принимать этот жар, эту ласку земли и солнца, грубоватую, как все настоящее. И тогда прохлада песка и травы, когда доберешься до них, когда погрузишь пальцы, когда упадешь на колени, грохнет нескладушками-неладушками банды зеленых молоточков, кующих зеленое счастье.

В путанице ив, лабиринте лозы рыбий запах вечно сырого ила и прелых листьев. Аквариумная духота пластами лежит в гуще островного подлеска. Нужно ухватиться за пальцы подмытых корней, чтобы влезть на уступ. На-

верху, между узлами и шишаками шершавой пятерни старого тополя, девичий тайник.

Здесь на пики осоки упадут крылышки верха, синяя снаружи, белая изнутри синтетика, а затем, вслед за ними, уже нехотя, шурша, замирая словно от ступеньки к ступеньке одна, вторая, третья такие же двухцветные глазки низа. Пятка смешает, а пальчики скомкают и спрячут оба предмета под рогаткой корней.

В просветах листвы видна солнечная река и тот берег, серые скалы, на вершинах которых за стволами и иголками в пластилиновых домиках потолки наплывают на стены, утекают предметы в воронки полов, слипаются дырки окон, и балконы выгибаются собачьими языками. Там дышит, храпит и булькает суп — физиологическая бурда, похлебка отпускного сезона. Что скажешь, гороховый?

Я тебя вижу, а ты меня нет!

Зайчиком? Или козочкой? Ведьмой! Бесенком на прогалину, в траву, колесом, кувирками, лицом, носом, глазами в голубые и огоньковые фантики цветов. Сотки мне наряд из одних ароматов прозрачных, сочини накидку на плечи из запахов невесомых, шелк благовоний в косы вплети!

Сделай же что-нибудь, июнь-жаворонок, месяц-гуляка, не знающий ночи.

На другой стороне узкой сабли острова перекаты проток и неподвижные заводы. Там, где паутина и тлен, тонконогие каллиграфы-жуки пишут тысячелетиями китайские книги по шелку водяной глади. Там, где журчанье и плеск, птицы, стерегущие круглые камни, строительный материал, вычерчивают в небесах контуры альпийских башен и шпилей.

Слышать, видеть и вертеть — это значит пробираться по колено в траве, по шею в паутине, с головой, скрытой сердечками и перышками листвы, вдоль берега, дышать, кусать губы, обнимать стволы и прижимать к лицу ветки.

Распадаться на солнечные пятна и радужной спиралью ввинчиваться в разрывы зеленки, исчезать и возникать вдруг ниоткуда.

Оу-оу! Где ты, волк? Лови момент, старый дурашка!

Рыбацкая лодка, красная пирога обнаруживается на лысом мысочке. Сначала корма с головой безжизненного дауна — сереньким подвесным моторчиком, потом борт с синей боевой ватерлинией, и, наконец, вот она, вся с черными трубами болотной резины на курносом передке.

Сушим, греем?

Рыбаков двое — один белый и противный, как бульонная курица, в жарком теньке от клепаного железа дрыхнет, носом уткнувшись в выцветший капюшон плащ-палатки. Второй — коротконогий, кудрявый крепыш-паучок, успевший за утро лишь одну из себя выдоить нитку, от груди к удилице. Да и эта ему не любя, леска дергается, бамбук играет, крючок не слушается, грузило не подчиняется.

Подними голову, болван. Что ты так стараешься, узлы вяжешь, бантики плетешь из неуклюжих пальцев? Ершика поймать надеешься, карасика на гарпунок стальной? А как насчет русалки, голыми руками?

Ау?

Пульсирует все — солнце, небо, река, ветка, мир дышит, дышит в такт с рыбкой сердца, бьющей хвостиком.

— Стой!

Дудки! Скорость на время — путь, масса на скорость — энергия, пусть все рушится и трещит, валится и рассыпается, улепетывать, петлять, пригибаться и прыгать, бить, крошить, и рвать, и резать.

Оооооо!

Вот и тополь, вот и ивы. Не подведете? Комок сырой благопристойности надежно ли хранили? Процесс опадания листьев был долг и сладок, момент повторного прилипания к коже краток и смешон. Солдатиком с уступчика в ивняк, к реке, прочь от рощицы, полной хруста и свиста, топота и воя. Сколько он будет выветриваться? День, или два, или десять? Увидим,

услышим, почувствуем, станем судить по тому, как долго глаз будет радовать этот суши кусок, камневоз с цветущей надстройкой.

Вода уже выше колени, сколько можно скользить, наткаться на противные, острые обломки доисторических стрел и ножей? Погрузиться и фыркнуть, блажен владеющий стилем брасс, истинно земноводный, способный смотреть и плыть, дышать и грести. Животом ощущать холод фарватера, а грудь — тепло накатывающего берега.

Течение уносит далеко, и к сарафану, оставленному на траве, нужно идти по плоским обломкам скал. По цифрам и именам, а то и уравнениям чувств, суммам, не меняющимся ни от перемены, ни от замены слагаемых. Вова плюс Таня, фу, как тривиально!

Ветер плюс Солнце, Лес плюс Река!

Высшая математика? Булева алгебра? Нет, даже не арифметика, обоняние, осзание и слух.

Те же тела на тех же тряпках. Тот же слабоумный дедушка в панаме с пляжно-мотоциклетной пластмассой на носу папы Карлы кемарит на лестничной площадке, прилип к жаркой скамеечке, ничего, к ужину похолодает.

Наверху под соснами чистота и порядок, радиусы асфальтовых лучей и дуги бетонных шестиугольников. Елочка одинаковых двухэтажных домиков с настоящими фонариками и игрушечными петушками. К крылечку третьего проще всего выйти по траве, что растет прямо из паркета прошлогодней хвои.

Деревянная лестница пахнет лаком, но перила неровные и шершавые, для скатывания непригодны совершенно.

— Добрый день, барышня, вы сегодня раньше обычного.

Человек, похожий на почтальона, проходит мимо.

Кто вы такой и что за глупый вопрос, хочется крикнуть ему вослед. Писем не было? Журнала, сырого от тухлятины новостей, для моей матери?

Дверь с номером шесть, первая справа на втором этаже, закрыта неплотно, еще одна странность — шум и плеск газированных струй душа за тонкой перегородкой уборной.

А как же ваша извечная водобоязнь, матушка?

Уж не сгонять ли за доктором, возможно, это он, конечно, только что спускался по нашей лестнице, его еще можно догнать...

— Саша, — вдруг доносится до Вики голос, да, голос, в жизни еще не произносивший при ней такого имени, — Сашенька, ты принесешь мне наконец полотенце?

Стоя в балконной двери, Вика сквозь щетки хвои глядит на персидский узор подорожника, по которому протопала только что. Она снимает с веревки похожее на рушник казенное вафельное полотно и молча вкладывает в руку, недовольно роняющую прозрачные капли на бледные цветочки линолеума.

Затем выходит из номера в лишенный воздуха коридорчик, останавливается на лестнице, присаживается на перила и неожиданно вопреки всему начинает катиться, скользить...

А просто осенило, вдруг поняла, ага, откуда, откуда в ней, черт побери, это безумное, неодолимое, неутолимое и ни с чем не сравнимое желание гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть, и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть.

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Ночами под речитатив товарняков и скороговорку транссибирских экспрессов ему снился мотоцикл. Свирепая зеленая железяка с самодельной задней беседкой и ящиком-люлькой. Надо же, сумел ведь кто-то поймать птенца двухголового змея-горыныча, связать, спеленать, прикрутить, привинтить к стальной раме под бомбочку бензобака, рычи, грохочи, плюйся огнем и дымом, все равно заведешься, все равно повезешь!

— Дядя Коля, дядя Коля, а он немецкий?

— Турецкий!

Дядя Коля не любит соседского пацана Андрея. И родителей его и всех прочих обитателей шахтерской улочки, стекающей черными бурунами земли и шлака от подножия водокачки к дырявой ограде сталинской школы. Он отгородился от них желтыми плахами без щелочек и просветов, подслушать можно, но подглядеть никак.

Но и этого вполне... более чем, если честно сказать, достаточно.

— Ишь, «юнкерсы» полетели Берлин бомбить.— Кажется, трясется весь дом, ставни, тарелки, кошка на стуле, и только улыбка на лице отца желта и неподвижна. Его высота — терриконики. Вдоль болтливой ж.-д. полотно всю войну — шесть встречных составов, злых, как собаки, дорога до черного с мокрым флажком копра, шесть попутных, легких, как птицы, дорога домой. Три заплатки на кирзачи, да разок подшитые валенки, а трофеев никаких.

Андрей провел к отцовской лестнице шпал перпендикуляр. Опустил от рыжих залысин высокой насыпи вниз по улице Софьи Перовской до встречи с тополиной аллеей станко-инструментального. В техникуме ему уже никто не мог запретить трогать чугунные рамы. Шершавые буквы ДИП и колесные шестеренки эмблем.

Вычертить втулку и выточить, но вложить теплую не в зеленоватый от масла подшипник, а в ладонь с прорисованными пылью черными линиями судьбы, сделаться на миг шатуном, рычагом огромного механизма, частью могучей вибрации, поймать ровное и свободное дыхание здорового агрегата, первая передача, вторая, третья...

— Глебов?

— Да.

— Штангель кинь!

На практике под полукруглой вороньей крышей Реммаша, похожего на вокзалы далеких столиц с цифрами 1912 в полкирпича над аркой ворот, собирал переносную шахтерскую лебедку «сучку». Небольшой, но уже со смыслом и идеей набор шестеренок в корпусе, съемная ручка отдельно. Дурак, натурально последний дурак мог так осособчить паскудным словом это сердце стального мира, утраивающее силу рук и удесятеряющее — ног, делающее силачом любого, богатырем, способным побеждать и отталкивание, и притяжение.

Кто только в изъеденном мышами и грибок общезитии большого города не смеялся над розовыми, с ежовым хрустом недельной безалаберности незнакомыми щеками молодого специалиста, технолога Глебова!

— Андрей Михайлович, сегодня танцы в клубе, не проводите?

— Андрюха, нам ли жить в печали, айда в двадцатый, там Степанов таких двух бикс привел, всему научат.

Надо же, повезло, даже и не верится, окна комнаты смотрят на песочное дно желтого корыта закрытого двора, второй этаж и створ в створ со вторым боксом, в котором жирует кремовая «Победа», а рядом не дуют в ус два «Москвичонка». Если полтора года есть только отцовскую картошку, на работу ходить пешком и не платить разные взносы, можно было бы и не сверху смотреть, любоваться, а самому холить и гладить, открывать, как читаную-перечитаную книжку, створку капота и, животом ложась на крыло, запускать руки в горячее, даже к утру невыстывающее нутро.

А может быть, не одному просто надо копить, а вдвоем?

Конечно, Вера работала в бухгалтерии, язык воздух кроющейся стали ей был недоступен, и ровное дыхание ее еженощного забытья нарушить не могло цветное видение блестящих от масла механических сочленений, но зато девушка понимала, что ноль — не фантазия экономного булочника, не дырка, через которую сифонит сквозняк, это цифра, производящая сотни в тысячи, а тысячи в миллионы.

— Согласны ли вы...

— Согласен.

— Распишитесь здесь.

Когда родилась Света, завод дал Глебовым квартиру. Край города, желтые непрозрачные лужи, роцца, рассеченная вдоль лентой шоссе, поперек — просекой ЛЭП, а двор — прыщавый пустырь. Совершенная пустота, и это пришлось по душе молодому отцу семейства, значит, не так уж и сложно будет там, на ничейной земле, где лишь щебень и ветер, сначала вообразить, а время придет — и сложить прямо напротив подъезда кирпичную коробушку для друга, которого он обязательно, обязательно встретит, узнает однажды. Настоящий домик, со светом, ямой и маленькой дверкой в больших воротах.

И снова, словно кто-то слушал его молчание, вместо цеха с токарными, сверлильными и фрезерными, большими, громоздкими, бескрылыми станинами, лишенными колес, намертво прихваченными дюймовыми гайками к неподъемной мертвечине по самую маковку в землю зарытого бетона, Глебову предложили месткомовский кабинет. Его неизменный начальник, из замов шагнувший в самы, как обычно, подтягивал за собой.

— Да не умелец же я речи произносить.

— Ничего, по бумажке у любого получится.

Ну а дальше, все, как обычно, довершила простая и строгая геометрия, после того, как справа поднялось ребро пятиэтажки, через год такое же слева, замкнуть прямоугольник уже сама напросилась липкая мухоловка ленты битумом соединенных крыш.

Високосный семьдесят второй начался субботой, это помнил прекрасно, ведь карточка, листочек голубенький с отрывного календарика жизни, выпала из ящика почтового тридцать первого и надо было пережить три дня шипучей, трескучей елочной канители, потому что и касса, и магазин открывались только третьего.

Когда ехал на Ударников, все думал, какого окажется цвета. Очень почему-то не хотелось красную, вроде той, доставшейся Другову, начальнику сборочного, в самом деле, вместо того чтобы радоваться и ходить с тихой музыкой в голове, только и будешь из-за «пожарника» дуться. Может быть, в отпуск уйти или отгулы взять, а то ведь испортят все остряки. Герои такие.

Досталась вишневая, карамелечка. Других и не было в этой партии, вышли на двор-стоянку, выстроились рядом восемь кисочек, тронул одну, только коснулся — и больше ни шагу. Эта! Моя, даже не уговаривайте. 2101 — белая лодочка-птичка на звездном рубине. Ну, иди же ко мне, детка.

Первые три месяца просто под окном стояла, во-первых, тот же Другов не мог простейшую вещь сделать — ворота сварить, а во-вторых, хотел видеть ее чистенькую, глазастенькую, неповторимую утром, вечером, днем, честное слово, разная она при естественном и искусственном освещении.

Где и когда Дмитрий познакомился со Светой, Андрей Михайлович не спрашивал. В клубе, кажется. Конечно, не он ли сам подписывал серые вораха смет каких-то праздничных концертов и вечеров отдыха с лимонадом и танцами? Света заканчивала четвертый курс, а у Дмитрия уже был диплом, и он год отработал мастером в литейном.

Собственно, запомнился он Глебову по какому-то субботнику, этот чубастый, командовавший погрузкой металлолома, обычно шумной, бесшабашной бестолковщиной, когда в лодочку кузова бухается все, что можно забросить, и опускается все, что способен подцепить крюк. Практическое занятие по гражданской обороне. Тема: «Враг не прорвется к нашей столице, танки его не пройдут».

У паренька же порядок наблюдался буквально образцовый. Вдоль бортов рыжие рыбы разновеликих труб, голова к голове, аккуратные, чинные, уже готовые превратиться в автобусы и корабли. В центре — мирным, ухоженным стадом огрызки ферм, гнутых каркасов, дырявых ящиков, полных, однако, всякой годной к переплавке рванины и мелочевки.

«Уважает вещь,— подумал тогда Андрей Михайлович,— вечный, нескончаемый кругооборот металла, его красную весну, синее лето и желтую осень, ухватывает суть».

— Красиво работаешь, Лосев.

— Некрасиво — скучно!

— Ну, ну!

Он и Вере понравился, когда привела его Света домой однажды зеленым субботним вечером, понятно зачем. Но тут глупости, совсем другое. Конечно, чуба волна, глаза, словно из песни быстрой, которую исполняют латыши какие-то, что ли, в радиостудии рабочего полдня. Лен, лен... Нет, сказка-быль и руки-крылья — вот отчего молоточки в висках и иглолки за ушами, только марш этот старый исключительно в День авиации передают.

Зато на свадьбе, когда булек уже никто не считал, подошел к ребятам из самодеятельности своей же заводской:

— Знаете? Сможете?

— Попробуем.

И сыграли.

— Ты что, никак пилот у нас, Михайлыч?

Пилот не пилот, только вот дом отцовский продали, соседа Николая Усачева сгорел, и вообще на этом месте теперь кирпичное здание УВД, а очки, те самые, в которых прыгало солнце утром воскресным, когда дядя Коля, кожаный оперуполномоченный, громяхая вдоль улицы, ставни расстреливая, на рыбалку катил, Андрей хоть сейчас — желаете?

Может нарисовать.

В гараж Дмитрий попросился сам. Дня через три, наверное, после своего переезда к Глебовым.

Руль как-то по-щенячьи попискивать стал на поворотах, давно уже причем, но с этой свадьбой запустил хозяйство Андрей Михайлович, чуть было в наездника не превратился.

— Можно мне с вами, папа?

— Собирайся.

Как он хвалил лапочку, и в яму спускался, и заглядывал под капот, и вставал на колени.

— Двенадцать лет! Просто не может быть!

До того зять растрогал, что разрешил ему, русоголовому, Андрей Михайлович и руль снять, и захворавший подрулевой переключатель, правда, лечил, литолом кормил пищалку лично, но потом опять же позволил собрать, а после, самое-то главное, дал голубушку попробовать на ходу. Сели вдвоем и сделали кружок по двору.

— Ну, здорово! Просто не верится.

— То-то!

И такое настроение накатило, какое, может быть, и бывало только, когда мальчишкой лежал, затаившись, на крыше отцовской стайки.

— Вера, а налей-ка ты нам с зятком по пятьдесят под пельмешки. Грех такие есть по-сухому.

А ночью проснулся, и второй раз, и третий, и четвертый.

— Да что с тобой сегодня, Андрей?

— Спи, ничего.

Разве он мог рассказать, объяснить, передать ей или кому-то еще все отчаяние и мрак беспросветный этой навязчивой, обрывающей дыхание и сон картины — в сиреновом киселе рассвета на черной кожаной беседке зеленого, неповторимого, единственного на всем белом свете мотоцикла не ты сидишь, а какой-то другой, юный, во весь рот улыбающийся человек.

Два рассказа

РАЙ ПОД ТЕНЬЮ САБЕЛЬ

После канализации от одежды ощутимо отдавало дерьмом, но зато удалось не попасть в милицию.

Светало.

Он меня окликнул, когда вошла в арку. Издалека. Сидел на детских качельках. Сам, как ребенок, тщедушный, в бейсболке на нос. Испуганно:

— Враг! (Меня так зовут близкие друзья.)

— ...

Вскочил, подбежал, узнала. Дрожит:

— Мне нужно срочно коробку забрать.

— Муса? Ты в Москве? А с паспортом у тебя порядок?

Поднялись в скрипуче-громыхающей телеге старого лифта ко мне в скворешню под крышей. Я сразу в кухню, бульон разогревать. «А может быть, он хочет кофе?»

— Тебе чай или...

— Молока бы. Где коробка?

— Цела. Этот, тот, который ее приносил, сказал, будто бы Джохара, что его не убили, а?

— Тсс... Почему ты так поздно, вернее, рано? Я думал, уехала куда-нибудь на съемки.

— Я не работаю больше в кино. А сегодня ночью заборы красила.

— Малярша? Безумие. Ты?!

— Не-а. Лозунги коммунистические калякали из баллончиков.

— Народ спит — коммунист бдит?

— Сдуру влюбилась в одного зюгановца, вот и помогаю ему. Дернуло его нынче на воротах какой-то фирмы росписью заняться. Лай собак, охранники. Драпанули. Я шмякнулась, вскочила, бегу, в люке канализационном часа два сидела. Этого ублюдка потеряла. Потом бреду, страшно, а он живописует. Представляешь? Один в ночи, как призрак коммунизма. Ты-то как? Отвоевались?

Пока я вещала, он соорудил бутерброд. Жуя, кивнул — то ли да, то ли нет,— пробубнил сквозь пищу:

— Где коробка?

— Вон на антресолях.— Полезла, сняла.— И что это? Мыло, что ли?

— Ты смотрела?

— А вдруг взрывчатка!

— Это и есть тротил,— буднично произнес он.

Я чуть не ошпарилась бульоном.

— С ума сошел!

— Seriously, рыбу глушить.

Он непроницаем. Жует с деревянным лицом. Разозлилась:

— В Москве-реке глушить-то?!

— Шучу я, девочка. Не бойся. Ты сейчас отвезешь ее на вокзал, передашь

рыжей женщине в поезд, а я посплю пока.— И он тут же лег на пол, прямо в кухне, не раздеваясь, буркнув: — Я очень устал.

— А я? Я же всю ночь!..

Он едва слышно пролепетал название вокзала, номер вагона, добавив: «Пожалу...» — и уснул.

«В вихре миров...» — возникла вдруг в памяти давняя фраза. «Чего еще в вихре миров? Каких, блин, миров, блин, в вихре?» Конечно, взяла... мыло — и поехала.

Вспомнился девяносто первый год.

Перед пучком опять же угораздило влюбиться и, как всегда, до безумия. Макс работал звуковиком в телецентре, жил в Останкине, и восемнадцатого августа была наша первая ночь вдвоем. Наутро вышли: танки. Не поняли и веселились: «В честь нашей встречи парад!» Макс нырнул в телецентр, а я — в полудреме после бессонной ночи — на троллейбусе к метро и на «Мосфильм». На проходной киностудии взбодрилась, промчалась по коридорам и влетела к режиссеру на взводе: «Так! Почему автобусов до сих пор нет?! У меня массовки сто человек заказано!» А шеф белый: «Сдурела, что ли? Все хохмишь! Какие тут автобусы, тут такая массовка будет, только снимай...» Короче, кое-как прояснила я ситуацию, но не поверила: диво какое-то, херня, так не бывает! Оказалось — был. И первая мысль бабья: «А как же теперь наша любовь?!» Словно чувствовала разлуку. Поссорились мы с Максом. Я к политике равнодушна была, а он за Ельцина сумасшестввовал на баррикадах. И вот я ему говорю: «Тебе что, там интереснее, чем со мной, что ли?» Он выкатил глаза: «Ну ты ду-у-ура!!!» Я гордо ушла, но дома ревела. Хотела простить, а он успел там какую-то демократку подцепить. Вот тогда я впервые и посочувствовала коммунистам.

Как раз кинокартина подвернулась: «Рай под тенью сабель». Я услышала, что командировка предстоит, и захотелось свалить из Москвы. Ассистенткой по актерам я была, но о чем фильм, куда командировка — не поинтересовалась. В лабиринтах «Мосфильма» попадались люди в ужасе: «Зачем тебе это, мать, там ведь события!» А мне собственные события мир застали.

Еще и подруга со своим повздорила, два дня у меня жила, мы и пьянствовали с горя. Тут уж и лететь. К самолету едва не опоздала, пьянучая, как только контроль миновала. Плюхнулась в кресло, пристегнулась и ничего не помню. Будят уже невесть где. О! Вижу, что фотограф с фотоцеха «Мосфильма» трясет меня. Я с ним до этого никогда не работала совместно на картинах, только в лицо знала. Вышли. Ночь. Свежо. Захолюстно.

— Где это мы? — зевнула.

— В Нальчике.

— Японский городской! — Я мгновенно протрезвела: «На хрена я действительно сюда сунулась? Где это вообще на карте? А Максик там сейчас в тепле с этой...»

— Остальные-то где? — Оглядываюсь. — Группа-то съемочная?

— А мы одни.

— Как?!

— Вдвоем.

Я ничего не понимаю, тужусь вспомнить, осознать. Не могу.

— Вас как зовут?

— Арнольд Лев, — говорит любезно, присовокупляя: — Лев — фамилия.

Дяденька солидный: седины, очки в золотистой оправе, наодеколоненный дорогом.

— Нас встречать должны? — продолжаю допрос.

— Нет.

— Зачем мы вообще сюда?

Измумился:

— Искать Шамяля.

— Кто это?

— Точно не знаю. Некий древний кавказский герой. Исторический же фильм у нас.

— Ага. Ну про того-то Шамиля я слышала. А у кого деньги, документация? Переполошился до смерти:

— Как же? У вас! Вы за старшую!

— Спокойно.— Полезла в болтающуюся на плече сумку и нашла папку и денег кирпич, воспарила: — Гуляем!

Он забубнил:

— Я, видите ли, не пью. И в принципе... может быть, будем как-то поэкономнее, а то обратно не улетим.

— Улетим куда надо. Со мной не пропадете. Ладно, начинаем экономить. Ловите тачку, Левушка!

— Арнольд,— подсказал он.

— Извините, Лев... э-э-о-о, Арнольдик, извините.— И я свистнула частнику, единственной машине на всей приаэропортовой площади.

Поселились в старенькую гостиницу. Я кинула вещи, умылась, легла, но не спится. Неопределенность положения гнетет. Отправилась к фотографу, а он сидит на кровати поникший, едва не плачет.

— Что с вами!

— Знаете ли, парадоксально, но у меня сегодня день рождения.

Обомлела:

— Господи, да вы не Лев, вы ослик Иа! Чего такой траур-то? Сейчас организуем. А не врете? Как куда с кем из мужиков поедешь в командировку, сразу дни рождения, именины сердца...

— Честное слово! — И он предъявил паспорт. Не погнушалась, проверила. Точно, пятьдесят три мальчугану.

— Надо достать где-то,— направились я к выходу, но он смущенно произнес:

— У меня коньяк имеется. Французский. «Наполеон».

И подумалось: «Невероятно. Шамиль. Нальчик какой-то. Лев в гостинице, «Наполеон»...»

На рассвете я добродушно обняла фотографа.

— Ладно, подарка у меня нет, так что взамен я лягу с вами.

— Нет-нет, что вы, не беспокойтесь, мне не надо подарка!

Ушла к себе, проспала до трех дня, позвонила на студию, доложила о благополучном прибытии, а там заликовали: «Ах, так ты в командировке! А тут тебя режиссер обыскался, мы говорим: была только что, вышла». Спросила, каков хоть из себя этот Шамиль, а они: «Кто-кто? Ах, ну да... Каков-каков, тебя и послали выяснять. Пospрашивай в народе, поищи типажи в театрах, в общем, как обычно». И назвали города: Нальчик, Грозный, Орджоникидзе, Махачкала.

Фотограф сидел в номере при полной боевой готовности.

— А я с десяти утра жду.

— Молодец,— сказала я, но внутренне обозвала идиотом.— Идемте искать театр, познакомимся с группой.

Вышли на улицу.

— Знаете, Лев Арнольдич, эта дыра не для нас.— И кивнула на блеклый фасад гостиницы.

— Я — Робертович. А мне нравится, неброско.

— Вот именно, Робертыч. За казенные деньги нужно жить в роскоши.

Фотограф обреченно вздохнул.

Днем в Нальчике мне очень приглянулось. Из Москвы улетали в дождь, холод почти осенний. А здесь по-весеннему ласково. Зелень необычная. То есть тут она обыкновенная, а на московский взгляд своеобразная.

Театр носил имя Шогенцукова и располагался в сквере имени Шогенцукова. Сквозь аллеи и клумбы я узрела презентабельное здание отеля «Нарт».

— Вот туда мы переселимся сегодня же.

— Это, вероятно, «Интурист». Нас туда не пустят.

— Меня, — говорю членораздельно, — поселят, а следовательно, и вас, ведь вы же мой ассистент.

— Да уж, как Киса Воробьянинов при Остапе Бендере.

На проходной театра восседал Борис Ельцин. Естественно, не сам, а девяностодевятипроцентной похожести вахтер. Я тут же и сказала ему об этом, а он гордо поведал, что его так весь город и зовет с некоторых пор — Ельцин. «Вот, — говорит, — всю жизнь дуриком отбарабанил, а счастье только к пенсии и подвалило!» Стоит назвать во всеулышание этого необыкновенного человека: Иван Алексеевич Петров. Его я приказала первым сфотографировать как претендента на роль Шамиля, и мой Лев, издав сдавленное поскуливание, полез за фотоаппаратом.

Театр являлся кабардино-балкарским, но некогда единая труппа нынче враждовала по национальным причинам и разделилась. Другого здания городские власти не давали, и артисты собирались в театре через день: сегодня кабардинская сторона, завтра балкарская оппозиция. Причем обе труппы репетировали «Гамлета».

Случились балкарские сутки. Я спросила про Шамиля, и актеры принялись дружно уверять, что он был именно балкарцем.

— Снимайте всех подряд, — сказала я Льву, — пусть режиссер потом разбирается.

Вечером мы заявили с вещами в «Нарт».

— У нас свободен только президентский люкс, — насмешливо заявила администраторша и назвала цену.

— Пойдемте откуда пришли, — шепнул Лев, но я заартачилась:

— Может, вы боитесь, что я к вам приставать буду?

Лев смутился, и я заплатила.

Побежав по апартаментам, шмякнулась на огромную кровать.

— Как вы думаете, Лев, зачем президенту биде в ванной?

Лев подал голос из гостиной:

— Я буду спать на диване.

— Да спите где хотите! — оскорбилась я. — Захочу, мужика в два счета същю!

Ступила на балкон. Вид! Простор, озеро, дальние горы в малиновом закате. А из-за перегородки соседнего балкона:

— Ы! Дэвушк!

Грузины. Я к ним перемахнула. Пили, пели «Сулико» полночи, а потом, почув критическую развязку, я перелезла обратно. Эти следом лезут, ругаются гортанно. А тут Арнольд шагнул на палубу. В пижамных штанах, седые кудри на груди. Это я его сонного вытолкнула. Грузины, видимо, зауважали солидного человека и угомонились.

— Ну, знаете ли! Вы, знаете ли! — накинулся на меня в комнате Лев. Без очков его глаза казались совсем детскими.

— Простите, — растрогалась я. — Подобного больше не повторится.

— Честно? — доверчиво выпятил он губы.

— Честно! — искренне пообещала я, сама в тот миг веря сказанному.

На другой день мы обрабатывали кабардинскую труппу. «Шамиль — кабардинец», — убеждали нас. И Льву опять пришлось снимать каждого, включая женщин. Вдруг он наклонился к моему уху:

— Пленка кончилась, а остальную в гостинице забыл.

— Что ж вы так непрофессионально, Левушка?!

— Арнольд. Вы мне ночами отдыха не даете. Я за всю практику впервые что-то забыл.

— А фиг с ней, с пленкой! Снимайте так.

— Как так?

— Вхолостую щелкайте. Все равно режиссер кого-нибудь из известных артистов на роль возьмет.

— Зачем же комедию ломать?

— Тогда немедленно едем в Грозный.

Утром по радио как раз сообщили, что там комендантский час ввели.

И Лев продолжил сеанс, а я как ни в чем не бывало записывала паспортные данные.

В этот же день мы двинулись в Орджоникидзе. В рейсовом автобусе я разговорилась со стариком-осетином. Завела о Шамиле, а он и говорит, что тот был дедом его деда и что дома хранятся шамилевская сабля и портрет, писанный будто бы с Шамиля лично. Я захотела убедиться, старик пригласил, но удивился: «Разве вы его карточек не видели?» Отреклась. «А вон у водителя на стекле висит». Я побежала по бултыхающемуся салону к кабине. Маленькая иллюстрация, трудно что-то определить из характера: бурка, папаха, у овечьих пастухов такие же.

Старик жил в селении за Бесланом. Я толкнула спящего Льва:

— Высаживаемся!

— Что, уже Орджоникидзе?

— Лучше. Нам дико повезло. Быстрее!

Он помрачнел, но послушно слез.

Шестидесятилетняя внучка старика угостила нас домашним вином. Я отведала. Затем, помню, пыталась научиться доить ослицу, а Льва сватала за некую тетушку Чолпан, золотозубую красавицу. Портрет Шамиля и особенно сабля, висящие на ковре, эйфорически понравились, но семейство не желало с реликвиями расставаться, я даже на колени падала.

— Что вам в них?!

— Вы, русские, не понимаете.

— Я московский,— буркнул Лев.

— Он еврей,— гаденько хихикнула я.

— Что это значит? — заинтересовались присутствующие. Оказалось, они никогда не слышали о такой национальности. Праправнук старика порывлся в атласе и объявил:

— Это народ в Сибири.

Лев до этого не пил, а тут крупными глотками оглушил стакан, всхлипнув радостно:

— Вот где рай на земле! Как ваше село называется?

Ему сообщили, но он забыл и опять спрашивал, но так и не запомнил.

В Орджоникидзе мы прибыли за полночь. В гостинице мест не оказалось. Причем администраторша звонила в другие, но и там отказали.

— Придумайте что-нибудь для народного артиста,— указала я искоса на представительного Льва, переминающегося в сторонке.

— О, я его где-то видела! — воодушевилась администраторша.— Это кто по фамилии?

Я укоризненно хмыкнула. Женщина заговорщически произнесла:

— Девушка, я вам адресок дам. Хозяйка Тамара. Идите направо, прямо, двором, влево, блочная трехэтажка. Вот записочка. Скажете: от Тамары.

— К Тамаре от Тамары?

Она рассмеялась, будто я крайне удачно пошутила, хотя это было элементарное уточнение.

Отправились. Свернули с освещенной улицы в сомнительную подворотню, и Лев забеспокоился:

— Куда она нас направила?.. Убьют, ограбят...

— Изнасилуют,— съязвила я.

Тамара упорно не хотела открывать, наконец показалась через цепочку. Я располагающе лыбились, но ее, вероятно, успокоила внешность Льва. Отворила. Отечная бабища, натужно переступающая слоновьими ногами. С ходу и, видимо, привычно заныла на безденежье, болезни, безмужье.

— Мы с дочкой из Нагорного Карабаха беженцы, армяне, тут снимаем жилье, всего боимся, а выкручиваться надо, сами сдаем потихоньку.

Около часу в кухне выслушивали мы ее напасти. Я совершенно осоловела и неоднократно отключалась, а Лев неизменно выражал сугубое внимание. Зря, потому что хозяйка не предложила даже чаю якобы ввиду позднего часа. В конце концов дошло до укладывания.

— Только,— извинилась Тамара,— у нас для гостей одна кровать.

Лев настолько вымотался, что не возражал.

Прошли через комнату в смежную. Везде темно. Я решила, что Тамара экономит, и попросила включить свет, ведь заплатили мы достаточно. Оказалось, что-то с люстрой. Лев вызвался починить, влез на табурет и стал ковыряться в патроне. Внезапно вспышка, грохот и вскрик ужаса. Через секунду возникло электричество. Лев по-прежнему возвышался на табурете, а Тамарина туша лежала на полу. Женщина, рыдая и держась за грудь, приподнялась. Девочка лет тринадцати в ночной рубашке помогла ей встать, бормоча виновато:

— Дома все время стреляли, мама до сих пор не отвыкла.

— Беда,— тяжело вздохнул Лев, а я на постель взирала. Узкая железная койка с никелированными шишечками, будто из реквизита мосфильмовского выуженная.

Легли. Сетка плюс ко всему продавленная. Нас со Львом друг к другу скатывало. Он чуть-чуть покарабкался к краю, поцеплялся, но вскоре смирился и заснул, придавив меня.

Утром Тамара сияла. Радовалась, что мы не проходимцы, а честно переночевали. Наградила отлично заваренным чаем.

И опять мы отправились искать театр. Нашли. Имени Хетагурова. И там я случайно встретила знакомого актера. Он раньше джигитовку работал в цирке. Некоторое время я и в цирке жизнедействовала. Конечно, немедленно пообещала роль Шамиля именно ему.

— В нашем театре,— говорю,— хорошо, афиши висят, спектакли идут, а в Нальчике не играют больше.

— Тут тоже скоро заварится.

— Шамиля на вас нет!

Он кивнул, спохватился вдруг:

— А ты знаешь, что Юрка Петухов в Грозненском цирке застрял?

Сердце заколотилось. Я бешено была влюблена в Юрку, успела давно напрочь забыть, но после упоминания мгновенно вспыхнула, будто только им и жила годы разлуки.

— А мы как раз сегодня едем в Грозный.

Льва словно острой зубной болью скрутило.

— Он позавчера звонил, цирк закрыт, а выбраться не могут, товарных вагонов не дают. Спрашивал, не помогу ли своим ходом животных отвести, но я после травмы не ездук.

Юрка работал с джигитами. Белобрысость красил басмой, чтобы хоть как-то походить на горца, но веснушки и курносый нос выдавали в нем рязанского парня.

Актера позвали на репетицию, а я затеребила Льва:

— Сваливаем.

— Но мы даже не снимали. Зачем же мучились?

— Сон на мне для вас в тягость?

Лев растерялся, и я его увела.

И вскоре мы катили на «Иж-Юпитер-3» по направлению к Чечено-Ингушетии.

— Шибче, шибче! — вопила я, сидя в коляске.— Наддай, Шамиль!

Пацана-мотоциклиста Шамилем звали. А Лев то и дело прикусывал язык, трясясь позади рулевого:

— Будьте любезны, потише... кляц!

Грозный — после Нальчика и Орджоникидзе — производил угнетающее растрепанное впечатление. Те чистенькие, в цветах, а здесь будто после

окончания торговли на оптовом рынке. Может быть, люди уже предчувствовали войну, разруху, смерть и их не ужасала замусоренность.

Путь преградила похоронная процессия, и мы высадились.

— Покойник к счастью,— бросила я Льву, но он с таким укором поглядел на меня, что сделалось обидно.— Примета народная!

Мимо медленно проехал грузовик в венках и с гробом, за ним еще грузовики с венками и скорбными пассажирами, а далее растянувшаяся в колонну толпа.

— Кого так торжественно хоронят? — обратилась я к стоящей на тротуаре женщине в люрековом платке.

— Он сам выбросился из окна,— так резко произнесла она, будто с ней спорили.

— Неужто? — поддержала я ее пыл. Лев процедил: «Идемте, пожалуйста»,— но я слушала тараторящую женщину. В общем, покойный был чуть ли не главой местной администрации, но назначенец из Москвы, и вот к нему в кабинет явились чеченцы с мирными инициативами, а он возьми да и кинься из окна.

— Забили они его до смерти,— проговорила вторая женщина в люрековом платке,— потом кинули, будто самоубийство.

— Врешь, ингушка! — бросила ей первая, и обе женщины вступили в перепалку.

А мы со Львом отправились в цирк. Я трепетала в ожидании встречи с некогда любимым, но обнаружилось, что лошадей еще вчера увели.

— Они тут все стойла изгрызли от голода.

— А куда?

— Куда-то на пастбище, откармливаться.

— Идемте в театр,— взяла я Льва под руку.

Собственно говоря, не особенно он мне был нужен, этот Юрка Петухов, просто хотелось похвастаться, что денег полно и фотограф в распоряжении. А то, когда я за ним бегала, всего лишь конюхом служила, а он артист и выпендривался: «От тебя навозом пахнет!» Дурак, у лошадей не навоз, а каштаны, туберкулезникам дышать прописывают.

Вокруг театра дощатый забор. Отыскали проход, на вахте едва докричались дежурного. А дедок спал прямо на банкетке у двери. Глушня, а мы его неподвижного за ворох тряпья приняли.

Объяснились, и он весело сообщил:

— А никто не придет.

— Ремонт, что ли?

— Вражда. Труппа у нас чечено-ингушская, разъединились.

— В Нальчике тоже отдельно репетируют.

— Наши давным-давно и не репетируют, и не играют ничего.

— Чем же занимаются?

— Воевать готовятся.

— И актеры тоже. Вы думаете, будет война?

— А чего тут думать, не знаю.

— У вас имеется Муса Дудаев? — произнес вдруг Лев. Припомнил, что однажды на какой-то мосфильмовской картине снимался этот актер.— Мы с ним сдружились даже,— заключил он.

— Он не родственник ли президенту Дудаеву? — немедленно смекнула я.

— Без понятия. Это лет пятнадцать назад происходило, и никаких иных Дудаевых я тогда еще не знал.

Я попросила у вахтера список актерских телефонов и обнаружила некоего Мусу Дудаева. Набрала номер, услышала мужской отзыв и сунула трубку Льву. Тот алекнул, и беседа состоялась. Повезло, это был тот самый Муса. Немного погодя я вновь взяла трубку, и в итоге нас пригласили в гости.

Семейство актера Дудаева проживало в собственном доме с садом. Под яблонями и располагался шикарно накрытый стол.

— Ха-ха! — алчно хлопнула я в ладоши.

Лев густо покраснел, но Муса лишь улыбнулся большими кофейными глазами в густейших черных ресницах.

В процессе застолья я спросила про Джохара Дудаева. Действительно, родственники.

— Все Дудаевы родственники, — пояснил он. — И все чечены.

— Это слишком расплывчато. А так, чтобы запросто перезвониться, поболтать о том, о сем вы с ним можете?

— Мы не кумушки, чтобы болтать.

— Извиняюсь, я к тому, что познакомить насчет Шамиля можете?

При упоминании заветного имени Муса потеплел, долго что-то обдумывал, а потом нерешительно заговорил:

— Сегодня ночью в горах будет сбор, такой ритуал, это вам сложно разъяснить, но можно увидеть Джохара. Только там женщинам запрещено появляться.

Всякое препятствие порождало во мне протест:

— А если переодеться в мужское? У вас грим должен быть.

Муса отрицательно качал головой, а Лев взмолился:

— Поедьте в Махачкалу!

— Утром, — отмахнулась я и привязалась к Мусе: возьмите да возьмите. Уломала.

— Только вы тихонько стойте в сторонке, где я укажу.

Горячо пообещала.

— Я отказываюсь сопровождать вас, — заявил Лев. — Фотоаппарат свой не пожалею, отдам, а в аферу не сунусь.

— Пожалуйста! — фыркнула в ответ.

Муса принес мне одежду сына, на голову водрузил папаху. Для пущей мужественности я подрисовала кокетливые усики. Лев уныло следил и не выдержал:

— Нет, это невозможно. Я с вами пойду.

— А, завидно!

— Чушь! Просто нельзя вас одну к стольким мужчинам запускать, тем паче в горы.

Муса хлопнул его по плечу:

— Шамиль!

Лев дрожащими пальцами протер очки.

Ближе к ночи, взяв старинную саблю («Это часть ритуала», — было сказано гордо), Муса повез нас в неизвестность на «Москвиче», но вскоре мы пересели в «Жигули» и правил уже другой Муса, тоже актер и, возможно, также Дудаев.

Высадились спустя час в кромешной тьме и, присоединившись к троице поджидавших мужчин, экипированных саблями, стали подниматься по тропе. Местные шли быстро, а мы со Львом скоро выдохлись, но не роптали.

Остановились, и как раз появилась луна. Обрисовалось плато с кое-где горящими кострами, мелькали людские фигуры.

— Никуда ни шагу! — И Муса поспешил прочь с другим Мусой. Лев стоял, как столб, а я от нетерпения наворачивала кольца вокруг него. Внезапно исчезла луна, и я дезориентировалась.

— Лев, где вы?

Молчание.

— Арнольд Робертович!

Услышала рядом сопение и шагнула на него. Столкнулась с человеком, и он сунул мне фляжку. Я отпила и машинально поблагодарила. И сразу несколько галдящих окружило меня: «Русский?! Кто?! Откуда?!» Завернули локти и грубо повели. Я отчаянно твердила про Мусу Дудаева, «Мосфильм», Шамиля и вдруг предстала перед Джохаром Дудаевым. Луна опять засветила. И я подметила, что подрисовала себе точно такие же усики, как у президента.

Дудаев стремительным пристальным прищуром окинул меня и удивленно улынулся:

— Девушка?

Державшие освободили мои руки и осмотрели целиком, как диковину. Один из них сорвал папаху с моей головы, и по плечам рассыпались светлые пряди. Гам, гогот. А я вновь залепетала про кино, командировку, Шамиля. Подбежал Муса и заговорил часто-часто. Джохар кинул ему отрывистую фразу, и тот поник.

— Нашли Шамиля? — с легкой иронией произнес президент.

Я пожала плечами.

— Вы его что, в цирке искали? — усмехнулся он.

Я пробурчала о лошадях и зачем-то спросила:

— Вы цирк любите?

— Нет. И никогда не ходил. Я родился не для развлечений, а чтобы жить, жить свободно, добывать свободу. Наш народ воины, а не клоуны.

— Я ничего такого и не имела в виду, — пробормотала обескураженно и залепетала про Василия Теркина, бодрящую шутку в бою, фронтовые концертные бригады и вдруг предложила показать клоунаду. — Только нужен круг тринадцать метров, как арена.

Дудаев потворствовал порыву.

Немедленно выложили заблеставший в лунном сиянии круг из обнаженных сабель. «Надо же! — обалдела я, замерев на краю сабельной арены. — Вот так премьера! Никто никогда не поверит...» И никак не могла решиться начать представление. Звезды мерцали, кометы падали. Все ждали, а я окаменела. Дудаев едва слышно проговорил:

— В вихре миров...

И я, идиотски хохоча, кинулась в серебристость сабель, нарочно упала, вскочила и еще опрокинулась, и прочее.

Смеялись. Сверкали зубы, глаза. Я же наблюдала лишь за Дудаевым. Он сдержанно улыбался. Вдруг подумалось: «Он единственный похож на Шамиля».

Закончила. Запыхавшаяся подошла, но Дудаев успел лишь тихо, будто самому себе, сказать:

— Я тоже клоун.

Тут к нему подбежали с каким-то срочным сообщением, и он забыл обо мне. Муса возник рядом:

— Пойдем.

— До свидания! — на всякий случай произнесла я Дудаеву, но он не услышал.

Мы пошли. Лев как ни в чем не бывало присоединился к нам.

— А там лошади пасутся, я расслышал слово «цирк»...

И я помчалась туда, куда он кивнул, и увидела лошадей, а потом Юрку Петухова, и шархнула ему на грудь, и расцеловала его, и расплакалась. А его чуть инфаркт не хватил. И он поехал с нами в Махачкалу и рассказывал, что Шамиль на самом деле русский мужик с Рязанщины и здесь прижился. Затем за мосфильмовский счет долетел до Москвы и все это время удивлялся такой нашей встрече, и твердил, что это, наверное, судьба, и не надо больше расставаться, но по прибытии в аэропорт отошел на минуту за сигаретами, и с тех пор я его больше не видела.

И вот все это мне вспомнилось, пока я ехала в метро с подозрительной коробкой на вокзал, чтобы передать ее рыжей женщине. «А вдруг там настоящего тротил?!» — И я решила оставить поклажу незаметно на сиденье, а Мусе потом чего-нибудь наврать. Но пассажиров набилось полный вагон, и все такие бдительные. Я сошла на «Комсомольской» и обратилась к старушке:

— Бабуль, тебе мыло хозяйственное надо?

— Ишь ты, да я рекламным порошком стираю, по телевизору показывают.

— Я же даром. А еще лучше ты его милиционерам отдай.

Старушка хитро подмигнула мне, взяла коробку, и я стремительно пошла,

но недалеко. Остановил мент, спросил документы и с ленцой препроводил в милицейский закуток. А там проклятая старушка сидит, и коробка моя на столе. Пожилой лейтенант уже нюхал бурые куски.

— Это что? Мылом простым пахнет, тухлым.

— Мылом?! — отлегло у меня, и я накинулась на старушку: — Эх ты, бабушка! Я из человеческих побуждений!

— От добра добра не ищут,— изрек пожилой милиционер и дал знак молодому. Тот выставил нас вон вместе с коробкой.

— Давай мыло-то,— заюлила старушка. Я смерила ее уничижительным взглядом. Она засосюкала пуще: — Не дашь, дочк?

— Бери,— смилостивилась я, подумав, что к поезду все равно опоздала.

Возвратилась в квартиру. Мусы как не бывало. Даже записки не оставил. Я воспрянула духом, а он вдруг выходит из туалета:

— Передала?

Кивнула поспешно и скорее сменила тему:

— Как там ваши актеры?

— Погибли.

— Как? Весь театр?

— Только я остался. Театр пустует, а от цирка даже здания нет.

— Знаешь, вам нужно начать восстанавливать цирк.

— У людей нет крова.

— Один мой знакомый циркач говорил, что миром правит Главный Клоун, а цирк — это веселый алтарь, где ему поклоняются. Значит, спасение необходимо начинать с цирка. Возьмитесь всем миром и восстановите Храм Смеха. И тогда вернутся клоуны, и верблюды, и воздушные гимнасты, и танцовщицы на проволоке, и зазвучит смех детей. И будет мир.

— Метафора,— опустил он голову.

У меня внезапно вырвалось:

— Что все-таки за мыло такое лежало в коробке?

— Не простое,— неожиданно развеселился он.

— Золотое, что ли? — нервно усмехнулась я.

— Бриллиантовое. Там внутри камешки. Я вложил в них на период войны все свое имущество. Возможно, теперь отдам на восстановление цирка, ведь вся моя семья погибла, а мне одному много не надо.

«В вихре миров...» — пронеслось в мозгу, и я стала мечтать, что, может быть, все-таки стоит завербоваться куда-нибудь к чертям собачьим, например, рыбообработчицей на плавбазу в Сингапур, а?..

КУПЕЛЬ

И тут Федулова ей напомнила. Про подвал. Вернее, Семплиярова и не забывала, просто об этом как-то и не думала.

— Помнишь, там этот колодец, еще не от храма, а от монастыря, кажется, остался, его потом завалило, помнишь? — Федулова, между прочим, гадала ей на картах. А когда раскладываешь, тем более на червонного короля, отвлекаться грех. И Семплиярова не ответила.

— Ты еще туда в акваланге залезла и... того, с концами. Мы решили, ты утопла в подземных водах.

— Конечно, и молчок,— обиделась Семплиярова за давнее.— Скрыть хотели, предатели.

— Да-а, подло. Но ты через двое суток-то ведь объявилась. Причем со стороны...

— Километра на три ухнула. Ниже, наверное, Москвы-реки. Необозримые пустоты. Плутала, плутала, пока по какому-то другому ходу не докарабкалась до Обыденского переулка, там, где церковка маленькая... Ходы булыжником вымощены, ступени склизкие, замшелые, а где завалы, топи...

Федулова бросила карты.

— Тут все благоприятно, любит он тебя, снюхаетесь! А у меня вот к тебе, Игоревна, какое дело...

— Снюхаетесь... Что, собаки, что ль?!

— Ну, пустое, сойдетесь, значит. Постель точно выпала — девятка червей, клянусь! Так вот, о главном...

И Федулова начала долгий путаный рассказ. Сожалела об ушедшей юности, когда они обе работали в бассейне «Москва», проклинала вновь возведенный храм Христа Спасителя.

— Ты же верующая, — перебила насмешливо Семплиярова. — Радоваться должна. Это мне, закоренелой атеистке, обидно.

— Ра-до-вать-ся?! — Федулову будто оскоминой свело. — Никогда! Это безбожное дело! Показуха. По России тысячи разрушенных церквей, монастырей обветшалых, нищета вообще, а тут отгрохали махину на миллиарды долларов. Все ради Запада. Так что это дьяволово детище, происки Сатаны!

Семплиярова равнодушно вздохнула:

— Бассейн, конечно, жалко. Три года я там отработала... да и с детства бегала купаться.

— Жалко? — Федулова прищурилась и как бы небрежно добавила: — Можно восстановить.

— Как это восстановить? Где-то еще? Это не то будет.

— Нет. На старом месте, где и прежде.

Свистанул неожиданно чайник. Девушки непроизвольно вздрогнули. Семплиярова заварила прямо в чашках. Одноразовые пакетики. Жасмином запахло.

— Лимон будешь?

Федулова шлепнула нервно ладонью о ладонь.

— Овца! Не в лимоне счастье! Жизнь проходит, а что мы, спрашивается, в ней совершили значительного? Я в школе училкой физкультуры, а ты вообще докатилась... Мастер спорта международного класса по плаванию — и вдруг роды в воде принимаешь!

— А чего ты еще хочешь-то? Рекорды устанавливать? Дорогая, нам по тридцатнику. Что ты вообще с цепи сорвалась? Сто лет пропадала, вдруг вваливаешься и орешь. Я нормально живу. У меня сын в Англии обучается, между прочим. Думаешь, Хлюпин помогает? Фигушки, сама тяну! Теперь и на личном фронте кое-что светит, ничего мужик, с пейджером...

— С пейджером! Семплиярова, и это ты? Сорви-голова была, романтик. Какой дурак полез бы в колодец-то этот протухший, кроме тебя?

— Почему дурак?

— Ну, дура... Рая, давай восстановим бассейн.

— Слава Герострата покоя не дает?

— Нет. Мне будто глас свыше был. Раз — и озарило! Это воля Божья снизошла. Тайно совершим святое дело... совершишь. Спустишься под монстра, ну и...

— Это я — ну и?!

— А кто же? Ты ведь там под низом-то шастала. Взрывчаткой обеспечу, мой же — пиротехник.

— Там достаточно хлопнуть в ладоши — пол-Москвы рухнет... Да никуда я не полезу! Тогда мне двадцать лет было, а теперь сына одна рашу, да и бред это, несерьезно. Как дети, балуемся. Может, еще ложный вызов пожарки предложишь или псевдобомбу в метрополитене? Пей чай, пожалуйста.

Федулова засопела, поднялась.

— Уж спасибо! Сама давись своим чаем! Не ожидала я от тебя такого. Брюзжишь, как бабка дряхлая! С пейджером... Прощай!

Насупившись, прошагала в прихожую, напяливать сапоги начала. Семплиярова включила ей свет, но не останавливала. Федулова, стоя к приятельнице спиной, замоталась шарфом, натянула плащ.

— Ну что? — сказала, не оборачиваясь. — Не передумала?

— И не собираюсь ни о чем таком подобном думать.

Федулова, чертыхаясь, открыла замок, вышла на лестничную площадку, вызвала лифт. Искоса бросила:

— Хорошо. Утро вечера мудренее. Завтра зайду.

Семплиярова, не дожидаясь ее отъезда, затворила дверь, приложилась к глазу. Федулова широко зевала и почему-то пристально рассматривала потолок. Шагнула в подошедшую кабину.

«Вот навязалась-то, идиотка, честное слово», — только эта мысль и преследовала Семплиярову весь вечер. Включила телевизор, чтобы отвлечься, а там, как специально, передачу про диггеров показывали — любителей путешествовать по канализационным коллекторам и прочим закоулкам преисподней.

И заснуть Семплияровой никак не удавалось. Вдруг нахлынули воспоминания. Сперва представилось, и так ярко, будто вчера произошло, как в студеный зимний день бродила она в овчинном тулупе и кроличьей ушанке с завязанными под подбородком тесемками по засыпанному снегом бортику бассейна «Москва» в своем пятом секторе, постукивала валенками в галошах друг о дружку и, глядя на густой, как дымовая завеса, белый пар, в котором не видела ни купальщиков, ни самой воды, слыша лишь изредка голоса, удивлялась: «Охота же им в такую стужу барахтаться, сидели бы дома в горячей ванне!»

Внезапно из тумана раздалась истошные вопли:

— Утонула! На помощь!

Семплиярова было рванула тулуп, да вовремя опомнилась — этот сеанс в воде дежурило братья-двойняшки Пуховы: Васька и Владька. «Да ведь они же в подвале, спят!» — екнуло в сознании. И Семплиярова неуклюже побежала к подвалу. Братья нынче ночью подхалтуривали где-то на разгрузке вагонов и сейчас отсыпались. Сеанс начался — в воду не полезли, понадеявшись, что обойдется без происшествий. А в непроглядности пара начальство и не заметит их отсутствия. Семплиярову же предупредили: чуть что — звать. Вот она и скатилась с грохотом по крутой лестнице.

— Ребята, подъем, кто-то тонет!

Парни, однако, не спали. Оба находились в рабочем обмундировании, то есть плавках. Владька, белесый, с крысиным личиком, сидел в углу на корточках, а из щели торчала раскрасневшаяся вснушчатая физиономия его курного, рыжекудрого брата Васьки.

Владька тут же кинулся опретью к выходу, а Васька застрял в щели.

— Ты посмотри, — засипел он, — чего мы тут обнаружили, подземелье какое-то, дверь старинная чугунная.

Но Семплиярова заторопилась наверх.

Владька уже из воды поднимался с морщинистым старушечьим телом на руках. Вдруг поскользнулся на обледенелых каменных ступенях и шибанулся с утопленницей оземь. У старухи выскочила изо рта пластмассовая челюсть и, как в диснеевских мультфильмах, клацающая, проскакала в сторону, нырнув лягушкой в сугроб.

Владька быстренько вскочил, подцепил жертву и засеменял в фельдшерскую. Окликнул Семплиярову:

— Челюсть подними!

Семплиярова приблизилась к лежащей в сугробе челюсти, извлекла носовой платок и брезгливо, как живую, взяла ее.

Из бассейна, скользя по ступеням, карабкалась пожилая купальщица с клюкой. Семплиярова рывкнула:

— Здесь запрещено выходить! Спускайтесь обратно и гребите к выплыву.

Цифра пять над нашим.

— Моя подруга...

Семплиярова сунула ей искусственные зубы.

— Гребите, говорю вам, к выпльву. Подруге окажут высококвалифицированную помощь, не волнуйтесь.

И припустила в медпункт.

— Ну чего она? — выпалила с ходу.

— Она труп,— лепетнул мокрый и дрожащий Владька.

Фельдшерица Тамара Потаповна, в былом фронтовая санитарка, печально кивнула:

— Увы, отплавалась.

— Это, может, когда ты ее, Владька... — начала Семплиярова, но Владька испуганно ощерился и вытянул девушку в коридор:

— Тихо ты, не трепись. Никто не видел, как я упал. Она, кажись, уже мертвая была, не дышала.

— А вскрытие? Если в легких обнаружится влага, то утонула, а если...

— Да кто чего вскрывать будет! Ей уже зашкалило за девяносто! Чертовы старухи... Им пора давным-давно в землю, а они все в воду!

Вскрытие все же состоялось, и Владьке повезло: старушку еще в бассейне хватил инфаркт, там она и скончалась.

Владька ликовал:

— Вот видишь, Семплиярова, я не убийца!

Семплиярова кивала язвительно:

— Но если бы она там не померла, ты бы ее точно добил. Спасатель!

И Владька мрачнел:

— Лед бы надо скалывать чаще...

Семплиярова помалкивала о случившемся, но вскоре про историю с выпрыгнувшей челюстью знал весь бассейн. Владька сам же и раскололся. Впоследствии и он, и Семплиярова рассказывали о случившемся без всякого ужаса, а со смехом даже, как анекдот, чего-нибудь и привирая по русской натуре.

— А этот к бабке и прильнул, завалил, а сам сверху,— издевалась Семплиярова.

Владька ярился:

— Чего ты мелешь? Я рядом упал, даже очень далеко...

— Га-га-га!!! — ржали парни-спасатели.

— А сама-то стоит, глаза вытаращила, за челюстью следит, та клацает.— Владька ладонью изобразил это клацанье.— А сопля из ноздри течет — и не замечает. И прямо в рот раззявленный!

В свою очередь, злилась Семплиярова:

— Какая еще сопля? Я сроду насморком не страдала. В милицию заявлю на тебя, посадят, будешь знать, как швыряться старушками!

— Вместе сядем, ты ж сообщница. Чего сразу молчала?

Вот в таком духе вспоминали, но иногда и без перепалок.

А про обнаруженную в подвальном подполье чугунную дверь как-то и позабыли в суматохе.

Семплиярова только летом уже про нее вспомнила, и то случайно наткнувшись.

Возможно, это было не обязательно летом, а поздней весной или ранней осенью, просто в какой-то погожий денек.

Закрыли бассейн на три санитарных дня. Спустили воду и драили позеленевшие от тины плитки щетками с хлоркой и соляной кислотой. Каждый работал в своем секторе. Семплиярова тогда уже влюбилась в Хлюпина, а тот обслуживал первый сектор, спортивный, отделенный от других,— и Семплиярова его не видела, поэтому она безрадостно вазюкала шваброй по кафелю и ревновала: «Небось с этой Клюевой заигрывает!»

Солнце светило ярко, и огромная оголенная чаша бассейна ослепительно бликовала. Женщины запели. Позвали и Семплиярову:

— Подтягивай, Раиска!

Но Семплиярова стукнула с досадой шваброй, и черенок треснул. Пришлось плестись в подвал за новым. Там она обратила невзначай внимание на щель в углу и вспомнила зимнюю историю. «Что там за чугунная дверь?» Протиснулась с трудом в проем, угадала, что перед ней подполье, но ничего не увидела в крошечной темноте. Во мраке прошуршало, и Семплиярову передернуло: «Крысы!» Она побыстрее вылезла обратно, отыскивала черенок и убралась прочь.

Вечером они ходили с Хлюпиным на дискотеку, и там Семплиярова поведала ему про яму. Хлюпин вмиг загорелся:

— Да ты что! Еще зимой! И вы молчите!

— Забыли как-то.

— Про челюсть дурацкую помните, а о таком забыли! Это же археологическая находка. Возможно, открытие века.

И он хотел немедленно бежать и начинать раскопки, но Семплиярова уговорила его резонными доводами: почти ночь, бассейн закрыт, да и без фонаря в подполье соваться бесполезно.

На другой день Хлюпин принес шахтерскую каску с фонариком. Где уж достал, неведомо. В подвал двинулись вчетвером: братья Пуховы, Семплиярова и Хлюпин. Раздолбили ломами щель и попытались опустить в подполье стремянку, но она не достигла дна.

— Я тогда по шлангу слезал,— сказал Васька.

Хлюпин воспользовался шлангом.

— Метров семь! — крикнул из глубины. И гулкое эхо утробно размножило его голос.

Шахтерская лампочка светила, и верхним отчетливо зрилось, что творится внизу. Хлюпин обнаружил в стене массивную, наполовину замурованную тройной кирпичной кладкой дверь.

— Кидайте лом!

Сбросили лом. Кладка оказалась прочной. Хлюпин размашисто долбил минут двадцать и весь взмок. Отчаялся:

— Пуховы, спускайтесь!

Пуховы с неохотой подчинились. И тоже по очереди стали долбить кирпичи.

— Тысяча семьсот какой-то год,— между тем различил Хлюпин литую вязь на двери.— Это еще до храма. Тут ведь монастырь стоял.

— Женский? — захихикали Пуховы.— Может, за дверкой-то спальенка ихняя?

— Мужской! — отрезал Хлюпин.

Застывший засов тоже не поддавался, долбили и его, и саму дверь по стыкам. Наконец она дрогнула. Вставили лом в щель, налегли втроем — лом погнулся.

— Рая, кидай еще ломы!

Семплиярова скинула три штуки. Еще один погнулся, а когда монументальная чугунная преграда, жутко заскрипев, тронулась с места, Семплиярова не выдержала и по шлангу съехала к остальным.

Хлюпин направил свою каску лучом вглубь, высвечивая пространство. Холодной затхлостью веяло оттуда. Круто вниз по узкому ходу вели высокие булыжные ступени и упирались в земляную стену. Хлюпин шуткнул: «Коммунисты, вперед!» — и пошел в неизвестность. Достиг видимого предела и воскликнул:

— Лестница резко свернула!.. Опять столько же вижу ступенек еще глубже!

— Возвращайся! — вскрикнула Семплиярова.

Но Хлюпин не послушался. Огонек его лампы еще какое-то время брезжил, но вскоре исчез. Из-под земли глухо донеслось:

— Тут еще поворот вниз!

Вернулся он спустя час. Перепачканный, усталый, но довольный.

— Десять поворотов по двенадцать ступеней и все к центру земли. Сырые, кое-где прямо дождь с потолка, причем ледяной. В финале комнатуха, как мешок, а в полу люк, покрыт кругляшом из вот таких толстенных брусков, еле свернул, аж, кажется, плечо потянул, а под ним колодец. Метров пять видится каменная кладка, а дальше плещется вода.

— И всего-то,— разочаровались Пуховы.

— Не всего,— вспыхнули глаза Хлюпина.— Это еще лишь только! Проникнем и туда. Правда, Раечка?

И Хлюпин впервые нежно и крепко обнял ее, стиснул так, что она обомлела. Промолвила:

— Да-а-а...

В тот момент Семплиярова готова была хоть в самое земное пекло спуститься, лишь бы с ним вдвоем.

Семплиярова вспомнила, как познакомилась с Хлюпиным. В один из первых дней, как устроилась работать в бассейн «Москва».

Это случилось таким ранним утром, что практически еще и ночью. Первый сеанс начинался в шесть тридцать, а Семплиярова спустилась в воду загодя.

Бесшумно плыла на спине, разглядывая чернильное небо. Равномерно закидывала руки за голову, плавно проводила ими под водой, вскидывала опять. Приятно, когда нет еще публики, можно вот так расслабиться. Вдруг уперлась во что-то там, где не должно было быть препятствия. Приняла вертикальность. Румянощекий парень с интересом смотрел на нее.

Это и был Хлюпин, но Семплиярова еще не догадывалась об этом.

— Вы что тут делаете, девушка? — строго сказал он, что не очень-то соответствовало его достаточно юному возрасту.

— Плаваю,— дерзко ответила она.

— Вижу, что нарушаете. Еще рано. Давайте-ка к выплыву. Чем вы лучше прочих?

— Я работница бассейна.

— Ой ли? Я всех знаю, уже год тут.

— А я недавно. В пятом секторе спасательница.

— Хм, да? Коллеги, значит? Пойду узнаю. Если врешь, смотри, выловлю.— И он стремительно поплыл к воротам пятого сектора.

Семплиярова опять легла на спину и продолжила движение. Небо быстро светлело. «У него глаза такие же,— подумала, глядя вверх.— А щеки, как угли на морозе, пылают... И вообще!» Что вообще, она не заключила, но вдруг почувствовала необыкновенный прилив сил, перевернулась на живот и ударилась в баттерфляй.

Дня через два, когда дежурила в воде на одном из дневных сеансов, приключилось нечто забавное.

Семплиярова просто покоилась на водной глади, положив локти и подбородок на пластмассовую гирлянду, отделяющую пятый сектор от четвертого. Сегодня это был уже ее третий спуск, и плавание изрядно надоело. Семплиярова наслаждалась бьющей из придонного отверстия теплой струей. Но вдруг почувствовала на животе чью-то ладонь. Над ухом прозвучала вкрадчивая хрипотца:

— Не умеете плавать? Я с удовольствием дам несколько уроков. Животик чуть-чуть подтяните, ягодицы напрягите...

Семплиярова узнала в крижистом, в возрасте уже дядечке спасателя из второго сектора. Сообразила, что облачена не в специальную шапочку спасателей, а в обыкновенную резиновую и поэтому тот не признал ее за свою, хотя и встречал на берегу в одежде. «Да он же лапает меня!» — шокировалась и растерянно забормотала:

— Нет-нет, спасибо, я сама...

— Эй! — раздался вдруг насмешливый и будто бы уже слышанный Семплияровой молодой мужской голос.— Да это же наша девчонка!

Подплыл давешний ее румяный гонитель.

— Как так наша?! — Непрошенный тренер нырнул, исчезнув напрочь.

— У него жена в бухгалтерии сидит. А этот такой хлюст, каждый сеанс учит девочек плавать. Меня Тарасом зовут. Хлюпин Тарас.

Семплиярова подумала: «Как Тараса Бульбу»,— и хотела это сказать вслух, но припомнила, что и Шевченко тоже Тарас. В общем, замешкалась. Спихватилась:

— А меня Рая.

— Ты необычная девушка.

Семплиярова и сама подозревала подобное, но все же спросила:

— Почему?

— Ну, обычные обычно говорят, когда я называю имя, мол, как Тараса Бульбу зовут, а ты лишь загадочно улыбнулась.

Семплиярова прыснула и, не удержавшись, рассмеялась, тут же и признавшись, что первая мысль по поводу его имени как раз и была про Бульбу. Хлюпин тоже засмеялся, а потом сказал:

— И все равно необычная. Обычная бы не призналась в оплошности.

— А обычные говорят, что ты на Алена Делона похож?

— Нет.

— А ты и не похож!

Хлюпин слегка оскорбился, хотя, как потом выяснилось, его эталоном являлся Шварценеггер, и он усиленно качался, чтобы походить на голливудскую кинозвезду.

«И каким же в итоге оказался заурядным типом,— лежа в бессонной постели, размышляла Семплиярова.— Впрочем, как все они». И тем не менее годы в бассейне «Москва» вспоминались с наслаждением...

Бывало придет поутру на станцию метро «Кропоткинская», а выход в сторону бассейна еще закрыт. Спать до одурения хочется, аж все тело цепенеет. Привалится к мраморной колонне и ждет. Волной накатывается грохот — поезд подошел, у-у-у, тронулся дальше. Эти звуки ей как бы издалека. Задремывает стоя. Кто-то беседует рядом: «Вчера вода что-то холодновата была и хлорки переборщили». Первым посетителям уже не терпится купаться. Лязг, всеобщее оживление — отворили стеклянные двери. И толпа пробкой закупоривает выход. Семплиярова очухивается и досадует, что, как всегда, оказалась в самом хвосте, пихается, повышает тон:

— Да пропустите же, без нас-то все равно в воду никто не войдет!

Расступаются, дают пройти, шикают друг на друга:

— Пустите сотрудницу!

На улице бодрящая свежесть.

Семплияровой нравилось выходить из метро к бассейну. Радовали яблони в скверике и между павильонами. Радовали и шары невысоких фонарей. Радовал и даже по-особому будоражил хлористый дух огромной ванны.

Пружинистой походкой проносилась по правой стороне чаши к своему пятому сектору. Напротив спортивного касса, и туда толпится очередь — это те, кто не имеет абонементов, покупают разовые билеты. Возле шестого сектора топчутся мужчины, а вот и пятый — здесь женщины. Здравуются с Семплияровой: почти все постоянные посетители и работников знают в лицо.

Внутри павильона Семплиярова мельком оглядывала себя в большое зеркало на стене. Гардеробщицы развешивали номерки на вешалки. Семплиярова переодевалась в комнате отдыха — купальник, шапочка, плавательные очки. Куталась в махровый халат. Положено, разумеется, перед спуском в бассейн принять душ, но Семплиярова обычно пренебрегала этим, предпочитая тщательно полоскаться после, смывая хлорку. Впрочем, запах

дезинфекции стал давно неотъемлемой частью ее тела и волос — плаванием она занималась с семи лет. Кипятильником готовила кофе и, выпив граненый стакан крепкого ароматного напитка, шлепала вьетнамками к бассейну.

Семплиярова никогда не спускалась через общий выплыв. Нырала с бортика или сходила по тем самым обледеневающим зимой ступеням, где Владька Пухов поскользнулся. Рано утром обыкновенно не тянуло окунаться, особенно в мороз, но зато уж если поплаваешь на рассвете, то после весь день словно летаешь. И все же Семплиярова торжествовала, когда первый сеанс ей выпадало дежурить на бортике.

Бортик вообще всем спасателям был мил и люб и утром, и днем, и вечером. Как своеобразный памперс. Прохаживаешься себе взад-вперед и млеешь от ощущения сухой одежды...

Впрочем, тут Семплияровой припомнился леденящий душу эпизод, после которого она даже начала побаиваться бортика.

Однажды вот так вот фланировала вдоль кромки бассейна ненастным утречком. Во тьме мерцал микроскопический дождик. На Семплияровой была накинута солдатская плащ-палатка. Осень, в воде кисли желтые листья. Посетители еще не заполнили чашу, и по поверхности скользила одинокая утка.

«Черт побери,— взгрустнулось Семплияровой,— неужто всю жизнь пробрахтаюсь, как селезень, в бассейне этом?»

И тут случилось невероятное.

Водоплавающее взлетело, и Семплиярова непроизвольно проследила полет взглядом. Утка с кряканьем покружила над вышкой для прыжков в воду, находящейся в центре бассейна, и растворилась в предрассветной мгле. В самом этом факте, конечно, не имелось ничего удивительного. Утка, вероятно, направила крылья к зоопарку, где как раз приближалось время кормежки. Поразило Семплиярову другое. Сперва как бы немного смутило. Ей кое-что показалось подозрительным. Будто бы вышка с трамплинами несколько необычно выглядит. Изморось мешала разглядеть все как следует. Семплиярова приложила ладонь козырьком к бровям и пристально всмотрелась в... какой-то блеск над самым верхним трамплином, будто бы золотистый... И вообще это трепетало нечто шарообразное, неясное, призрачное, но делающееся все отчетливее, словно материализующееся. «Ба! Да там же крест!» — Семплиярова различила над шаром огромный сияющий крест. А шар раздувался и поднимался. Чертовщина какая-то! Семплиярову раздражал брызжащий в глаза дождь. Шар все более напоминал купол с проявляющимися из-под него прозрачными стенами башни с узкими высокими окнами. Семплиярова заметила, что и в других концах бассейна золотые шары с крестами, но поменьше центрального. Конструкция росла, густели краски. Семплиярова же будто бы находилась внутри. Вдруг прямо навстречу к ней по водному зеркалу двинулся размахивающий кадилом священнослужитель, такой же призрачный, как и гигантское сооружение, парящее в небе. Он неумолимо приближался и вот-вот неминуемо должен был столкнуться с Семплияровой, которую словно парализовало. В ужасе она зажмурилась. Почувствовала на мгновение жар в теле и открыла веки: никого. Оглянулась в панике и узрела удаляющуюся рясу — священник всходил к алтарю. «Пронзил меня насквозь!» — подурнело Семплияровой, и она в истерике завопила:

— На помощь! Караул! Тону-у-у!

Потом какие-то черные минуты навалились, и вновь обрела она себя лишь, когда кто-то усердно потряс ее за плечи. Как из забытья вырвалась и увидела: Хлюпин. Такой родной: в плавках, мокрый, румяный.

— Чего вопишь? Кто тонет?

— Я.— Семплиярова оглянулась и улыбнулась глуповато: стоит на бортике, в бассейне уже плещутся люди.

Хлюпин возмущился:

— Ну ты даешь! Я на вышке стою, вижу, ты смотришь на меня, рукой тебе машу, а ты как заорешь благим матом, я и сиганул с верхотуры.

— Извини. Не знаю, что со мной случилось.

— Ничего себе шуточки!

— Не сердись, я не нарочно, ей-богу.

— Отпущу грех за поцелуй.

И Семплиярова без раздумий чмокнула его в ключицу.

Днем она зашла в комнату отдыха. Сотрудницы чаевничали. Выпадали такие редкие промежутки среди сеансов, когда персонал мог несколько отвлечься. Посетительскую лавину запустили, пробежали и опоздавшие, сектор закрыли. Теперь есть минут пятнадцать до того момента, когда начнутся первые окрики откупавшихся: «Откройте шкафчик, пожалуйста!»

Женщины как раз говорили про храм Христа Спасителя, который некогда возвышался на месте котлована по названию бассейн «Москва». Семплиярова, конечно, знала, что снесли тут в смутные годы какую-то церковь, но никогда особо не придавала такому факту значения. Известно ей было и то, что не удалось построить на этом месте никакого другого здания, почему и возник, собственно, бассейн. Семплиярова даже полагала это наилучшим выходом: ведь бассейн куда как полезнее для здоровья, чем что бы то ни было, а уж тем более, как говорится, опиум для народа. В иной раз она бы и слушать не стала столь скучных бесед, но сегодня внимательно прислушалась. Билетерша Агнесса Михайловна, чопорная дама с двумя высшими образованиями, экскурсоводша на пенсии, вещала по-гидовски заученным тоном, будто справочник читала:

— Во время Отечественной войны двенадцатого года прошлого столетия Александр Первый дал обет отстроить храм, но не суждено ему было исполнить обещанное, и обет принял на себя Николай Первый, он-то и определил место, где предстоит строить. А прежде тут располагался Алексеевский монастырь. И строили храм Христа Спасителя больше сорока лет. Проектировал архитектор Тон, а отделявали и расписывали замечательные российские скульпторы и художники: Клодт, Верещагин, Маковский, Суриков и многие-многие другие... Кстати, на том месте, голубушки, где мы с вами сидим, где наш пятый женский сектор, находился алтарь, куда женщинам входить запрещалось. Да-да, алтарь. Я-то застала девочкой храм и знаю.

— Ага,— встряла Семплиярова.— И я тут видела алтарь.

Женщины осуждающе переглянулись. Агнесса Михайловна укоризненно покачала головой:

— Это не тема для шуток, милая.

Второй раз за сутки Семплиярову упрекнули в неуместном юморе, а она и не собиралась шутить ни в той, ни в данной ситуации. Но не заявлять же во всеуслышание об утреннем видении! Никто не поверит. Подумают, что дурочку валяет. И вдруг фельдшерница Тамара Потаповна смущенно произнесла:

— А знаете, девоньки... мне тут иногда такое видится, прямо не по себе становится. Будто храм былой вижу. Я ведь его тоже маленькой видела... И вот теперь порой выйду подышать на бортик, особенно в сумеречности если, а он будто из лохани-то нашей прорастает, все выше и выше поднимается и в небеса воспаряет...

Семплиярову прошиб пот. Она вытерла лоб и выдохнула: «Уф!» Другим женщинам как будто бы тоже сделалось не по себе. И внезапно все заговорили разом: «И я, и я, и мне виделось!» Только Семплиярова молчала. Тихо поднялась и незаметно вышла. Засомневалась: «Сообщить ли Тарасу, или попробовать сперва сфотографировать чудеса?» Вспомнив же, что у Хлюпина есть кинокамера, все ему поведала.

С того дня Семплиярова и Хлюпин уделяли больше внимания атмосфере, чем хлорному раствору, но ничего такого аномального не замечали. Тогда Хлюпин предложил остаться в бассейне на ночь.

— Я договорюсь со сторожами. Скажу, что хулиганов буду гонять. Говорят, целая компания повадилась ночами купаться.

Семплиярова, конечно, осталась вместе с ним...

Тишина, лишь легкий плеск воды. Темно. Семплиярова и Хлюпин бродили, обнявшись. Кинокамеру до поры повесили на яблоневый сук.

— Хорошо,— молвила Семплиярова.— Непривычно тихо.

И тут в избе, что на галечном пляжике возле седьмого сектора, взыграл магнитофон. Вероятно, в директорской парилке опять отдыхала элита.

Хлюпин усмехнулся то ли презрительно, то ли завистливо:

— Сливки общества!

Из избушки выскочила обнаженная хохочущая девица. От распаренного тела ее валили клубы. За ней появились два голых брюхана. Все трое пьяные. Мужчины схватили девицу, раскачали за руки за ноги и швырнули в бассейн:

— Окрестись в святой водиче!

Не удержав равновесия, плюхнулись следом.

— Чего на них любоваться? — вздохнула Семплиярова.— Мы здесь не за этим.

— Верно.— Хлюпин вдруг развернул Семплиярову лицом к себе, обнял и поцеловал в губы. Посмотрел близко ей в глаза: — Пойдем в подвал вашего сектора.

— Но там закрыто.

— Я у Пуховых ключ взял.

— А как же воздушная церковь?

— Да Бог с ней!

— Логично.

И они спустились в подвал, не забыв, конечно, снять с яблони кинокамеру. Там и скоротали ночь.

Семплиярова, проснувшись, не сразу поняла, сколько времени.

С трудом разобрала на ручных часах, что всего пять без четверти. «А где же Хлюпин?» Поднялась наружу. Совершеннейшая ночь. Услышала возню снизу и вернулась. Хлюпин выкарабкался из ямы. Заявил:

— Узковат для меня колодец, придется тебе лезть.

— В колодец? Одной?

— Разве тебе не интересно? Я принесу акваланг и гидрокостюм. Эх, и чего у меня такие плечищи! — посетовал он с явным удовольствием.

А Семплиярова приуныла. Не жаждалось ей в одиночестве нырять в неизвестность. Однако спастись перед любимым она не могла.

В тот же день Семплиярова открылась перед Федуловой, инструкторшей по плаванию. Та, стоя на бортике, тренировала на мелководье детвору. Дула отрывисто в свисток и горланила:

— Ладочки на бортик, вдох... Лицо в воду — и выдох! Юра, опусти лицо, вода не кусается! Все мы из воды! Да не вдыхайте же под водой, а из себя!

Детишки все путали, и половина из них, нахлебавшись, кашляла и фыркала.

— Пока не научитесь дышать, не научитесь плавать! — Федулова заметила Семплиярову.— Здорово, Раиска! Чего пригорюнилась? Как у вас с Тарасиком?

— Волшебно.

— Не чувствуетесь.— Федулова разразилась трелью и scomандовала: — На сегодня хватит! В душ и к мамкам! — Обняла Семплиярову.— Выкладывая.

И Семплиярова рассказала про колодец. Федулова приняла сторону Хлюпина:

— Обязательно надо исследовать. Я сама поеду.

— Нет, мы примерялись, там с широкими плечами тесно. А ты ватерполистка.

Федулова и впрямь была косая сажень в плечах. Семплиярова же

занималась прыжками в воду и не имела характерной для пловцов мощной грудной клетки.

— Но я в доле, — заявила Федулова, не пояснив, в какой.

И вот как-то Пуховы, Хлюпин, Федулова и Семплиярова сошли, сгибаясь в три погибели, по древнему подземному ходу к колодцу, где принялись снаряжать в экспедицию бедняжку Семплиярову. Впрочем, она хорохорилась. Ее облачили в резиновый костюм оранжевого цвета, закрепили на спине акваланг, к поясу приторочили мощный фонарь, тесак и зачем-то компас. Подцепили трос на катушке.

— Здесь сто метров длины, с гаком хватит, — уверил Владька.

— Не оборвется? — затосковала Семплиярова.

— Хоть танк цепляй — выдержит.

Все было готово, и оставалось лишь прыгнуть в пяточок мутной жижи. Семплиярова села на край колодца, свесила ноги и вдруг решительно заявила:

— На черта мне это нужно? Я передумала.

Федулова тут же подтолкнула ее:

— Вот еще! С Богом!

И Семплиярова ухнула вниз и забултыхалась. Закусила трубку акваланга, помахала приятелям рукой и, перевернувшись, ввинтилась в узость колодца. Цепляясь за выступы, подтягивала тело и ничего не различала. «И сколько я так буду ползти?» — проклинала она сковывающую мышцы ледяную влагу пенала. Неожиданно уперлась в дно и возрадовалась, что это конец испытаниям. Посветила фонарем, пошарила руками и зацепилась за что-то. Хотела поднять, дернула и вдруг рухнула со всей массой воды в распахнувшиеся створки. «Как в унитаза!» — мелькнула дурацкая мысль, которая, в сущности, была последней. Далее сплошной сумбур. Не запомнила, когда и как выбралась в канализационный коллектор. Пыталась впоследствии восстановить маршрут путешествия и вроде бы припомнила, что будто бы и в Москву-реку попадала, потому что сверху в большом количестве воды продвигалось что-то темное с винтами, но сама не верила в это: почему же тогда не вытолкнуло ее на поверхность? Кажется, проникла в коллектор через бесконечно длинную щель. Увидела трубы, покрытые ржавчиной и бледными грибами, и поняла, что это и есть спасение. Обессиленная, еще долго блуждала в урчащих, затхлых коммуникациях, пока не выбралась в подвал жилого дома. Дверь наружу оказалась заперта. Семплиярова отодрала сетку на форточке и кое-как вылезла. Одурела от воздуха и едва не потеряла сознание. Темнотища, но для Семплияровой эта темнота, что светлый день.

Вышла со двора на улицу, увидела церковь и узнала ее. Как раз через дорогу от их пятого сектора. Хоронясь от редких прохожих, прокралась к бассейну. Не различала — утро или вечер. В воде плавали — значит, не ночь.

Федулова как ни в чем не бывало посвистывала и горланила с бортика, тренируя малышей. Семплиярова стояла за оградой и не верила собственным глазам, наблюдая столь безмятежную картину. И, откуда только силы нашлись, перемахнула через перила, представ перед обалдевшей Федуловой.

— Это как понимать?!

Федулова перекрестилась:

— Ты откуда? Мы же яму-то замуровали...

— Как замуровали?

— Цементом. — У Федуловой бегали глазки. — Иди, дурочка, переоденься, отмойся. Как бес, страшная...

Семплиярова поплелась к сектору, оглянулась:

— И Хлюпин муровал?

— Потом расскажу, — отмахнулась, как от привидения, Федулова.

А затем выяснилось, что, как только провалилась Семплиярова в пещеру, колодец стал осыпаться. Повалила земля и на лестницу. Братья Пуховы,

державшие катушку, в панике отшвырнули ее и бросились наверх, а следом Федулова с Хлюпиным.

— За нами тут же образовывались завалы,— бурчала виновато Федулова.

Семплиярова же слишком-то верила, потому что Хлюпин и Пуховы рассказывали то же самое иначе, но яма в углу действительно оказалась тщательно замурована и даже свежеевыкрашена.

— И вы не позвали на помощь? — Семплиярова с ужасом взидала на пломбу.

— Да кто думал, что ты жива! А мертвой помощь не нужна,— мямлили друзья оправдания.— Уже и зарыта даже...

Федулова неожиданно сказала:

— Рай, но ведь ты бы сама так поступила, чего уж там!

И Семплиярова кивнула:

— Верно, поступила бы...

Любовь их с Хлюпиным с той поры заглохла. Но все же, забеременев, Семплиярова не сделала аборт.

«Потому что красивый он парень и здоровьем крепкий,— как бы оправдывала себя тогдашнюю Семплиярова.— И вроде не трус, отчаянный...»

Еще до того, как она провалилась в подземелье, произошел довольно забавный казус, где Хлюпин проявился героем.

Как-то раз в секторе заболела гардеробщица и работники павильона поочередно заменяли ее: сеанс — фельдшер Тамара Платоновна, другой — Федулова, третий — Васька Пухов, потом Владька и так далее. Семплияровой тоже пришлось потаскать от барьеров к вешалкам пальто, плащи и куртки. Наплыв схлынул, и Семплиярова присела на банкетку, взявшись полистать журнал «Здоровье». Тут примчался Хлюпин и сунул ей под нос эскимо.

— После закрытия погуляем?

Семплиярова не успела ответить.

Из зала, где посетители раздевались полностью, вылетела ошалелая фурия, сопровождаемая воплями и визгом гнавшихся за ней бабулек-дежурных.

«Воровка»,— решила Семплиярова. В бассейне что ни день чего-нибудь умыкали, порой мочалка даже у кого-то пропадала. Но бабульки верещали:

— Держи его! Сволочь!

Фурия, в нелепом морковного цвета растрепанном парике, жутко размалеванная, шибанулась в двери и вырвалась на улицу. Хлюпин стартанул в погоню. Вся секция выбежала следом. И Семплиярова.

Переодетый, подхватив цыганского фасона юбку, несся сумасшедшим галопом. Сшиб с ног пару встречных. Но Хлюпин догнал его, подставил подножку, и преследуемый растянулся на асфальте. Хлюпин завернул ему руку и повел к административному корпусу. Какая-то сердобольная старушка несла вслед шаль с розами, оброненную костюмированным.

— То-то я на него гляжу, когда плащ сдавал,— говорила за традиционным чаепитием Семплиярова,— на нее, вернее, и думаю: ну и вымахала девица. И грим, думаю, совершенно не умеет накладывать. Целый килограмм небось помады намазюкала. А тени, как синяки, намалевала. И клипсы прицепила безвкусные, дешевые. В общем, дура душой, а она мужик, оказывается!

— А он давно к нам ходил,— подхватила бабулька-дежурная, которую все звали просто Олей.— И так это всегда медленно раздевается, стесняется, а на самом деле, значит, чтоб подольше торчать и наблюдать. В душ заходил в простыне. Может, и плавать-то не спускался, торчал в душевой, потому что самым первым возвращался и колулся до последнего.

— А как его разоблачили? — произнесла Семплиярова.

Оля перекрестилась.

— Да женщина в туалет зашла, а этот деятель там стоит, подол задрал, и поливает... Та как завизжит... Этот и рванул, все свои сумки позабыл. Чего с ним теперь сделают-то, бедолагой?

— Он раньше во второй женский сектор шастал,— сказала завхоз Жанна Олеговна.— Там его тоже вычислили, предупредили, оштрафовали, а он сюда переметнулся.

— А вот бабка моя парализованная...— вступила Федулова, но ей не дали кончить. Потому что она всегда встревала со своей парализованной бабкой, которая и не являлась вовсе ее родственницей, а была просто соседкой по коммуналке, но Федулова за ней ухаживала, как за близкой.

— Надоела ты со своей бабкой! — накинулись нестройным хором на Федулову, и та обиделась. Встала и демонстративно вышла. Семплияровой сделалось жаль подругу:

— Чего не говорите, а Анька молодец. Кто бы стал задарма чужую бабку обихаживать, мыть, кормить с ложечки... кошмар! Да она Зоя Космодемьянская просто!

— Задарма, как же! — Жанна Олеговна язвительно хихикнула.— Картина Коровина у той в комнате висит, Анька надеется — ей достанется. Космодемьянская, как же!

— Какая такая картина? — растерялась Семплиярова.

— Да Коровина же, художник такой жил.

— Я не знала, что Федулова так любит живопись.— Семплиярова искренне изумилась, потому что Федулова всегда с враждебностью относилась к расположенной поблизости на Волхонке картинной галерее, работники которой настойчиво требовали закрытия бассейна «Москва», ссылаясь на то, что хлорные испарения разрушают полотна.

— Деньги она любит, а не живопись. Коровин-то нынче машину стоит.— И Жанна Олеговна тоже упомянула галерею на Волхонке: будто бы Федулова вызывала оттуда консультантов на дом для оценки Коровина.

«Надо будет узнать, получила ли Анька картину,— подумала Семплиярова и заулыбалась.— Эх, чего только не приключалось в нашем бассейне!»

С тех пор как бассейн «Москва» закрыли, Семплиярова даже и не была возле метро «Кропоткинская». Утром решила съездить посмотреть на новый храм Христа Спасителя, благо выдался выходной.

Сверкающие на солнце золотые купола восхитили. Семплиярова невольно залюбовалась, но и почувствовала огорчение: «Жалко бассейн». Память подсказывала, что, выйдя из метро, сразу видишь аллеи с яблонями и овал бассейна. «Будто руку или ногу потеряла»,— поежилась Семплиярова.

Перед храмом происходила служба, но Семплиярову не пропустили. Она рассмотрела среди внемлющих мэра столицы, снявшего кепку-нашлепку. Он озабоченно переговаривался с кем-то из свиты, не забывая при этом изредка деловито креститься, иногда и невпопад.

Семплиярова поехала домой. Предложение Федуловой уже не казалось ей безумным. «Бассейн радовал всех, лучше б его капитально отремонтировали,— размышляла она.— Спустишь, оставлю в пещере заряд...»

Федулова, однако, не явилась. Поздно вечером Семплиярова позвонила ей:

— Привет! Я согласна.

— С чем? — просипела сонно Федулова.— Или с кем?

— Насчет бассейна. Ты вчера предлагала.

— Вчера... Честно говоря, я ж к тебе подтаятая завалилась, ни хрена, ни кочерыжки не помню. Ты уж не сердись. О чем я там болтала-то?

— Восстановить бассейн «Москва» предлагала.

— О! Как это? Там же теперь храм Христа Спасителя. В другом месте, конечно, неплохо было бы отстроить.

— Как же так? — бормотнула Семплиярова, но осеклась и забурчала: — Ну разумеется, безусловно, естественно... ага.

Предисловие к празднику

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА. СТИХИ

*Д*ве обихе тетради в коричневои переплете. Обычные тетради в клеточку, которыми пользовались в свое время все старшеклассники. На первой странице крупным твердым почерком выведено: «Лето 1958 года».

Так начал свой дневник студент второго курса ВГИКа Геннадий Шпаликов. Стало быть, нынешним летом дневникам этим, как ни странно сознаять, ровно сорок лет. Странно, так как имя Геннадия Шпаликова, его фильмы, его стихи трудно поддаются патине времени. Так же трудно, как, говоря о Шпаликове, оперировать понятиями «наследие» или «архив». Но литературное наследие, раритетный сборник «Избранное», тончайшая в сорок страниц книга стихов — все это есть. Существует даже архив Шпаликова, он хранится в Музее кино. Предлагаемые записи не из этого архива, их нам любезно предоставила дочь писателя — Дарья Геннадьевна Шпаликова.

Интересен этот дневник не только тем, что дополнит творческое наследие художника. Знаменательным показалось другое: почти совершенное совпадение дневника и эстетики фильма «Я шагаю по Москве». Случайные, мимолетные зарисовки московского дождя, опустошающей летней жары... Дневник заполнен деталями обыденной городской жизни. Деталями, которые Шпаликов возвысил, сделал главными. Скользящая по двум тетрадям дневниковая скоропись на глазах превращается в знакомые кадры фильма, снятого позже. «Удивили,— скажет читатель,— только ленивый не знает, что высокохудожественные произведения вынашиваются десятилетиями». И будет прав.

Но в том-то и дело, что в сценарий фильма ничего из этих тетрадей не попало, и вряд ли режиссеру Георгию Данелия было вообще известно о существовании этих юношеских дневниковых записей сценариста. Просто «веселый бог деталей, всесильный бог любви» помог разбросанным ярко и щедро словам каким-то чудным образом воплотиться в картину.

Меняться надоевшими городами и видами на залив, или костел, или гору Монблан. Меняться, чтобы чужое опротивело, как родной переулоч и афиши на заборе, чтобы стал скучным не только твой город, твой дом и твоя лестница — весь мир. Такова цель путешествий, и, честное слово, это замечательно.

Долго ехал спиной вперед, и виды плыли из-за спины. Потом шел, как принято,— и меня тошнило.

Прости — прощай все это красивое и первое. Как началось, с чего — за день до экзаменов на последнем сеансе я увидел девочку и был ужасно взволнован всем, что она делала, как говорила, как смеялась и смотрела. Позже, она шла легкая, в зеленой кофточке, освещенная солнцем. Шла и с кем-то разговаривала, улыбаясь точно так, как сотни раз потом. Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке и всю ночь мы ничего не делаем полезного — мы смеемся, выпраши-

ваем <...> холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной на крыше склада, и я еще не знаю тебя и говорю тебе «вы». Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты — напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая и после нее остались письма. Я, не вслушиваясь, киваю головой и смотрю, смотрю, запоминая тебя.

А потом, позже, мы идем с тобою между белых деревьев в таком снегу, как в сказке, и снег, падая, засыпает наши следы. И вечером ты уезжаешь, это уже другой вечер, я боюсь опоздать и бегу вдоль платформы к третьему вагону, и ты стоишь, улыбаясь. А потом мы идем проклятой привокзальной площадью, и у меня все пусто внутри, и я не знаю, что бы отдал и сделал — как мне хотелось ехать в одном купе с тобой и смотреть в окно. Письмо из Каменска не мне, другому, подробное, немного бестолковое, с приветами в конце. И день — через месяц, когда ты крикнула: «Гена!» И я увидел тебя на лестнице и был рад безотчетно весь день. Следуя времени, потом была весна и Первое мая, и ты в белом платье танцуешь с кем угодно, только не со мною, а я, серьезный и грустный, уезжаю в пустом еще троллейбусе без тебя. И пыльный весенний день в середине мая — твои открытые руки белые, твое лицо взволновано, и снова ты такая легкая, готовая улететь.

Последний год в институте был сдержанней и проще, и приятней. Я помню, как 7 ноября я ехал домой перед вечером, ехал с другой и собирался быть весь вечер с другой, и она ждала этот вечер. Но из дверей, освещенная и усталая, с покрасневшими глазами, выходишь ты, и я все забыл — я стою рядом с тобой, говорю с тобой, я вижу, какая ты красивая, и я целый вечер танцую с тобой, и ты не уходишь никуда. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это.

Мне тяжело в будни и плохо, будни затягивают и портят. В будни мы встречались как-то второпях, на лестнице, ты так устала за день, что и улыбаться не могла. И мы весь вечер сидели среди пальм и пьяных вокзального ресторана, а потом ехали в такси далеко-далеко, где деревянный домик с калиткой и деревьями в снегу, где живешь до сих пор ты.

Барабаны били так, что хотелось идти на войну.

Летал во сне между гор, обитых, как стулья в его комнате.

Мама приехала утром в шесть часов. Красивая и загорелая, как середина июля. Я открыл дверь и потом зевал до восьми часов, не в состоянии заснуть. Мама вымылась и в халате причесывала мокрые волосы, поставив зеркало на подоконник. Она сидела вся освещенная солнцем, в голубом халате.

— Мне приснился страшный сон, — говорила она. — Я видела нашу комнату и пятнадцать пустых бутылок на столе.

— Какие были бутылки?

— Из-под водки. Пятнадцать бутылок — меня трясло до утра.

Я молчал, думая: неужели бывают вещие сны? За день до маминого приезда, то есть вчера утром, я сдал 15 бутылок из-под водки. Ровно 15 — ни больше, ни меньше.

Мне снилось, что в меня стреляют; я проснулся, и рука моя лежала на животе.

По мужской части ничего помочь не надо?

Вечером, в прекрасную мокрую погоду напротив ресторана «Пекин» человек в темном пальто расквасил лицо своей женщине. Она была в синем костюме с глубоким вырезом на груди, лицо бледное, волосы светлые и кровь на губах, подбородке и щеке. Он кулаком, короткими ударами, загнал ее к стене, и она даже не кричала, а только плакала.

Мой знакомый, дантист по профессии, узнал, что в деревне умерла его двоюродная сестра. Он ее и в глаза не видел и в деревне той не был сорок лет, но напился по этому случаю вдребезги и третьи сутки лежит поперек зубоврачебной комнаты лицом вниз и горько рыдает.

— Что ты плачешь? — спрашивает жена.

— Жалко Аню, ах, как жалко!

— Какую Аню?

— Молчи! — тебе не понять.

— Но сестру зовут Мотей!

— Уйди, я никакой Моти не видел и не знаю.

А в приемной третьи сутки режут больные, и реветь им еще не меньше недели, потому как громадное это горе — смерть двоюродной сестры в недалекой Смоленской области, в деревне и под соломенной крышей. А что касается больных — пусть идут в государственные лечебницы.

Мне не нужна женщина — друг по чувству и перу, товарищ по жизни и собеседник — ничего этого мне не нужно. Мне нужна просто женщина, которую я не знаю даже по имени и через день забуду в лицо. Лучше всего так. Лучше не пытаться рассмотреть человека до конца, это такое дерьмо или такая глупость, причем это всегда невесело. И да здравствует благородный разврат всех форм.

Переулочек, окрашенный в синие и желтые краски, синие и желтые дома и крыши эмалированные, такие сверкающие и чистые, как ледяные. Переулочек называется именем братьев Grimm, Гонкуров, Знаменских и всех остальных уважаемых братьев, имен которых я, к сожалению, не знаю. Чудесный день с утра, и солнце, и ветер, пахнущий листьями, и белые, высокие облака.

Переулочек заполняют люди в красных одеждах и в красных колпаках. Они красные на фоне синих и желтых стен. Они несут в руках неподвижные штандарты и флаги, которые плещутся вслед за ветром. Они поют:

Мы голубое платье
сошьем
и короля
повесим на закате.
Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Где же он, этот переулочек, где люди в опереточных шляпах обкручивают пояс синими лентами, где девушки смуглых тонов танцуют «кукарачу» и зеленые листья цветов плавают в тарелках? Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по траве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого — и нет ничего.

На помойке сидела старуха. Она жевала совершенно по-дворянски — не открывая рта — огурец.

Я был сегодня, 25 апреля, в мастерской Кибальникова. Мастерская в бывшей церкви. Посреди зала стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг — сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с черной бородой. Ему 46 лет. Он крепкий человек в потертом костюме из вельвета. Он ходит вокруг Маяковского — такой маленький в сравнении с поэтом. Маяковский смотрится очень хорошо с любой точки. У него прекрасное лицо, твердые губы. Он стоит вполоборота, приподняв голову. Среди людей, которые смотрят на памятник, — Людмила Владимировна Маяковская, высокая, седая, похожая на брата. Ей очень нравится, что сделал Кибальников. В мастерскую часто приходила Лиля Юрьевна Брик и многие из людей, которые знали Маяковского. На скамейке у стены сидит женщина в платке. Это се-

стра Есенина. Рядом с Кибальниковым суетится человек в коротких брюках — драматург Юрий Чепурин, и седой растрепанный Орлов обнимает скульптора. Сегодня памятник принят, и он будет отлит из бронзы. Потом его накрывают чехлом, мокрого, блестящего, ростом до потолка.

Мы вышли из мастерской — захламленного, неудобного помещения, где получают такие вещи. На Маяковской ходили люди, и сам Маяковский сорок с немногим лет назад шагал кольцом бесконечных Садовых.

На балконе сидел инвалид в шляпе. Сидел и дышал, свесив алюминиевые костыли за решетку. А кругом были весна, и воскресенье, и солнце, какое бывает к вечеру, — не сильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылка водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду пить с товарищем в пустой, чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок. А потом, не торопясь, брести под фонарями и разглядывать лица девушек.

— Почему весной так много девушек? — спрашиваешь ты.

— Не знаю почему, — говорю я. — Мне все равно.

Мы идем, чувствуя вечность.

— Почему вечность? — спросишь ты.

— Потому что мы вечны и бессмертны.

— Нет, — скажешь ты. — Потому что мы пьяные.

Мы стоим над Яузой и плюем в воду, освещенную огнями города. Вода течет под мост, потом между старыми домами, потом она впадает в Москву-реку и вместе с Москвой-рекой впадает в Оку, а Ока впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море высыхает.

— Зачем же тогда течет вода? — спрашиваешь ты.

— Удивляюсь тебе, — говорю я. — А круговорот природы? А рыбы? Где им жить?

— Это безусловно, — соглашаешься ты. — Рыбам жить негде.

И ты грустишь, опустив голову. Мимо проходят он и она. Мы не успеваем рассмотреть ее лицо, но спина женщины прекрасна, и ее ноги, и длинные волосы, опущенные на пальто.

— Почему они все красивы, если смотреть в уходящую спину? — спрашиваешь ты.

— Это иллюзия, — говорю я. — Со спины никогда не угадаешь точно.

— Она прекрасна, — говоришь ты. — У нее лицо мадонны.

— Чего ты плетешь? — говоришь ты. — Откуда ей взяться в Сокольниках?

— Все мадонны вышли из народа, — говоришь ты. — Они мыли посуду в дымных комнатах без единого зеркала.

— Она уходит, — говорю я. — Если хочешь, можно ее догнать. По-моему, у нее толстые губы, круглые щеки и узкий лоб.

— Она прекрасна, — говоришь ты.

И мы бежим по набережной.

— Стойте! — кричишь ты. — Стойте, мадонна!

Мы бежим, чувствуя тяжесть наших сердец. Она оборачивается, когда мы стоим в трех шагах от нее, готовые свалиться на мостовую. Она оборачивается — и прекрасная женщина улыбается нам. Мы остаемся на мостовой, освещенные лампами дневного света, а она уходит.

— Пусть уходит, — говоришь ты.

— Пусть, — говорю я.

Мы садимся на мостовую.

— Мадонна, — говоришь ты.

— Ничего, — говорю я.

— Почему я один? — говоришь ты. — Неужели всех мадонн разобрали?

— Брось! — говорю я. — Зачем тебе мадонна?

— Ну все-таки,— говоришь ты.
 — Если будет мадонна,— говорю я,— все сразу кончится. У нас отнимут все сразу.
 — И мы не будем шататься под дождем где захочется?
 — Нет.
 — И пить, когда бывают деньги?
 — Нет.
 — И разглядывать всех встречных девушек?
 — Нет.
 — Это ужасно.
 — Но у тебя будет мадонна.
 — Нет,— говоришь ты,— не надо. Хорошо, что они уже разобраны.
 — Что ты! — говорю я.— Их сколько угодно. Они моют посуду в дымных комнатах.

Ты смеешься, обняв меня.

Люди трех взглядов на жизнь. Простой пример — идет лошадь по улице. Первый смотрит и думает: «У нас по улице идет лошадь, а в Америке — прекрасные машины».

Второй смотрит на лошадь и улыбается: «Какая замечательная лошадь идет по улице».

А третьему наплевать на лошадь и на американские машины.

Почему так бояться вещей покойника? Он носил их живым.

Если долго думать о платье и долго хотеть платье, то знаешь его наизусть — и тогда не нужно его покупать: платье как будто износилось.

«Что им нужно? — спрашивал Хлебников.— Я бы сделал все. Я стал бы писать по-другому. Может быть, им нужна слава?»

Нет, им слава не нужна, и черт знает, что им нужно, если говорить серьезно. Я сам не знаю, почему это тревожит меня, потому что половину моих дел я начал ради них и это замечательно тем, что можно еще начинать ради кого-то.

Поговори хоть ты со мной,
 Гитара семиструнная
 Моя душа полна тобой,
 А ночь такая лунная.

Смешная песня. У меня есть все, что нужно для счастья. Эта весна была необычайно приятна, и весь год был интересен: я уезжал, думал, жил, и мне удавалось писать. Все считают, что мне повезло и везет каждый день, и я должен быть уверенным, но этого нет совсем, и ничего нет, и не это нужно. Ради одного молодого человека, явного идиота, одна красивая девушка вспарывает себе вены и пытается прыгать с высокого третьего этажа. Почему никто не прыгал ради меня хотя бы со ступеньки лестницы? Я не говорю уже о вскрытии вен, это несбыточно. Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны. Я уже не смогу (как не смог недавно) делать все, что полагается,— ходить, говорить, встречать. Я ничего этого не смогу. Все гораздо проще, так я хотел бы думать. Я пишу и выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко. Когда мне мешают мелкие неурядицы, так, словно в трамвае наступили на ногу, это ожесточает против человечества, но это смешно. Когда люди начинают говорить о своей неудовлетворенности миром, о том, как они важны в мире и как важны их мнения, вкус, слова, обиды и радости,— мне становится противно. Это никому не нужно, и не стоит преувеличивать свое место на земле — место любого из нас.

В час ночи на дворе слышны детские голоса. Откуда они на дворе? Загадка. Мир полон таких загадок, неразрешимость его меня не волнует, я чувствую вечность, наблюдая очень многое. Все идет правильно, так, как следует. Не будем мешать, не надо смеяться и думать о личном достоинстве, о моральных обязанностях — это не разговор людей. Есть слова проще, иные слова.

Вечер, созданный для празднеств, и мы купили два мороженых торта.
— На тебе, сирота, два мороженых торта.
Сирота не взял.

Пьесы писать трудно. Так было всегда, но раньше, лет тысячу тому назад это было еще труднее. Спектакль представляли на площади: хочешь — смотри, хочешь — проходи мимо по своим античным делам. Пьеса должна была привлечь внимание. Это вначале, а потом? Самое главное потом — пьеса не могла быть скучной, иначе люди расходились бы во все стороны. Никаких кресел не было, спектакль смотрели стоя, и уйти в такой обстановке приятно и просто. Пьеса не могла быть плохой, в таких случаях автора забрасывали камнями, и он убегал в горы. Актеров плохой пьесы тоже не щадили. Все это поощрялось государством.

На первомайской демонстрации в колонну Куйбышевского района влились четыре баптиста. Пользуясь замешательством толпы и всеобщим весельем, баптисты вскинули полотнище белого цвета, на котором был написан лозунг «Любовь есть Бог». Баптисты приехали в Москву из Кзыл-Орды ради этого первомайского дня. Их забрали люди в одинаковых пальто.

В штате Оклахома
Вкусная солома.

Был в Большом театре. Сначала шел утром по улице, по солнечной стороне. Шел, обдуваемый теплым ветром. Была прекрасная погода, и всюду продавали лотерейные билеты. В театр опоздал. Первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения.

Перед вторым действием увидел зал, полный красногвардейцев и командиров. Это был бесплатный спектакль. Раньше, перед входом, я видел красивых молодых людей, по виду драгун или конных гвардейцев, и других людей, в штатском, явно переодетых офицеров. Почему военные на первые свои деньги покупают шляпу зеленого цвета? Я, помню, тоже купил. Они стояли у великих колонн Большого театра, под мчащимся на тройке Аполлоном. Они стояли в зеленых шляпах, и галстуки-самовязы украшали военных.

Опера. Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр — это желтые ярусы, желтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно. Из моей ложи отлично стрелять в бывшую ложу царя. Попасть легко, по-моему. Оперу я не слушал, то есть сначала слушал, но ничего почти не понял и перестал обращать внимание на слова, которые поют. Все выглядит, как пародия. После второго действия ушел совсем.

Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. Я вижу знакомые лица, давно чужие, и они волнуют меня, и я охвачен воспоминанием, и течение времени останавливается, открывая прошлое. Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.

Что будет потом? Я не хочу думать.

Я долго вспоминал, когда же кончился день моего интереса к обучению хоть какому роду занятий. Это было в восьмом, наверное, классе, в день <нрзб.> к вечеру. Или нет — конечно, все окончилось раньше, и живу я очень просто, и случайная культура случайных книг, людей и обстоятельств становится единственной моей культурой. О какой же, простите, литературе может идти речь?

Смотрел ныне «Тень». На спектакль пропустил Э. П. Гарин, седой, изящный и восхитительно пьяный Гарин, который очень красиво поставил пьесу.

Человечество служит женщине.

С одними она разговаривает в метро, с другими танцует, третья провожает ее весенними вечерами до дверей дома, и с немногими она спит. Это не всегда лучшая часть человечества, но самая здоровая и простая. И все люди, и каждый из нас принадлежит к одной из этих категорий. Мы служим.

Чистый вечерний пруд, по которому плавают лебеди, кирпичные дома, деревья, готовые распуститься зеленому, и светло-зеленое небо — вот что было 7 мая в Москве. Я шел по сырой земле мимо скамеек сквера. Мир был восхитителен, воздух пах дымом костра, у метро продавали подснежники. Что еще нужно человеку? Чтобы рядом шла женщина, и женщина была рядом, и она была прекрасна. Я говорил ей, и она понимала все, что я говорил. Я не могу вспомнить эти слова. Это не нужно вспоминать. Жизнь полна удовольствий, и таких, за которые не надо платить. Но удовольствия, за которые платят, все-таки лучше. А денег нет, проклятая молодость миллионов! Мне было не так, как другим, я не жалуясь, но все же.

Страна утренней свежести.

Глаза, как яичница.

Стеклянные шляпы, алюминиевые галстуки.

Не могут отделить человека от пиджака — женский разговор.

Вечером в темноте на карниз моего окна падали капли. Это дождь, думал я. А это соседи мыли балкон. Можно написать обратное: думал, что соседи моют балкон, а шел дождь.

Застенчиво голодали русские писатели.

Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет. Я пришел домой, поел, лег на диван и под включенный телевизор два часа был в забытьи и сном объят. После, напившись чаю, принял ванну, чтобы, еще раз закусив, лечь в постель. Не думать, не вспоминать, а чего вспоминать? Место, где растут цветы? Море или, может быть, рижские кафе и женщин на улицах? Нет, и это не так, я нигде не был и ничего не помню. Я всю жизнь сидел за столиком из Финляндии и записывал разные и не очень уж веселые вещи. А ночью мне снится странное смешение училища и последних лет в институте: Я уже два года учусь — как много.

А с людьми, мне знакомыми, никакой близости, как будто каждое утро видимся впервые. Вся разница в том, что видимся мы, как впервые, а надоели, как узники одной камеры. Вот так бы и писал, и писал — бесконечно. Отчего я пишу? Я разговариваю. Это очень весело.

Вот такая история — сидит человек в панаме напротив футбольного поля, пустого и зеленого. Он сидит, разыгрывая силой своего воображения матч. Ему ничего не стоит увидеть игроков, одетых в футболки разных цветов, и мяч, и комбинации — он разыгрывает сильнейшие комбинации, забивает голы, устра-

ивает свалки на штрафной площадке и объявляет перерыв. И так два тайма по 45 минут. Он уходит, совсем разбитый, очень счастливый или огорченный поражением.

Сидел на крыше парень и плакал в водосточную трубу. Мутный поток слез наполнял бочку для дождя. Это было в ясный день, под синим небом, и дворники внизу часто меняли посуду — бочки, тазы, ведра, чайники и детские ванны, окрашенные в белое и голубое. Но слезы не прекращались. Человек принес самовар. Все смотрели, как он наполняется до краев. Люди стояли среди бочек и ведер, не спуская глаз с последнего самовара. Он был полон, скоро началось наводнение. Парень сидел на крыше и плакал. Слезы рекой текли по городу, превращая улицы в каналы, площади — в озера, тихий город Сестрорецк — в Венецию. Прохожие плавали среди фонтанов и деревьев парка, чувствуя морскую солонатовость слез. Женщины сидели на фонарях. Когда вечером зажглись фонари, на каждом было по женщине. Люди на лодках окружили дом, на котором плакал парень. Он сидел на крыше, освещенный лунным светом, и его черный силуэт пугал неподвижностью и скорбью.

— Отчего он плачет? — говорили одни.

— Странно, — говорили другие. — Необычно. Это как бедствие.

Все говорили, поднимаясь вместе с водой все выше и выше.

— Перестаньте плакать! — крикнул кто-то. — Вы затопите город.

— Пусть, — сказал парень, — мне не жалко! Я хочу умереть.

— А мы? — заволновались в лодках. — Женщины всю ночь сидят на фонарях. Дети на деревьях.

— Я не смогу остановиться, — сказал парень. — Фонари и деревья не спасут.

— Убьем его? — предложил кто-то, доставая ружье.

— Он не виноват, — сказали другие. — У него большое горе.

— У него горе, а нам погибать?

— Убивайте — не убивайте, — сказал парень. — Это не поможет. Мы утонем вместе на третий день.

— Что нам делать? — вскричали люди.

— Ковчег, — сказал парень. — Спасайтесь в ковчеге.

— Ничего себе, — сказали люди. — В три дня пароход.

А парень плакал. Вода плескалась у крыши. Он сидел на трубе, подтянув колени. В городе звонили колокола, и рев тонущих животных слушали звезды.

Гроза пробирного надзора, ваятель гор, вождь модернистов, печальный рыцарь подмоетков, гений которого постигает только жена, гордость шекспировского театра, любимец негров из штата Небраска, человек, раздающий сны, — представьте, это он устроил всем одинаковый цветной сон — молодого тигра, играющего в мяч. Восемь миллионов, закрыв глаза, увидели тигра, проснувшись, они сошли с ума. Он вернул им разум — он устроил разные сны и часть людей погрузил в черное небытие ночи, как в бочку. Македонские пастухи молились на него, а он творил чудеса — он красил облака. Шел цветной дождь, реки окрашивались в ультрамарин, впадали такими в моря, и вскоре течение Гольфстрим из теплого превратилось в холодное. Он так захотел. В Голландии поникли тюльпаны, и гладиолусы Бельгии оледенели. Старый король Георг умер от горя в своей летней резиденции Шербур. Балтийское море замерзло в июле, и по нему катались на коньках, чтобы согреться, все народы Скандинавии. Беловолосые финские девушки, одетые в голубое, и спокойные шведы, норвежцы в красных вязаных колпаках, и крахмальные немецкие Гретхен, у которых светлые глаза. Английская королева плакала в Вестминстерском соборе, и на белой от инея траве напротив лежала обмороженные лондонцы. Лды Гренландии, не сдерживаемые более теплым течением, двинулись на Европу. Шел великий Глетчер. В Риме пили кислое вино, и, прочитав газету о Глетчере, заворачивали в нее свежих осьминогов. В Риме танцевали по вечерам, и школьники, засыпая, думали о летних каникулах.

В Испании был закат, и на закате окошел последний бык, заколотый нарядным тореро. На острове Корсика садилось солнце и пастухи смотрели в море. Пастухи, похожие в профиль на Наполеона. В королевстве Монако повесился последний принц крови. Он проиграл в рулетку свое маленькое государство, расположенное на Пиренеях. Кончался обычный день Европы. Наутро от всего континента остались две страны — Италия и Испания, два государства и два романских народа. Остальное пространство покрылось голубым льдом. Альпы <нрзб.>. Глетчер. В Средиземное море с побережья сползали айсберги. Молодой бедуин на белой лошади скакал в Марокко. Он первый увидел плывущий гигант. Молодой бедуин упал на колени и долго молился, раскрывая беспомощный рот. Он молился молча, так как у него был вырван язык. А человек, раздающий сны, спал в ранчо штата Огайо, и его мустанг тихо ржал, наблюдая восход. Утром он скакал среди высокой травы. Трава сохла на солнце. Туман поднимался над ней. Он скакал в мокрой от росы рубашке, счастливый, как молодой охотник. Он все забыл, и несчастье Европы не трогало его.

В метро внесли желтые байдарочные весла, напоминая о реке, о солнце и ветре.

Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? Об чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду выпиться, что я переменялся в лице. И причем выпиться не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду — денег у меня нет, и все это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье. Это правда. А через месяц буду я на Алтае, будет вечер (ночь), холод совсем дикий и чистый воздух, пахнущий, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю свою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. Два месяца Чуйского тракта! А потом сентябрь, проведенный в положении согнувшись за столом, и снова дни до отвращения будут милы, как утро в метро. Неужели все будет неизменно таким? Будет. Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьезнее и что я одержим местечковой скорбью и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Все это так, но я бессилён иногда в хмурую погоду.

Голубое лезвие бритвы.

Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов.

Давайте вспомним, что было в прошлом году, в эти числа июня. А было следующее — теплая погода, небо в облаках, воздух белый и парной. Вечера были ужасны. Я подумал: а что, если устроить смену времени — выдать сегодня, 12 июня 1958 года, за 12 июня 1957 года? Что изменится, заметят ли? Нет, не заметят. Сегодня с утра льет дождь, прямой и сильный. Во дворе на веревках мокнет цветное белье, асфальт лиловый, листья лип зеленые, стволы лип черные, небо светлое, окна темные, и дождь заметен только в лужах и на фоне кирпичной стены. Небо светлеет, а дождь все льет, теплый дождь, мягкая вода. Грузовики идут по лужам, обрызгивая пустые тротуары. Очень хорошо! Я на-

дену плащ и, не закрывая головы, пойду под дождь. Снимать белье, желтое от веревки. На асфальте лежат пионы, мокрые красные и растрепанные цветы. Ничего нет лучше этих цветов, их прямых стеблей, твердых листьев и красных лепестков, из которых каждый отдельно. Год назад я покупал вечером под дождем эти цветы для Валентина Константиновича. А теперь его нет.

— Кто там стучится в двери ногой?
Всадник отчаянный и молодой.

О том, как ночью лил дождь необыкновенной настойчивости и силы. Несколько человек один за другим поднимались по пустому эскалатору метро и потом стояли под навесом и смотрели, как льет дождь. Пустая площадь — автобусы не ходят. Изредка такси. Последние пассажиры метро, которые не могут идти под дождь. Их, допустим, не так уж много. Слепой, постукивая палочкой, уходит, раскрыв зонт. Продавщица мороженого закатила свой белый ящик и дремлет. Двое пьяных подошли к ней и купили все, что было в ящике. Она им все сразу не давала, они стояли рядом и ели по одному — на палочке, просто так, в пакетах и др. Кто-то спрашивает у всех 15 копеек и звонит жене, но жена не приходит с плащом. Поднимается по эскалатору парень и, не задерживаясь, медленно и спокойно идет под дождь. Посреди площади разувается. Идет дальше босиком. Девушка смотрит на часы, или, лучше, она пусть спрашивает время и каждый раз говорит:

— Без двадцати час? Большое спасибо.

Пьяные съели все, что было в ящике, и протрезвели.

Он и она. Наверное, с концерта, или они были в театре. Она стоит. Он бежит за такси. Побегает и вернется.

— Нет, — говорит виновато. — Я побежал.

Она смеется. Идет такси. Он бежит за ним. Такси подъезжает к метро, и двое бывших пьяных садятся. Парень бежит за машиной. Потом подходит к девушке.

— Нет, — говорит он. — Придется идти под дождем.

— Какая разница? — говорит она. — Ты уже мокрый.

И они уходят в дождь. Она снимает туфли, он их несет. Она идет босиком, приподняв бальное платье. Остаются девушка, продавщица мороженого и пусть человек с газетой «Вечерняя Москва», который звонил жене. А она не идет. Он долго читает газету.

— Может, дать вам? — спрашивает у девушки.

— Не надо, — говорит девушка и дрожит.

Или так: после того как у продавщицы мороженого купили все и все съели, она легко покатила свой ящик под дождь, накрывшись халатом. И пусть остаются двое — человек в парусиновом костюме с газетой «Вечерняя Москва» и девушка в куртке. Она работает в трамвае. Человек ждет жену. Он позвонил ей. Но в конце концов говорит, что хватит, давайте уйдем. Он рвет пополам газету «Вечерняя Москва», и они с девушкой идут под дождь. Когда приходит его жена с двумя зонтиками, она не застает под навесом метро никого. Или пусть пьяного.

Гостеприимные бедуины, замороженные кобры, Тадж-Махал, прекрасный на фоне синего неба, а также при луне, седые обезьяны, священные коровы, танцующий, спящий, улыбающийся Будда, акула в аквариуме, богиня Кума — дочь звезд — с закрытыми удлинёнными глазами. Вот что мне надо. Я хочу видеть это и плавать в Индийском океане, чувствуя тяжесть волн.

Давайте вспомним и представим острова Океании и любимое развлечение гавайской молодежи — кататься на прибое. Мне не хватает в жизни горячего песка, белого от солнца воздуха и моря, бьющего в грудь. Нужно что-то придумать и что-нибудь изменить. Афинские боги ждут, раскрыв каменные рты, и сфинкс смотрит прямо в вечность. Я чего-то жду. До чего же великолепно, обледенев в собственном самолете, свалиться в пампасы Мексики. Свалиться, вы-

ворачивая кактусы и пугая мексиканцев в цветных одеялах. Или, как Стейнберг, приехав на берег залива, ходить в простой рубашке навыпуск и охотиться на рыбу. Чего еще надо? Хорошо также навсегда поселиться на острове Куба и вечерами ходить в портовый кабак. А львы? Я забыл про львов и про Африку. Это зимой, если можно. Так жить плохо. Рядом плавают (ходят) по морям, по океанам белые гиганты с плавательными бассейнами, салонами и палубой первого класса, где по вечерам танцуют шотландский танец под волынку и девушка по имени Сольвейг смотрит в темную воду. Завтра пароход прибудет в порт Веракрус. Стоянка двое суток. Город, прославленный любовью и сифилисом, ждет вас. Мужчины, приготовьте кольчуги. А я встаю завтра в девять часов, надеваю штаны, и все начинается сначала. А в прославленном городе Веракрус тремя часами позже встанет другой парень, взмокший от жары, желтый от хирина и бессонницы. Он посмотрит на небо отвратительной синевы, на солнце, такое беспощадное и большое, на весь тропический мир с лиловыми неграми и белыми капитанами. Он не станет надевать штанов, у него их просто нет. Испытывая легкую тошноту, он пойдет в трусах по улицам города.

А у нас весь день летний дождь, мягкая вода, и утром на асфальте будут сохнуть лужи.

Плавали листья, похожие на блины.

Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные,— все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей?

У лучших людей в прошлом — невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед, что, конечно, жить в таком свинстве нет никакого желания. К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей наплевать, что мы о ней думаем. Я мог бы очень долго говорить о жизни вообще, но это скучно. Перейдем к частностям. Вот моя жизнь, полная борьбы и непрерывного огня, служит пособием для младших школьников.

Хочется писать пьесу про Египет с мумиями и прочим. Так хочется — я вчера видел в хронике пирамиды, и сфинкса, и все остальное в сильном солнце, желтое, даже красноватое — удивительно хорошо можно написать. И пусть они (мумии) будут уже не в славе. Была такая мысль — начинать пьесу с конца и привести все к началу, как к первопричине, но здесь это ни к чему.

Все будет в трех единствах. И начать мне хочется утром — они сидят камерно на вершине пирамиды спиной к зрительному залу. Вокруг все серое, утреннее, и они говорят — две мумии. А можно: он мумия и она не мумия. О чем же они говорят?

— Как называется ваша звезда?

— Вега — на Земле. У нас по-другому. Я уже забыл, это очень длинное слово.

Ну пусть он будет последним из мумий, все вымерли, <нрзб.>, и он последний, самый молодой, смотрит на звезду, свою звезду, которая должна утром быть на горизонте. Он ждет, как и все, корабль и должен умереть по какой-то причине очень скоро.

Писатель из Мурманска, которого в газете называли так: северный кормщик пера.

· За душевные качества
И за внутренний мир
Полюбил некрасивую
Боевой командир.

Она жила на шоссе Энтузиастов, и это название всегда имело для Тони прямой смысл — ее провожали только энтузиасты.

Коридор киностудии. На двери приколота бумажка «Вытирайте ноги». Перед тем как постучаться, я долго их вытирал. Оказалось — зря. «Вытирайте ноги» — это название новой картины. За дверью в дымной комнате трудилась ее киногруппа.

На платформе под дождем плакали и целовались. Я позвонил тебе по телефону и сказал, услышав в трубке женский голос:

— Я стою на площади среди вокзалов и трамвайных звонков. Не знаю, как у тебя, но здесь хлещет дождь. Я сейчас попрошу у отпускного военного винтовку и застрелюсь в телефонной будке.

— Слушаю,— сказала ты.— Кто это говорит?

— Тебе сообщат письмом. Его найдут в кармане, обыскивая мое тело.

— Здравствуй, Гена,— сказала ты.— Почему ты не звонил?

— Почему ты дома? Через семь минут я уезжаю, вагон шестой, поезд тринадцатый.

— Я забыла.

— Подожди секунду,— сказал я.— Тут недалеко стоит вооруженный солдат.

— Гена,— сказала ты.

— Товарищ! — крикнул я в трубку.— Уступите ваш карабин. Тося, ты меня отчетливо слышишь? Я застреливаюсь, привет Патриаршим прудам.

Я трубкой вышиб стекло, толкнул дверь и уехал в Бийск. Я ехал семь дней мимо сотен почтовых ящиков, но я порвал все открытки и выбросил в окно все, чем можно писать тебе.

В солнечный день мы медленно переезжали Волгу. Стоя в тамбуре перед раскрытой дверью, я смотрел вниз. Волга была мутная, внизу плыли бревна, и так захотелось мне кинуться с высоты об эти бревна.

Лежал на своей полке, закрыв глаза. Я вспоминал тебя ужасно долго. Если бы это было вслух, меня бы убили через полтора часа. Я вспоминал одно и то же. Прости, память, может быть, есть вещи никому не интересные, может быть, я зря мучаюсь.

Хорошая интермедия, отчего-то названная «Бедные люди Парижа». А название пластинок? Слушайте: «Я знаю, чего тебе не хватает», «Счастливей 13-й номер», «Почему бы нет» (фокстрот), «Барышня, вы еще свободны?» (фокстрот), «Как часто ты меня целуешь», «Эзоп и муравей» (на чешском языке), «Бим-Бам-Боус», «Банджо Бенд Билли». Мексиканские страсти на языке немцев. Чехи тоже стараются, воображая, что ничего не случилось. А еще есть чудесное название «Семь греческих мудрецов в доме терпимости».

Три танкиста, три веселых друга,
Перешли границу у реки.

Хорошая привычка — говорить встречным гадости.

Так как у него не было рук, ног, левого уха, позвоночника и части живота,— он выступал на радио.

Шел дождь, и белые шары фонарей дымились.

Не люблю, когда рядом, в темноте, едят апельсины — классовое чувство.

Я подошел к шведскому посольству, и так мне захотелось выразить какой-нибудь протест, устроить хоть какую-нибудь манифестацию или обыкно-

ным образом высадить красивое окно из цельного стекла. Ах, почему я не рабочий?

Шел по улице Герцена поэт Кирсанов в черных штанах, серой куртке, весь седой и маленький. Шел гордо.

У Пушкина «могила зеваючи ждет жильцов». Могила утром зевает — ее отрыли, и она ждет, пока кончится отпевание.

Разрешите вас ударить в морду? Позвольте вам откланяться.

Ух, как отвратительно жить в любом состоянии, даже в лучшие времена! А что надо? Чтоб глаза добрые и волосы русые? Нет, не надо, хотя и это очень хорошо. Бессмысленность начатого дня, и я не знаю, зачем встаю.

Было чувство прерванного разговора, когда начал «Фиесту». Так, словно все сначала. Я лежу в пустом номере в Кронштадте и читаю в который раз желтенькие страницы. Там, где они ехали вместе с басками на крыше автобуса по белой дороге, задевая пыльные ветки, у меня закружилась голова — от подробностей.

У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум.

Склочная жизнь последних недель окончательно выводит меня из равновесия. От жары это, что ли, происходит? Сашка ездит к умирающему от рака деду с портфелем. В портфеле — бутылка с компотом. Скука. Дед, конечно, умрет. А какие я вижу сны! Я просыпаюсь, все забывая, но сегодня мне снилась тюрьма, и удивительно не к месту были посажены в нее люди. Лето началось, булыжное и асфальтовое лето Москвы. Неужели я уеду? Никуда. Что-то мне беспокойно и плохо все последние дни. Я и сам не знаю, отчего это происходит. От жары. У меня и мысли дикие. Присмотревшись, понял: людям — всем — решительно нечего делать, жизнь <нрзб.> не то, чтобы найти занятие и куда-нибудь себя деть. Вечерами это заметнее всего. Если избавить людей от работы и дать им хлеб другим путем — что-то тогда будет?

У пьесы должна быть простая и очевидная для всех мысль. Лучше, если это будет мысль вообще. Такая, например: кто-то считает — все, что делается на земле, — это все не просто так, не бескорыстно, что в любом человеческом проявлении сначала есть личный интерес, и ничего нельзя совершать просто так. А другой так не считает, у него человеческий подход к жизни: люди — стадные существа и должны жить сообща, помогая друг другу.

Ужасный туман, но очень красиво. Обывательские пьесы вроде так и делаются.

Виктор Платонович Некрасов, Виктор Некрасов, чьи книжки я люблю. Он стоял в ДК в белых штанах, синей рубашке, в простых сандалиях, маленький, крепкий, положив волосы вперед, и разговаривал о чем-то, жестикулируя. Я на него долго смотрел. Он прекрасный писатель.

Зубные врачи работали в атмосфере ужаса.

Насколько приятнее быть тем, кто слушает, читает, смотрит, нежели поставщиком. Хорошо утром открыть газету, не подозревая, чего она стоила.

Все обстоит таким образом: делать нечего на земле, и все ужасно скучают. Сначала живут по одному, постепенно сатанея. Потом нужно жить с кем-то и тоже сатанеть. Неужели всё так?

Теперь кино можно называть как угодно и пьесу тоже, как и рассказ. Можно — «Продовольственный магазин» (фильм), «Жена педиатра», «ПК» (пожарный кран), «Никитские ворота», «Магазин обуви», «Крымский мост», «Бородинский мост», «Лефортово», «Патриаршие пруды», «Садовое кольцо» — как угодно.

Вот мелочь, которая наверняка забудется в повседневности. Сейчас кончают памятник Маяковскому. На заборе, который окружает площадь, висит доска: «Сооружение памятника В. В. Маяковскому производит СУ-38». Строительное управление в конце концов воздвигает все памятники, какие только бывают...

Ночью снятся ужасные вещи: утонувшие соседи, мертвые и живые товарищи, ты приснилась зачем-то. Пьяный кошмар. Около четырех я встал напиться, открыл форточку — ветер в лицо, — утренний, все еще серое, и еще горят фонари. Хорошее время, когда просыпаются дворники и меняются постовые милиционеры. Ездит по пустым улицам машина, и милиционеры меняются. В прошлом году, просидев над bestолковыми бумажками, я гулял в это время по Москве. На Пушкинской все было освещено красным солнечным светом, все было мокрое от поливальных машин, и под деревьями стояли зеленые лужи, и зеленые ручьи стекали на мостовую. А на Патриарших было тихо, и окна были по-утреннему раскрыты, скамейки перевернуты, и пруд был желтый, и по его воде плавали ветки, листья и газета.

Все мы были молоды, и многие
блевали в унитаз пивного бара,
который стоит на площади
Пушкина.

После перепоя,
после боя
кажутся зелеными обои.

— Петрарка, а Петрарка, — говорила Лаура, — приходи ко мне, пожалуйста, — ста, но приходи с друзьями.

Какой-то красивый парень
Пил с некрасивым в паре
В очень пустом баре.
Веселый пил с невеселым,
Плечистый пил с неплечистым,
В баре светло и чисто.
Потом ударил красиво
Красивого некрасивый,
Красивый свалился на пол
И лежал на полу, красивый,
Пивом на голову капал
Ему некрасивый.
Капал хорошим пивом
Из пол-литровой кружки,
Пиво падало мимо
Головы на опилки и стружки.

Женщины будут подавать нам тарелки, а мы будем их бить.

И я постарею, я буду гулять вечерами вокруг Патриарших прудов в валенках и рассказывать детям неталантливые сказки.

Хороший тост — проклятие — проклятие тем, кто не пьет.

Утрилло и Матисс напивались вместе, и знакомый полицейский отводил их в участок на Монпарнасе.

— Добрый вечер, месье Утрилло, — говорил начальник в чине майора. — Какие новости, месье Матисс? Опять вы напилась, что же мне с вами делать?

— Я трезв, майор — говорил Утрилло.

— И я, — говорил Матисс, — я не пил две недели.

Тогда майор давал Утрилло кисть и холст, и Утрилло писал в полицейском участке картину. Ее оставляли на стене, потому что полицейские на Монпарнасе тоже понимают живопись. А Матисс был прост, как его картины. Он писал солнце на море, разноцветные флажки, лодки, паруса и пристани. Пикассо был вместе с ними, но они умерли, а он живет, он ходит в полосатой майке.

Я хочу, чтобы у меня была красивая жена, бунгало на берегу моря и дети, крепкие ребята, обязательно мальчишки. У них должны быть светлые волосы, я буду учить их плавать и стрелять из лука, они будут расти настоящими мужчинами, как Том Сойер. Потом у них появится Бекки Тэчер. Они не станут волочиться за ней и гулять по улицам, они уведут мою машину, и в машине на заднем сиденье будет сидеть Бекки Тэчер. У них будет все, чего был лишен я. Они вырастут простые и сильные, я научу их простым делам, они будут равнодушны к моей работе, но будут здорово понимать, как ловить рыбу спиннингом и бить кефаль под водой. Я хочу, чтобы у меня были такие ребята, хотя бы двое.

Когда меня снимают, я всегда получаюсь очень глупым. У меня хорошее лицо, но, когда меня снимают, я на секунду вдруг делаю очень глупое лицо, а потом снова все хорошо. Но фотография — ужасна.

Сегодня я был у Екатерины Николаевны Виноградской, я очень рад этому, и у меня был хороший день.

Она рассказывала о том, как в нее был влюблен Пастернак, и о том, как они познакомились, и тогда Б. Л. сказал ей: «Я увидел вас, и меня словно ударило в грудь». А потом на Новый год у Асеева (все женщины были прекрасны, мужчины были очень талантливы, на белой стене был нарисован красный петух, вошедшим рисовали на щеке птиц, а женщинам распускали волосы). Б. Л. подошел к ней со спины, положил ей голову на плечо и сказал:

— Не прогоняйте меня, если я вам не понравлюсь, пожалуйста.

А вначале они поднимались по темной лестнице на восьмой этаж, и было очень темно. Кто-то сказал об этом.

— Я буду сверкать глазами! — сказал Б. Л.

А потом, в мае, они сидели у Виноградской в доме в Серебряном переулке. Б. Л. пришел вечером и остался на ночь, не заметил, как остался. Утром Екатерина Николаевна села на подоконник, окно было раскрыто, Б. Л. сидел напротив, они смотрели вниз, улица светлела, было пусто и прохладно, пели птицы. Б. Л. слушал птиц, закрыв глаза и качая головой в такт пению. Екатерина Николаевна смотрела в одну сторону улицы, Б. Л. Пастернак видел другую.

Е. Н. увидела, как женщина идет пустой улицей к их дому. Это была Женя, жена Пастернака. Б. Л. сидел к ней спиной и не видел ее. Женя знала, где он ночью, и пошла за ним, но она увидела Е. Н. в окне, остановилась у водосточной трубы и пошла обратно. А потом, летом, они ночью ходили по Москве, по Арбату и переулкам, стояли в переулках и у прудов. А зимой (в первый вечер у Асеева) они катались ночью на санках по Москве. У Е. Н. были светлые волосы. Какое это было время — и не осталось ничего, старость осталась одинокая, кошка, дача (второй этаж). Я бы хотел с ней дружить.

Этюд по освещению и композиции. «Побег Овода из тюрьмы». 800 метров Овод пилит решетку.

Раньше здесь на стене висело зеркало, потом его сняли, и по утрам я смотрелся в стену, надевая кепку, и вечером, возвращаясь с работы, я включал свет в прихожей и смотрел в стену, как раньше в зеркало.

Я подумал, сколько было изношено всем человечеством белых крахмальных рубашек, костюмов, штанов. Куда девается одежда современников? Она изнашивается, и все новое, красивое превращается в хлам или в вещи покойников, вечные вещи покойников. А куда пропадают молодые люди в коротких пальто, в ярких ботинках и в зеленых шляпах? Это ведь тоже поколение, которое производит, как и белые рубашки, впечатление вечности. Но все это — слава конферансье или клоуна. Было много конферансье, и сейчас они новые. Да, еще о звездах кино, они тоже, как и рубашки, производят впечатление вечности.

Надо, чтобы человеку, как старику и Хемингуэю, снились львы! Снятся ли мне львы? Что я вижу ночами?

Умерла бабушка, 6 декабря, в 6 часов 5 минут вечера в госпитале на Октябрьском поле. За три часа до смерти я был у нее, на улице было очень хорошо, солнечно, таял снег, а утром было прекрасно — снег валил сквозь солнце, воздух был такой мягкий и весенний, и небо хорошее, и снег. Я пришел к бабушке, она, вероятно, не узнала меня.

Я погладил ее руку, она открыла глаза с обводинами и сказала:

— Мне плохо.

Я спросил:

— Что тебе плохо?

— Нет сил, — сказала бабушка.

Она дышала, как будто у нее в горле стоял комок и его нужно было откашлянуть. Мне все время хотелось, чтобы она откашлялась.

Мы ушли по коридору в половине третьего и никогда ее больше не увидели живой. В семь часов мы вошли к ней в 10-ю палату, и она лежала прямая, побелевшая, губы у нее были очень белые и щеки желтые, но не запавшие. Нос заострился немного. Челюсть у нее была подвязана марлей, как будто болят зубы. В палате горел слабый ночной свет и было полутемно. Потом дядя Сеня сказал, чтобы зажгли свет, яркий свет под потолком. Покойник в ярком свете еще страшнее, хотя бабушка лежала в кровати совсем не страшная, хотя и мертвая. Все было необыкновенно просто, и о ней говорили, как о постороннем, а я поцеловал ее в щеку, холодную и свежую, поправив марлевую повязку. Когда она была еще живая, она лежала на подушке очень красивая, у нее большое лицо, седые волосы, мама заплела их в короткие косички с марлевыми ленточками, чтобы они не трепались. Я не знаю, как мне быть. Сколько мне предстоит провожаний, таких и страшней. Почему так устроена жизнь, что люди расстаются и за этим нет ничего, все пусто и мертво? Остались бабушкины вещи, это значит вспоминать и плакать долго-долго. Я действительно ее любил и так боялся последний год, что она скончается. Когда она засыпала, я подходил и смотрел на нее, она спала как мертвая и слабо дышала. Я думал: вот такая она будет, какой ужас! А она была не такая сегодня. Я сижу в комнате один, уже ночь, за окном, как плачущие дети, кричат кошки, ужасно тоскливо от их крика, у меня больно на сердце, и мне страшно. Какая предстоит тяжелая эта неделя, и все еще впереди. Я не могу лечь в кровать.

Что нужно для счастья? Чтобы все были живы, все родные, знакомые, близкие, чтоб никто не болел и не умирал. Главное, чтобы все были живы. Я ничего не хочу, пусть никто не умирает. Это трудно вынести живым, мертвым все равно. Я не доживу до 76 лет, мама тоже, отец — никто не доживет. Я не боялся смерти, когда был рядом с бабушкой, мне казалось, что я мог бы лечь рядом на свободную кровать и остаться подле нее всю ночь. Но сейчас мне страшно, хотя вокруг спят люди, и я понимаю, как нужно дорожить счастьем того, что есть на каждый день. Я был счастлив, когда все было хорошо и бабушка жила. Теперь мне плохо и не скоро будет хорошо. Нельзя примириться с тем, что произошло, нельзя и поверить, хотя я видел все своими глазами. Я хочу с кем-ни-

будь говорить, но все спят. Я много писал о смерти, но я ничего не знаю, это вполне определилось сегодня, потому что все было беспомощно перед случившимся, все слова и дела ничего не значили, все было смешано. Я не могу забыть ничего. Комната наполнена движением бабушкиного тела, ее позами, словами, глазами. У меня не было никакого предчувствия. Я сегодня думал, что все будет хорошо и буднично хорошо и я пойду учиться завтра, как раньше. Нет.

Мама родила меня очень молодой, ей было восемнадцать лет. Она говорила: «Когда ему будет двадцать лет, мы будем танцевать, так как мне только исполнится тридцать восемь. Но мы танцевали редко. Я не помню, чтобы это было серьезно.

Грустный парень с острова Суматра
На рассвете девушку доел.

Парень, который во время вечеринки ходит по комнатам и выкручивает лампы. Настольную вывернуть просто, он садится на диван и выворачивает. В коридоре он подставляет стул, падает, пьяный.

Синие ресницы на блюде.

Человек, у которого такая странность — повсюду, где он бывает, он рвет предисловия у всех книжек. Берет с полки любую книжку, открывает ее — и рвет предисловие.

Ты меня все время видишь в одной рубашке, но это совпадение — у меня много рубашек.

Никогда не держите военного под руку — могут подумать, что он пьяный.

Люди ехали с работы в троллейбусе, продолжая говорить о работе. Они говорили о всякой ерунде, радуясь. Мне было ужасно гнусно их слушать.

Нас травили в газовой камере хлорникрином. Задание было такое. Сначала мы сидели в противогазах и сквозь стекла смотрели на серое вещество, лежащее на полу. Стекла туманились от дыхания. Я достал из кармана грифель и протер стекла, они стали ясными. У меня был просторный противогаз, я ни разу не открывал его. Я даже не знал, какой номер моего противогаза. Хлорникрин свободно проходил в маску. Потом полагалось еще меняться противогазом с преподавателем. Он давал исправный противогаз, нужно было определить неисправность и ликвидировать ее. У меня был поврежден шланг. Я отвинтил его от маски одной рукой и закрывал глаза и нос другой. Я уронил коробку (далее — сажал коробки, с открытием глаз и рвотой).

На улице было так сухо, что хотелось выпить. Пойти куда-нибудь и немедленно выпить, напиться, чтобы после гулять по сухому вечернему городу и чтобы не было сухо в горле.

Природа признавала поражение.

Если бы мне сказали: «Ты умрешь через пять дней», — я бы что-нибудь успел сделать и поговорил со всеми, но мне не сказали. Я почувствовал, что умру сегодня, и вот пишу вам это, все прекрасно сознавая.

Как пьяный кончал жизнь самоубийством, прыгая с Бородинского моста. Река была покрыта льдом. Он надеялся пробить лед и уйти под воду, чтобы не всплыть потом. Он прыгнул, но не пробил лед, а сломал об него ноги. Он сидел на льду пьяный, растегнутый, замерзший и плакал от боли. А тем временем

его знакомые и родные получили последние письма, где он все описал и со всеми распрощался, и его девушка плакала у телефона, потому что он позвонил ей полчаса назад и сказал, что он прыгнет с Бородинского моста.

ФРГ послала в Республику Гана своего полномочного посла, а там его съели. Правительство Ганы направило канцлеру Аденауэру письмо, в котором было написано так: «Нам очень жаль, но вашего посла съели дикие племена побережья Золотого Рога. Пришлите еще одного». Из Германии попросили вернуть останки погибшего посла. «Останков нет,— писали из Ганы.— Все съели. Эти дикари не оставляют останков и даже мелких костей. Они варят из них суп. Просим принять наши уверения в весьма глубоком почтении».

— Вы уважаете читать Есенина или не уважаете?

— Я его уважаю, но я его не читала.

— Ну, что для вас сделать, чтобы вам понравиться? Хотите, я сделаю пластическую операцию!

В такую погоду хорошо хоронить врагов.

Вот Коля стоит, значит, еще жив.

О, эти вечные разговоры о том, что декабристы были богатыми людьми! Как будто восставали только рабы.

Я шел ночью по улице и смотрел в окна. Внизу были окна, низкие, прямо у мостовой, там горел свет и на длинном столе девушки делали абажуры, они свешивались с потолка, лежали в углу, яркие синие, оранжевые, красные и светло-зеленые абажуры.

По яркости окраски это похоже на венки из бумажных цветов. Их продают на рынке около кладбища. Венки лежат на снегу, висят на стене сарая, стена мокрая, на крыше снег, день тихий послеснежный, это когда утром шел снег, а днем все белое и спокойное, венки среди снега очень красивые с бледно-голубыми, красными, фиолетовыми и зелеными цветами. Там еще были синие цветы, яркие и синие-синие.

На кладбище было очень хорошо, снег лежал на могилах, солнце светило сквозь деревья. Из церкви выносили покойников, всего их было семь. И каждый раз впереди шел человек, который нес крышку от гроба на голове.

А перед этим я слышал разговор двух людей с фотоаппаратами.

— Какую выдержку давать?

— Дай двухсотку.

— Ты думаешь?

— Снега много.

— А диафрагма?

— Поставь четыре с половиной.

— Ты считаешь, что хватит?

— Хватит, сегодня светло.

Когда вынесли покойника и поставили гроб на специальный стол, фотограф взял табуретку и полез на сугроб. Он воткнул табуретку в снег, встал на нее и начал снимать умершего в гробу и родственников. Он снимал их немного сверху, чтобы все получились. Родственники стояли очень серьезные и строгие и смотрели кто куда.

Сегодня был очень хороший день, было тепло, и снег вокруг лежал такой чистый, белый и не городской, что я снял пальто и почистил снегом пиджак. Утром я еще не знал, какой сегодня день. В комнате было, как в сумерках. У меня после водки болела голова и хотелось пить воду. А по радио передавали классическую музыку, женщина пела романс Даргомыжского «Она, как пол-

день, хороша». Я не открывал глаза, а лежал просто так, и это было похоже на детство, на то, что я маленький, и вернулся днем из школы, и сижу на кухне в валенках, и по радио передают классическую музыку, а за окном все белое от снега. Днем всегда передают классическую музыку, я всю жизнь слушаю ее днем, когда случается сидеть перед репродуктором.

На кладбище много смешных профессий, кроме фотографов, там есть художники, они пишут на шелковых и более дешевых лентах имена и от кого венки. На кладбище есть отдел эпиграфии <нрзб.>. В храме молодой священник читал за упокой. Он все делал серьезно и строго и ни на кого не смотрел. Я подумал: хорошо бы его совратить. Кто бы это сделал? Дая. Она бы его совратила. Он звонил бы ей по телефону и покупал коньяк, потому что Дая любит коньяк. А еще хорошо бы написать список своих врагов и отдать их этому парню, чтобы он прочел их за упокой. Живых — за упокой. Что бы с ними после этого произошло? Наверное, ничего. Но это приятно — отплатить врагов у алтаря.

Было много старушек, готовых умереть от старости. Мы все тоже умрем, но не от старости. Я хочу философствовать в такой хороший, редкий день. Мы очень плохо живем в молодости. Я всегда думаю, что все еще будет. Завтра? Нет, но будет, ежедневная жизнь — предисловие к празднику. Ничего не будет, это все неправда. Где оно, мое большое спокойствие к малым делам, равнодушное и веселое выражение лица? Его нет. Вчера я ездил к Зашипиной. Я действительно любил ее, у меня стучало сердце, я уходил к реке и сидел, как дурак, над прозрачной водой. Я любил ее и заслуживал всего наилучшего. Оставим то, что было в прошлом, это ерунда. Но вчера я приехал, чтобы для себя проститься со своей юностью и с тем, что я сам выдумал и так улучшил по сравнению с подлинником. Подлый подлинник — это не про нее, это просто очень хорошо сочетается. А она девочка неумная и пошла в дозволенном пределе. Я вчера смотрел, как она причесывается, и думал: за что я тебя любил, чего в тебе хорошего? Мне не нужно было напиваться, но я здорово напился и наблевал три умывальника по убывающей степени. А она пошла с Женькой спать. Хочется написать слово «стерва». Но я не знаю, как ей это понравится. Ну, конечно: ах, какая стерва! Теперь гораздо легче. Напиваться было не нужно, я зря напился. С гаданием было смешно. Мы сидели через стол, между нами Галя Ершова, и она гадала нам в отдельности, и нас в отдельности любили дамы и короли, по радио говорили о переписи, ты сидела с распушенной головой, и было ужасно плохо и трагично, как в будни.

Я пишу это на рассвете*. Сейчас лето 71-го года. Пишу, потому что это все уйдет (может, уйдет), не вспомнится, забудется. Не мною, конечно. Вообще может уйти. Пишу потому, что еще, может, и не успею я это написать — по самым разным обстоятельствам. По суете, может быть. По здоровью. Потому что многие это не успели доделать. Пишу, как пишется, особо не заботясь о стиле повествования. Как сложилось за эту ночь в голове. Постараюсь все изложить кратко, времени у меня мало, да и не о себе. Поэтому ограничусь работами, которые не все — так мне кажется — дойдут до вас. Конечно, я родился писателем — по призванию, по влечению, но, как это часто бывает, много не успел. Сегодня я даже не мог всего прочитать, что сочинил... Итак, успел я мало. Думал иной раз хорошо (как и многие), но думать — не исполнять. Слава Богу, что у меня хватает ума это понимать — про себя хотя бы. Но каждый успевает отпущенное. Вот это — уж точно. Не знаю кем...

Устану да и надоест, так что заранее прошу простить: я многое пропущу, и не сознательно, а так, пропущу — и все тут. Внешняя жизнь очень часто заслоняет внутреннюю, но, в общем, меня это особо не волновало, хотя за чем я тогда это все пишу поутру, летом? Значит, волновало. Но, честное слово, не очень меня все это волновало, да и не сумею, наверно, как следует и кратко написать перечень работ и даже не надеюсь в этой краткой записке рассказать все, что я

* Эта запись сделана Г. Шпаликовым в той же тетради намного позже, 22 июля 1971 года. — *Ред.*

думаю, что пережил. Не думается мне, что это особо уж интересно, хотя жизнь каждого человека, по-моему, интересна по-своему, если, конечно, он успеет или сумеет достаточно внятно ее изложить. Боюсь, что начинаю сбиваться на общие места, что большая опасность, потому что большая опасность — и все тут. Особо для сочинений такого рода.

<Нрзб.> отпущенное, но тут есть свои законы. Я мог сделать больше, чем успел. Знаю это точно. Не в назидание и не в оправдание это пишу — пишу лишь, отмечая истину. У меня не было настоящего честолюбия, хотя многие будут считать, что это совсем и не так. А так — не было. У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков. Пишу об этом совершенно всерьез, потому что твердо знаю, что при определенных обстоятельствах мог бы сделать немало. Обстоятельства эти я не знаю, конечно, смутно догадываюсь о них, никого не виню — тем более эти смутные обстоятельства, но что-то уж было. Так мне кажется сегодня, 22 июля 1971 года, да и раньше иной раз казалось.

В общем, мне, конечно, не повезло. Хотя что такое — повезло? Этого я тоже не знаю, но, в общем-то, могу представить. Я не строил свою жизнь по подобию тех, кто мне нравился, и не потому, что этого не хотел, не мог, хотя, наверно, уж не мог, но то, как все у меня в конце концов сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже.

Пишу это не в состоянии минуты, а подумав, хотя и верю, что и минута — верна как минута. Чего еще ждать?

Пусть хоть так.

1957—1958

Стихи о выздоровлении

Целебней трав лесных,
А трав настой целебен,—
Пусть входят в ваши сны
Орел и черный лебедь.

Я вам не говорил,
Но к тайнам я причастен,—
Размах орлиных крыл
Прикроет от несчастий.

О, тайны ореол,
И защитит орел,
И лебедь успокоит.

Невзгод не перечесть,
Но, если что случится,
Запомните, что есть
Еще такая птица —

Не лебедь, не орел,
Не даже дух болотный,
Но прост его пароль —
Он человек залетный.

Беда ли, ерунда
Взойдет к тебе на крышу,
Ты свистни, я тогда —
Ты свистни,— я услышу.

1969

Лето

Летали летние качели,
 На самом деле,
 Дитя орало в колыбели,
 И летний день куда-то плыл.

И травы превращались в сено,
 Не сразу, скажем,— постепенно,—
 Все было, было постепенно,
 Как постепенен летний день.

* * *

Зубы заговаривал,
 А теперь — забыл
 Я секреты варева,
 Травы ворожбы.

Говорю: дорога
 Лучше к январю,
 Что глазами трогал,
 То и повторю.

То, что губ касалось,
 Тронула рука —
 Это не казалось,
 А наверняка.

Говорю: во плоти
 Вижу существо,—
 А во мне колотит
 Жизни волшебство.

Зубы заговаривать,
 Чепуху молоть,
 Чтоб дорожкой гаревой
 Убегала плоть.

Чтобы возле рынка,
 В сборище людском,
 Плавать невидимкой
 В небе городском.

1973

Сон

Там, за рекою,
 Там, за голубою,
 Может, за Окою,
 Дерево рябое.

И вода рябая,
 Желтая вода,
 Еле выгребаю,

Я по ней плыву,
 Дерево рябое
 На том берегу.

Белая вода —
 Ты не море,
 Горе — не беда,
 Просто горе.

П. К. Ф.

Что за жизнь с пиротехником — Я продам нашу дачу,
Фейерверк, а не жизнь, Распродам гардероб,
Эта адская техника, Эти деньги потрачу
Подрывной реализм. На березовый гроб.

Он веселый и видный, И по рыночной площади,
Он красиво живет, Мимо надписи — стоп —
Только он, очевидно, Две пожарные лошади
Очень скоро помрет. Повезут его гроб.

На народном гулянье, Скажут девочки в ГУМе,
Озарив небосклон, Пионер и бандит —
Пиротехникой ранен Пиротехник не умер,
Окочурится он. Пиротехник погиб.

1959

Бессонница

Бессонница, бываешь ты рекой,
Болотом, озером и свыше наказаньем,
А иногда бываешь никакой,
Никем, ничем — без роду и названья.

Насмешливо за шиворот берешь,
Осудишь, в полночь одного посадишь,
Насмешливо весь мир перевернешь
И шпоры всадишь.

Бессонница... Ты девочка какая?
А может быть, ты рыба? Скажем, язь?
А может быть, ты девочка нагая,
Которая приходит не спросясь?

Она меня не слушала,
А только кашу кушала
И думала: прибрать бы, а может, постирать,
А может, вроде свадьбы чего-нибудь сыграть?

Чего-то, вроде, около —
Кружилось в голове,
Оно болотом скокало,
То справа, то левей.

Я говорю: не уходи,
Ночь занимается.
Ночь впереди и позади,
Лежать и маяться.

А ей-то, Господи, куда?
Мороз, пороша.
Беда с бессонницей, беда —
Со мною тоже.

Ночь

На окошко подуешь — получится
Поцелуй, или вздох, или след,
Настроенье твое не улучшится,
Поцелую тому столько лет.

Эти оконы, зимние, синие,
Нацелованы до тебя —
Все равно они ночью красивые
До того, что во тьме ослепят.

1974

Противоположность мнений

Широкий поворот реки,
Прими меня в свои объятия,
От этой жизни отвлеки,
Река, подруга и приятель.

Рука и быстрая река —
Какие схожие понятия.
Обнимет, но наверняка
Обманет женская рука,
Отнимет быстрая река.

Но почему наверняка
Обманет женская рука?
И почему меня река
Так неожиданно отнимет?

А если так — река обманет,
Рука любимая обнимет
И не отдаст наверняка!

* * *

От мороза — проза
Холодеет так,
Розовая рожа,
Вскинутый пятак.

Чет, нечет,
А может, черт,—
Может, все возможно,
Если улица течет
У тебя подножно.

Если улицы, мосты,
Переулки, лестницы
Навсегда в себя вместил —
Все во мне поместится.

Все поместится во мне,
Все во мне поместится,
Онемею — онемел,—
Переулки, лестницы.

* * *

Жила с сумасшедшим поэтом,
Отпитым давно и отпетым.
И то никого не касалось,
Что девочке горем казалось.

О нежная та безнадежность,
Когда все так просто и сложно,
Когда за самой простотою —
Несчастья верста за верстою.

Несчастья? Какие несчастья?
То было обычное счастье,
Но счастье и тем непривычно,
Что выглядит очень обычно.

И рвано, и полуголодно,
И солнечно или холодно,
Когда разрывалось на части
То самое славное счастье.

То самое славное время,
Когда мы не с теми — а с теми,
Когда по дороге потерей
Еще потеряться не верим.

А кто потерялся — им легче,
Они все далече, далече.

1974

* * *

Собака ты, собака,
Ты рыжая, я — сед.
Похожи мы, однако,
Я твой всегда сосед.

Похожи мы по роже,
А также потому —
Тебе, собака, сложно:
Ты все-таки Му-му.

1973

Жлобам на свете проще,
Собака, ты не жлоб,
И дождь тебя полощет
И будит через жёлб.

Мне от того не хуже,
Не лучше — ничего,
Собачья жизнь поможет,
Излечит от всего.

Посвящается Феллини

Мертвец играл на дудочке,
По городу гулял.
И незнакомой дурочке
Он руку предлагал.

А дурочка, как Золушка,
Ему в глаза глядит,—
Он говорит о золоте,
О славе говорит.

Мертвец, певец и умница,
Его слова просты —
Пусты ночные улицы,
И площади пусты.

«Мне больно, мне невесело,
Мне холодно зимой,
Возьми меня невестою,
Возьми меня с собой».

* * *

О рыжий мой, соломенный,
Оборванный язык,
Когда плывешь соломинкой —
Я к этому привык.

Собачья жизнь, собачья
На этом берегу.
Но не смогу иначе,
Наверно, не смогу.

1974

* * *

У лошади была грудная жаба,
Но лошади — послушное зверье,
И лошадь на парады выезжала
И маршалу молчала про нее.

А маршала сразила скарлатина,
Она его сразила наповал,
Но маршал был выносливый мужчина
И лошади об этом не сказал.

* * *

Стоял себе расколотый —
Вокруг ходил турист,
Но вот украл царь-колокол
Известный аферист.

И за границей весело
В газетах говорят,
Что в ужасе повесился
Кремлевский комендант.

Отнес его в Столешников
За несколько минут,
А там сказали вежливо,
Что бронзу не берут.

А аферист закованный
Был сослан на Тайшет,
И повторили колокол
Из пресс-папье-маше.

Таскал его он волоком,
Стоял с ним на углу,
Потом продал царь-колокол
Британскому послу.

Не побоялись бога мы
И скрыли свой позор —
Вокруг ходил растроганный
Рабиндранат Тагор.

И вот уже на Западе
Большое торжество —
И бронзовые запонки
Штампуют из него.

Ходил вокруг да около,
Зубами проверял,
Но ничего про колокол
Плохого не сказал.

* * *

Я пуст, как лист,
Как пустота листа.
Не бойся, не бойсь —
Печаль моя проста.

Однажды наравне
Заговорила осень —
И это все во мне,
А остальное сбросим.

Пускай оно плывет,
Все это, — даже в лето,
Безумный перелет —
Но в это, это, это...

* * *

О, когда-нибудь, когда?
Сяду и себя забуду,
Не надолго — навсегда,
Повсеместно и повсюду.

Все забуду, разучусь,
И разуюсь, и разденусь,
Сам с собою разлучусь,
От себя куда-то денусь.

1973

*Публикация Дарьи ШПАЛИКОВОЙ.
Подготовка текста Ларисы ОМЕЛЬКИНОЙ*



Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

Дети, отцы и деды

Государство — это я

Фон, на котором протекает «новое русское детство», поистине катастрофический. И по своей катастрофичности в русской истории беспрецедентный. Ведь сокрушенное государство не только не заменено *реально* новым, нет даже *фантомного образа* этого нового. Как сказал поэт, «образа мира, в слове явленного».

Зато образы власти ярки и персонажны настолько, что могут конкурировать со злодеями из волшебных сказок — кощеями, лешими, водяными. И главное определяющее свойство представителей власти тоже восходит к мифологии. Это *злокозненность*. Что сейчас слышит ребенок уже в раннем детстве? Что **они** обманывают, надувают, грабят, издеваются, не дают жить, отключают электричество, не платят зарплату, закупают за границей вредную еду, бомбят мирные города, убивают ни в чем не повинных жителей, бросают на произвол судьбы беженцев, плодят бомжей и беспризорников, обрекают всех, в том числе и детей, на голодную смерть и вообще **хотят всех уморить** (последний мотив становится все более популярным). Причем если взрослые принимают сегодняшнюю ситуацию как нарушение нормы, то наши дети иного и не знают. Враждебная человеку власть для них импринтинг, первообраз, прочно впечатавшийся в память. В памяти этих детей уже нет картинок типа «воин с ребенком на руках», «глава государства на трибуне Мавзолея, обнимающий девочку с букетом», «дядя Степа-милиционер». Нет государства как института отцовства, нет Отечества.

А какие чувства порождает безотцовщина? Чувство отверженности, неполноценности, беззащитности. Отсюда множественные страхи и — как обратная сторона медали — агрессия. Недаром психологи и психиатры сейчас приходят в ужас от бурного роста детских фобий и подростковой агрессивности.

Крах государственного патернализма в любом случае создает избыточные психические нагрузки для отдельной личности. У нас же это особенно опасно. Не будем забывать о глубинной тяге русских к общинности, с одной стороны, и о глубинном анархизме — с другой. Когда государство стабильно, общинность играет доминирующую роль, анархизм же присутствует в скрытом, подавленном виде. Это, как говорят генетики, рецессивный ген. Общинность же — главенствующий, доминантный. Ну а в периоды смуты анархизм, наоборот, может занять — и занимает! — основную позицию. Но самое опасное, когда «вольница» становится коллективной, когда ослабленное нестабильностью общинное чувство заражается вирусом анархии. Вот она, гремучая смесь, приводящая одних в банды, а других на баррикады! Нынешние дети напиваются этой гремучей смесью с самого рождения.

А если учесть, что современная массовая культура несет в себе мощнейший заряд агрессии, то получается, что подпитка происходит и изнутри, и извне. Посмотрите мультфильмы, которые показывают сегодня малышам: и сюжет, и изобразительная манера, и интонации героев, и даже частота кадров — все провоцирует агрессию.

А компьютерные игры? Чего стоят одни только восклицания дошкольника, сидящего за пультом домашнего компьютера! У матери стынет сердце, когда из соседней комнаты доносится тоненький голосок: «Меня убили! Я убит!»

Вообще компьютерные игры заслуживают и серьезного исследования, и серьезного разговора. Здесь мы скажем лишь о том, что они подспудно формируют у современных детей психологию сверхчеловека. А что еще может получиться из ребенка, который уничтожает целые города и государства простым нажатием кно-

пок? Он сидит перед экраном, а там много движущихся человечков, изображенных вполне реалистично. Этакие ожившие лилипуты, и ребенок-Гулливвер ими владеет. Он может в любое мгновение эту жизнь остановить, прервать.

Нам возражат: дескать, раньше дети играли в войну, в солдатиков. Разве там не убивали? Это так, но в компьютерных играх граница условности недопустимо сдвинута в сторону реализма. И сдвигается все больше и больше. Недаром сейчас принято говорить о виртуальной **реальности**. И вот какое мы сделали наблюдение: степень увлеченности компьютерными играми прямо пропорциональна психологическому дискомфорту. Чем больше у ребенка психологических трудностей в жизненной реальности, тем глубже он погружается в виртуальную. Конечно, уход от реальности в мир фантазий и игры всегда был присущ людям с тонкой, ранимой психикой. Но чтение книг и тем более творчество требуют немалых усилий. А тут все по дешевке, почти задаром! Научился быстро нажимать на кнопки — и ты король.

Когда вы слышите, что ребенок ничем, кроме компьютерных игр, не интересуется, не обманывайтесь словом «интерес». Не может у интеллектуально полноценного ребенка вызывать устойчивый интерес то, что однообразно и легко достижимо. Интерес лежит за пределами игры и называется «жаждой власти».

Но это не власть какого-то сверхчеловека, сверхволи — в общем, всего того, чем бредили в конце XIX — начале XX века поклонники Ницше. Сегодня сверхчеловек — это герой криминальной субкультуры. Если можно так выразиться, *субчеловек*, сниженный, примитивный и, что самое существенное, агрессивно насаждающий эту примитивность как наивысшее жизненное благо. Этакая суперрептилия.

Стихия редукционизма — а попросту говоря, примитивности — захлестывает земной шар. И на Западе дети мало читают и до опупения смотрят телевизор или играют в компьютерные игры. И там у умных взрослых это вызывает тревогу. Но там реализации «сверхчеловеческих» претензий мешает крепкое государство.

У нас же, напротив, оно всячески подпитывается и даже возводится в ранг высочайшего достоинства! Сколько уже сказано и написано про то, что мы росли зажатými, закомплексованными! Зато наши дети будут раскрепощенными и свободными. Сказано — сделано. И, конечно, с пресловутым русским размахом...

И вот какая вырисовывается картина: государственная власть «отвратительна, как руки брдобрея», воспитатели и учителя — школьная власть — вообще не власть, а «обслуга», родители потакают своеволию ребенка, путая его со свободой. «Пусть вырастет хозяином жизни! — говорят они и с тайным удовлетворением добавляют: — Ничто на него не действует: ни уговоры, ни просьбы, ни ремень. Если что вобьет себе в голову — все равно настоит на своем!..» Плюс подпитка властолюбия компьютерными играми и боевиками, где герои — крутые супермены, по сути, ничем не отличающиеся от уголовников. Плюс криминальный воздух в стране...

«Государство — это я», — говорил Людовик XIV. В разоренном русском королевстве сейчас подрастают миллионы людовиков. И не только во дворцах, но и в хижинах, поскольку психология сверхчеловека растиражирована. Еще несколько лет — и масса королей и королюков станет критической. «Я» будет много. А государств?

Образцовые индивидуалы

Из детских учебников постепенно исчезает слово «народ». Да и вообще оно становится все менее употребительным. Сначала его старались не употреблять, чтобы не пахло советской патетикой, потом — чтобы не сталкиваться с каверзным вопросом: «А что такое народ? Определите!» Ну а теперь как будто и определять стало нечего. О каком едином народе, спрашивают, может идти речь, если один народ подался в богачи, а другой обнищал? Третий работает на богачей, а четвертый, прокляв кабалу заводов и фабрик, где надо было «пахать» от звонка до звонка, торгует в свое удовольствие на рынках. Так что вместо единого народа страна теперь состоит из этаких членов различных клубов по интересам. А некоторые и вовсе одиночки, сами себе клуб. Дескать, где та общность, та объединительная идея, которая позволяет называть жителей сегодняшней России словом «народ»?!

— И слава Богу! — говорят либералы. — Что хорошего было в этой общности (а если называть вещи своими именами — стадности)? Пора понять, что наш пресловутый коллективизм — это порок, которого надо стыдиться. И распрощаться с ним раз и навсегда!

Но, как показывает опыт последних лет, отказ от установки на общность очень быстро приводит в нашей стране к весьма печальным и уродливым последствиям: к мафиизации (то есть все равно к созданию общности, только преступной) и к распы-

лению культурных слоев, которые и есть «несущая конструкция» государства. Соответственно и государство быстро идет в распыл.

И надежды на закон как высший регулятор жизни — последнее прибежище либералов — это роковое заблуждение. В который раз желаемое выдается за действительное. То, что у нас не работают законы, даже неприлично повторять — настолько это сегодня стало общим местом. Это говорят все, вплоть до законодателей из Государственной Думы, которых так и хочется спросить: «Тогда зачем вы там заседаете?»

Но давайте вдумаемся, что стоит за расхожими словами о царящем у нас произволе. Разве нарушителей закона никогда не наказывают и торжествует лишь беззаконие? Разве не бывает неподкупных судей? И, наоборот, разве в тех странах, которые славятся своим уважением к законам, не бывает судебных ошибок, подлогов, разве там никогда не засуживают невиновных, польстившись на крупные взятки? Как же тогда громкие скандалы, то и дело вспыхивающие в самых разных странах?

Почему же у европейцев или американцев нет устойчивого впечатления, что их захлестывает стихия беззакония, а у нас есть?

Вы скажете:

— Потому что там не такая высокая преступность.

Но в Штатах, например, количество заключенных почти такое же, как у нас: в 1996 году число зеков у нас составляло 586 человек на 100 тысяч, а в США — 557. Так что дело, очевидно, не в этом.

Люди часто чувствуют правильно, а точно выразить словами свои чувства не могут. В данном случае мы сталкиваемся именно с таким феноменом. Работают у нас законы! Худо-бедно, но работают. Только не решают они, а вернее, не определяют нашу жизнь. Для кого-то это, может быть, очень огорчительно и даже возмущительно, но возмущаться тут почти так же бессмысленно, как возмущаться дождем или жарой. Такое отношение к законам лежит в самой сердцевине русской культуры, в культурном ядре. Тут и пренебрежение формальностями и явное предпочтение неформальных, человеческих отношений всем остальным. Одно это слово «человеческий» говорит само за себя! Все остальные формы контактов, стало быть, нечеловеческие... «Я же с тобой по-человечески разговариваю, а ты...» — последний аргумент в конфликтном диалоге.

И в суд здесь обращаются только в самых крайних случаях, когда *по-человечески* договориться не удастся. А очень часто и не обращаются вовсе, ссылаясь на волокиту. Хотя это тоже внешнее, формальное объяснение. А на самом деле таскаться по судам противно, противоестественно. Те же, для кого обращения в суд естественны и не вызывают никакой внутренней неловкости, те, кто по любому поводу вчиняет иски обидчикам, в условиях нашей культуры делятся на две категории: на профессиональных юристов и городских сумасшедших. Хотя в антураже западной культуры многие представители второй категории были бы отнесены к людям с развитым правовым сознанием. А у нас таких в лучшем случае называют сутягами. Отчетливо презрительный оттенок этого слова (аналогов которому, между прочим, в других европейских языках нет) даже у ярых поборников «священного права» не может вызвать сомнений.

— Ну, что вы мудрствуете? — поморщится оппонент. — Просто лень вперед нас родилась. Да! Нам лень открыть Уголовный кодекс, проконсультироваться с юристом, грамотно составить исковое заявление, регулярно справляться о ходе дела.

Но не странно ли, что тем же самым людям не лень таскаться в набитых электричках на загородный участок и два выходных дня, не разгибая спины, работать на огороде?

Вы скажете: они вынуждены делать это, чтобы не умереть с голоду. Но, во-первых, на грядках возятся не только обнищавшие люди, а во-вторых, уж если речь зашла об экономических соображениях, то выигранный судебный процесс сулит гораздо большую выгоду, чем самолично выращенная картошка.

Так что суть не в рациональных причинах, а в глубинной, невытравляемой тяге к земле и столь же глубинной для нашей культуры неприязни к формальному праву. В первом случае душа лежит, а во втором — с души воротит.

Из этого, конечно, не следует, что нам вздумалось воспеть произвол, но какие-то явления нужно принимать не потому, что они нам нравятся, а потому, что их бессмысленно отвергать. Явления-то не исчезают, а мы от бесплодной борьбы впадаем в состояние хронического стресса.

Ну а что же означает приоритет человеческих ценностей над правовыми? Как тут сплетается общественная ткань? Она сплетается из множества неформальных контактов: родственных, дружеских, приятельских, прямых и косвен-

ных, очных и заочных. Помните в 70-е годы слово «нужник»? Так называли продавцов товаров и услуг, которые что-то доставали из-под полы. То есть нужных людей. С точки зрения человека, выросшего в обществе, где приняты более формальные контакты, в подобных отношениях нет ничего оскорбительного. Полезный человек? Очень хорошо! В нашем же культурном контексте функциональное отношение к человеку травмирует. И того, к кому так относятся, и того, кто так относится. Недаром наши отношения почти мгновенно выходят за рамки деловых (нередко в ущерб делам). А люди, окруженные исключительно «нужниками», становятся мизантропами и считают, что мир состоит из подонков, что никому нельзя верить и что в конечном итоге никто никому **не нужен**. (Ну разве не парадокс?!)

Конечно, неформальными контактами пронизана жизнь в любом обществе, но в России за счет того, что их множество, общественная ткань очень плотная. По сути, это и есть общинность.

Другое дело, что она бывает как бы разных сортов, разных уровней: стадность, коллективизм, соборность. И, выражая неприязнь к общинности, называя ее стадностью, обычно имеют в виду или нижний уровень (толпу), или средний, когда он граничит с нижним. Подобных примеров в советское время было хоть отбавляй. И, конечно, когда человек сталкивается с такими уродливыми проявлениями, ему хочется их искоренить.

Быть может, тема искоренения нам знакома несколько больше, чем многим нашим читателям. Когда проблемного ребенка приводят на консультацию, родители, как правило, надеются, что специалист устранил, то есть искоренит недостаток: застенчивость, лень, упрямство, агрессивность.

— Он у нас такой тихий (или, наоборот, слишком развязный), — говорят они. — Вот мальчик на лестничной клетке, его ровесник, ну, совсем другой!

И за этими жалобами отчетливо или смутно угадывается мольба: «Пусть он будет, как тот! Пусть будет другим!»

Думаете, мы скажем сейчас, что они хотят невозможного? Нет, все возможно. Подавляешь волю ребенка разными психолого-педагогическими приемами (или, если использовать модное словечко, технологиями) — и вчерашний драчун превращается в тишайшее, кротчайшее существо. Сломленное, правда. Не оживленное. Слово замороженное. И соответственно безынициативное, равнодушное. Родители на такого ребенка не могут смотреть без слез и мечтают уже о том, чтобы он вернулся в свое обычное состояние. Пускай будет драчуном, лишь бы самим собой, прежним! Яркие примеры такого «перерождения» — это дети после длительного пребывания в больнице, в отрыве от родителей. И, конечно, жертвы тоталитарных сект, где человека перекодируют, предварительно полностью подавив его волю.

Так что путь ломки и искоренения недостатка далеко не самый удачный. Мало того, он чреват множеством опасностей.

Продолжим пример с агрессивностью. Кто-то может сказать:

— Да, родителей, конечно, неестественная кротость ребенка огорчает. Зато окружающие вздохнут с облегчением.

Но, условно говоря, волк не может долго находиться в наглухо зашитой овечьей шкуре. Рано или поздно он начнет задыхаться, и когда приступ удушья будет грозить ему гибелью, зверь в неистовой ярости разорвет не только опостылевшую овечью шкуру, но и всех окружающих. И снова предстанет в обличье волка. Однако теперь это будет взбесившийся, а значит, еще более опасный волк.

Что же делать? Оставить агрессивного человека в покое? Пусть будет такой, как есть, чтобы близкие хватались за голову, а чужие шарахались? Тоже ничего хорошего. Тогда где выход?

Самый, как нам кажется, продуктивный путь — это не искоренять недостаток, а... превратить его в достоинство. Ведь если разобратся, то практически в любом недостатке заложен потенциал достоинства, нужно только перевести этот недостаток на новый, более высокий уровень, возвысить его. Возьмем все ту же агрессивность. Плохо? Безусловно. Но если человек не дерется с кем попало, а возвышается до активного защитника слабых, его агрессивность переходит в ряд достоинства, элевировается. Или, скажем, жадность. Это, конечно же, порок, а для нашей культуры особо тяжкий. Но элевированная жадность становится бережливостью, что уже воспринимается со знаком плюс. Застенчивость, переведенная на более высокий уровень, преобразуется в скромность, высокомерие — в чувство собственного достоинства, слабоволие — в умение идти на компромиссы (в идеале такой человек может стать миротворцем), упрямство — в упорство, анархизм — в творческую самостоятельность. Каждый может мысленно продолжить этот перечень.

Мы много раз шли по такому пути, работая с трудными детьми и подростками. И получали отрядные результаты. Свой метод повышения уровня личности, возвышения души мы называем психоэлевацией. И думаем, что основные принципы такого подхода стоило бы перенести — естественно, творчески, с поправками — на общество.

Так что отвергать, искоренять общинность в России — занятие бесплодное и небезопасное. Лучше подумать, как ее элевировать, чтобы она не деградировала в стадность, не регрессировала до воровских банд, не вырождалась в тоталитарное подавление личности.

Если же продолжать упорствовать, то дети, обреченные на жизнь в противостественных для нашей культуры условиях, непременно нам отомстят. И отомстят быстро, страшно.

Психологи, анализирующие детские рисунки, дружно отмечают, что они становятся все более мрачными, что в них все отчетливей просматриваются темы одиночества и агрессии. Защиты нет ни в обществе, ни в семье. В последние годы большинство детей рождается у матерей-одиночек. Во многих семьях дети испытывают хронический дефицит общения.

При этом установки продолжают быть вполне традиционными. Одна из популярнейших родительских тревог — плохая контактность ребенка. А как тут поначалу кинулись все, кому не лень, посещать разные тренинги общения! (Сейчас, правда, поостыли.) Что, разве у нас общаться не умеют? То-то эмигранты из России не устают говорить о том, что они больше всего скучают по **настоящему общению!** Получается, что дело опять-таки в другом! В том, что дар общения в России — сверхценность. А поскольку люди здесь повышено самокритичны (это тоже свойство национального характера), многим кажется, что столь необходимый дар развит у них недостаточно. И они наивно полагают, что тренинги общения «поспособствуют». (Очевидный курьез, ибо тренинги общения пришли к нам отсюда, где как минимум сто последних лет тема одиночества одна из культурных доминант!)

Собственно говоря, и претензии к детям в плане общения часто бывают завышены. Предположим, родители жалуются, что ребенок замкнутый, нелюдимый — словом, бука. А когда начинаешь расспрашивать поподробней, оказывается, что у юного анахрета есть товарищ. Даже два! Но в большом детском коллективе малыш теряется.

— Все играют, а он рядом, — взволнованно поясняет мать. — Хочет, а решить-ся не может.

Взгляните из окна во двор и понаблюдайте за детской площадкой. Многие ли дети играют в одиночку? Или вы думаете, так везде?

— У вас дети всегда что-то делают вместе, — сказала нам одна немка. — У нас не так.

И действительно, будучи в Германии, мы заметили, что там дети предпочитают играть если и рядом, то не вместе — каждый сам по себе.

И вот что существенно. В последние годы мы наблюдаем резкое смещение воспитательных усилий в сторону дошкольного периода. Родители, словно спринтеры, полностью выкладываются на первой стометровке. Как будто она последняя. Это касается и интеллектуального развития, и умения общаться. Причем в сфере общения эти перекосы особенно вопиющи. На самом деле в дошкольном возрасте многим детям вполне достаточно общения в кругу семьи и во дворе. Их же запикивают в детские сады, нередко с травматическими последствиями для психики. А когда спрашиваешь: «Что, не с кем было оставить?» — часто слышишь в ответ: «Почему не с кем? Бабушка рада бы его дома нянчить. Но надо же приучать к коллективу! Как он дальше жить будет?»

Однако когда дело приближается к подростковому возрасту и наступает наиболее благоприятный, как говорят психологи, *сензитивный*, период для встраивания ребенка в общество, оказывается, что этим никто не озабочен. И, наоборот, детям по всем возможным каналам транслируется современная установка на индивидуализм.

В результате возникает очень серьезный конфликт: с такой установкой на индивидуализм вступают в борьбу и архетипическая общинность, и воспитание в раннем детстве, и сама логика нашей жизни, весь ее уклад. Дети-индивидуалисты попадают в разряд изгоев, им приходится защищаться показным высокомерием, которое требует огромных психических затрат и, следовательно, исподволь разрушает психику. У таких детей обычно масса проблем, они озлоблены, раздражительны — коротко, искажены. И в перспективе это, конечно, не подарок ни для семьи, ни для общества.

Но если кто-то думает, что, наплодив индивидуалистов, мы наконец-то преобразуем наше общество и оно станет «нормальным», то спешим его огорчить. Так не будет. Внутренний конфликт найдет и свое архетипическое разрешение. Вместо того чтобы вступить в конкурентную борьбу между собой, «свободные российские индивидуалы» вступят в борьбу с государством, насаждающим противостественные для их нутра установки и соответственно воспринимающимся как нечто чужеродное и откровенно враждебное. Да, собственно, они уже вступили на разных уровнях, о чем мы вроде бы написали вполне достаточно! Но поскольку анархическому гену привычнее здесь быть в подавленном состоянии, период неприятия государства вообще будет длиться скорее всего недолго. И на смену ему неизбежно придет период борьбы с данным конкретным государством во имя построения нового. Наши исторические уроки в этом отношении достаточно наглядны.

Впрочем, есть и «мирный вариант». Знаете, кто быстрее всех воспринял западно-либеральную установку на неагрессивный индивидуализм? Когда не то что человек человеку волк, а ты никому не должен, но и тебе никто не должен. И вы друг друга не трогаете. Живете рядом, но не вместе. И в любую минуту вольны уйти, вернуться, снова уйти и уже не вернуться никогда. Сегодня вам захотелось вступить за слабого — и вы вступились, а завтра неохота, «в лом» — и вы невозмутимо проходите мимо знакомого малолетки, которого обижают здоровые лбы. Главное — «я хочу». Это и догма, и в то же время руководство к действию. Правда, действие очень быстро сводится к удовлетворению элементарных биологических потребностей. И, как с удивлением отмечает люди, изучающие эту среду, в ней практически не образуется устойчивых социальных связей. Ни негативных (шайка), ни позитивных (коллектив). Даже если люди живут бок о бок целый год. Это квазисообщество и квазиз жизнь, которая в большинстве случаев и длится совсем недолго, — в этой среде очень много ранних смертей.

Наверное, все-таки есть высший смысл в том, что на русской почве принципы либерализма смогли идеально воплотить только... современные беспризорники.

Мой отец был очень мягким человеком

Шли мы недавно мимо Дома литераторов и видим на дверях афишу, из которой явствует, что Дворянское собрание, Общество дворянской молодежи, Русский императорский театр намерены устроить торжественный вечер, посвященный вступлению в возраст престолонаследия цесаревича Георгия, и приглашают всех желающих.

Ну, что тут, казалась бы, особенного? Мало ли какие сюжеты мелькают в этой новой игровой реальности, которую некоторые наши интеллектуалы величают пост-исторической! Тем более что разговоры о восстановлении монархии ведутся в печати уже не первый год.

Почему же мы вздрогнули и, будто не поверив собственным глазам, перечитали афишу вслух? А потом переглянулись и одновременно выдохнули: «Это будет конец».

— Да что у вас, баб, за страсть по любому поводу впадать в панику? — упрекнул нас приятель. — Почему конец? Я как раз вижу в восстановлении монархии хоть какую-то надежду на перемены.

Большинство друзей, правда, вообще не удостоило наше сообщение сколь-нибудь серьезным ответом. Дескать, о чем тут говорить? Очередной маразм кремлевской власти...

Но, на наш взгляд, все же имеет смысл порассуждать о последствиях этого шага. Потому что он, конечно же, не очередной, то есть не заурядный. И, конечно же, в нынешней тупиковой ситуации может быть предпринят.

Мы не будем вдаваться в политические подробности и обсуждать, кто истинный наследник, а кто самозванец. Нас вопрос монархии применительно к сегодняшней России интересует в принципе: чем это чревато в культурном и психологическом плане. И прежде всего для детей и подростков.

Кому из взрослых людей не знакомо желание в один прекрасный день бросить все и начать жизнь с начала, с чистого листа? Картины, которые они мысленно рисуют при этом, как правило, по-детски романтичны. Даже лубочно-сказочны. И немудрено: ведь при психических травмах (а ощущение, что жизнь зашла в тупик, естественно, травмирует) нередко наблюдается эмоциональный регресс, люди отчасти впадают в детство. И чем меньше подкреплены картины будущего реальным опытом, тем они сказочней.

В нашей стране практически не осталось людей, живших при настоящей монархии. Поэтому образы, которые рисует фантазия наших сограждан при слове

«царь», основываются не на реальных картинах, а скорее на чем-то вроде билибинских иллюстраций к русским сказкам. Этакая лепота и благообразие. А сказка, она всегда с хорошим концом... Да и потом в ней есть волшебство, а это так созвучно вечному русскому ожиданию чуда!

Ну а поскольку в массе своей люди стали меньше читать серьезную литературу, получается, что им просто неоткуда почерпнуть правдивую информацию. Что там царь?! Уже и Распутин объявляется фигурой неоднозначной, а кто-то даже называл его истинным патриотом, «оболганным врагами Отечества еще при его жизни». И все компрометирующие этого «патриота» документы квалифицировал как фальшивки.

Так что если часть общества вдруг отнесется «с пониманием» к реставрации монархии, в этом не будет, право, ничего удивительного. А вот что будет — это уже другой вопрос.

Тут нас могут ожидать малоприятные сюрпризы.

Казалось бы, все понимают, что разрыв поколений не есть благо. И для народа, и для культуры. Сколько говорено, сколько написано о сломе всей жизни после революции, о том, как ужасно, когда дети ниспровергают авторитет отцов, а отцы смотрят на детей как на выродков! И как все в результате идет вразнос.

Теперь нам это предлагают повторить, причем нередко те же самые люди, которые вроде бы искренне скорбят о прерванной в октябре 1917-го связи времен.

— В конце концов что такое отрезок длиной в семьдесят лет? — рассуждают они.— Взять да и отрезать! И связать историческую нить, выбросив все ненужное на помойку.

И опять ненужными оказываются люди, сотни миллионов людей. Потому что, если действительно здесь, как гласит широко растиражированная формула, «полстраны сидело в лагерях, а вторая половина их охраняла», такое лучше поскорее вытеснить из памяти и из истории как ночной кошмар. А главный вывод, который из этого следует, как ни прискорбно, заключается в том, что наши с вами предки — все поголовно! — были либо палачами, либо идиотами, тупо и покорно следовавшими за палачами. Ну да, лучшие люди были уничтожены или уехали в эмиграцию, генофонд невосполнимо оскудел, так что остались одни дегенераты!..

Думаете, мы будем сейчас «агитировать за Советскую власть», рассказывать о достижениях науки и культуры? Нет, не будем. Об этом и без нас многократно говорено. Мы лучше продолжим тему «отцов и детей».

Сначала две цитаты:

«Я ношу его фамилию, и в моих жилах течет часть его крови. У нас с самого раннего детства было очень нормальное отношение к дедушке. И к прадедушке, и к прапрадедушке. И вообще к тому роду, который я представляю».

«Мой отец был очень мягким человеком... Столько написано о... его нетерпимости к чужому мнению, о грубости... Все это, заявляю откровенно, беспардонная ложь... Это по его настоянию... был наложен запрет на любое насилие над обвиняемыми... Не был мой отец тем страшным человеком, каким пытались его представить в глазах народа тогдашние вожди. Не был и не мог быть, потому что всегда отвергал любое насилие».

Коротко об авторах: первая цитата взята из интервью правнука Сталина, а вторая (про мягкого человека, отвергавшего любое насилие) — из книги «Мой отец — Лаврентий Берия».

И не надо думать, что это единичные курьезы. Вспомните потоки мемуаров, хлынувшие со страниц журналов и газет в первые годы перестройки. Они пестрели фактами и событиями, но лейтмотив был один: «Мой отец (дед, прадед, муж, брат) невинен и чист, а все остальные виноваты».

Так что заявление одного из наших виднейших реформаторов, беспрестанно высказывающего претензии к тоталитарной власти, что у него **нет никаких претензий** к дедушке (который эту власть воспел и вдобавок, по слухам, самолично порубил шашкой два села), — вовсе не бред сумасшедшего. Напротив, именно такие на первый взгляд абсурдные утверждения защищают психику от распада. Это только в кино выглядит очень эффектно, когда муляж дедушки выкапывают из могилы, опять закапывают, снова выкапывают, а в финале сбрасывают с обрыва в пропасть и кончают с собой. Дескать, пусть прервется род палачей!

С настоящим дедушкой все гораздо сложнее. Если признать, что твой дед — палач, то, значит, кто ты сам? Потомок палача? И на тебе лежит страшное проклятие? И ты должен какими-то неслыханными подвигами, мученичеством искупать невинно пролитую кровь? И бояться поднять глаза на людей? И не знать, что сказать своему сыну о прадедушке?.. А если ты еще и узнаешь порой в себе дедушкины гены... Тогда надо в буквальном смысле слова стать Иваном, не помнящим родства, и отка-

заться от всего того, чем это родство снабжало. Нельзя чувствовать себя внуком палача и спокойно жить в его квартире, наследовать его дачу, пользоваться его связями при устройстве в институт или на работу. То есть, конечно, можно, но это порождает такой внутренний конфликт, которого человек всеми силами постарается избежать. А как? «Отречься от старого мира» невероятно трудно. Тем более что тебя связывает с дедушкой не только собственность, не только стартовая площадка карьеры, но и такая естественная, перекрывающая все резоны родственная любовь. И, может быть, это и есть самое главное.

Ну а если все-таки обрубить связи с прошлым, то сделать это, не повредив ядро собственной личности, просто невозможно, что легко наблюдать на примере сектантов, порывающих связи с родными и, как правило, изменяющихся до неузнаваемости (даже термин такой есть — «измененные состояния психики»). И, конечно, ярчайший пример — беспризорники. Причем не те, которые потеряли родителей волею обстоятельств, а те, кто ушел из семьи добровольно. Люди, занимающиеся проблемой беспризорности, утверждают, что таких «добровольцев» сейчас большинство. И что они кардинально отличаются от беспризорников времен гражданской войны, так талантливо описанных Макаренко. Пожалуй, самая пугающая их особенность — это сильная аутизация, при которой ядро личности делается ускользающим, неуловимым. Настолько, что встает вопрос: а есть ли оно вообще, это ядро? Потому и ползет, рассыпается социальная ткань в этой среде. Не на что опереться, не за что зацепиться, непонятно, на чем выстраивать социальные отношения, что взять за основу серьезного неформального контакта.

Однако это крайности, а в большинстве случаев все-таки подсознательно стремятся защитить свою личность от разрушения и мобилизуют охранительные механизмы. Но поскольку утверждать, что никаких злодеяний не было, уже невозможно (слишком много свидетельств) да и не нужно (осуждение советской истории еще и соответствует сегодняшней конъюнктуре), оптимальный выход из положения — это резко развести историю и дедушку, сказав себе: «История преступна, дедушка невинен». Но разве такое возможно? Да, возможно: не знал, обманывали, хотел изменить, но не мог; хотел хорошего, но не успел; пробился на самый верх, чтобы расшатать систему изнутри, и т. п.

Для индивидуальной психики это, конечно, защита, хотя и небезупречная, ибо такая позиция сужает интеллектуальный горизонт, запрещает человеку думать и сомневаться — короче, оглушает. Но для общества и государства подобная самозащита смертельна. Это как раз и есть неестественное для нашей культуры завешивание своих окон железным занавесом. Мало того, человек не просто отгораживается от мира. Он отождествляет этот мир (историю, народ, государство) со злом и не желает иметь с ним ничего общего. Чем больше таких «семейных портретов в интерьере», тем меньше опора у государства. Кому захочется служить злу, защищать зло?

Собственно говоря, все это уже произошло на наших глазах, когда распался Советский Союз, а никто и пальцем не пошевелил, чтобы его защитить. И вполне может повториться, но теперь уже на уровне России.

В создавшейся ситуации нам только монархии не хватало! С кем будет отождествлять себя человек, втиснувшийся в рамки семейного портрета, если однажды в утренних новостях вдруг объявят монархию?

Правда, у нас сейчас столько дворян развелось, буквально у всех обнаружались дворянские корни... Слушаешь и недоумеваешь: так выбили дворян во время революции или преумножили? И куда подевались крестьяне, рабочие и толпы пресловутых кухарок, ринувшихся в 1917 году управлять государством? Может, они предвосхитили политику планирования семьи и, твердо придерживаясь «принципа ответственного родительства», решили не рожать в непростых социальных условиях, а благородные господа, будучи политически незрелыми, плодились, как кролики? А может... может, Россия вообще была не крестьянской, а дворянской страной? Да-да, нам же преподносили историю в искаженном виде! Вот и здесь, наверное, исказили...

Теряясь в самых фантастических догадках, мы наконец обратились к документам. Последнюю крупную перепись в дореволюционной России проводили сто лет назад, в 1897 году. В «Таблице распределения населения по сословиям и состояниям» (приведено в справочнике «Россия 1913 г.», СПб, 1995) читаем:

«Дворян потомственных — 1.221.939 чел. (0,97%), дворян личных и чиновников с семьями — 631.245 чел. (0,5%), духовенства христианских исповеданий с семьями — 587.023 чел. (0,4%), потомственных и личных почетных граждан с семьями — 343.111 чел. (0,27%), купцов с семьями — 281.271 чел. (0,22%)...» Это к вопросу о мощи и многочисленности купеческого сословия в предреволюционной России! «Мещан (к которым относились в те времена и рабочие, и ремесленники, и приказчики

в лавках, и прочая обслуга.— **Прим. авторов** — 13.391.701 (10,66%), **крестьян** (выделено авторами) — 96.923.181 чел. (77,12%), инородцев — 8.297.965 чел. (6,6%)».

К 1913 году население России увеличилось примерно на 33,5 миллиона. Но отнюдь не за счет дворян! Весь правящий класс, в который входили и помещики, и буржуазия, и высшие чины, увеличился всего лишь на 0,1%.

Так что отождествлять себя с дворянами, конечно, можно. Но только в философском смысле: дескать, все люди — братья, все от Адама и Евы.

А в реальности не нужно долго докапываться до генеалогических корней, чтобы убедиться в очевидном: подавляющее большинство наших граждан, в том числе и правящая элита, происходит из крестьян.

Но, может, это хотя бы богатые крестьяне, которые со временем, если бы не октябрьские беспорядки, стали помещиками?

Снова обратимся к «сухим цифирям».

По данным 1913 года, из 109 миллионов крестьян бедняков было 66%, середняков — 20% и соответственно кулаков — 14%. А в результате коллективизации число последних не только не возросло, но и резко сократилось.

В «Записках» крупного царедворца Е. Ф. Комаровского нарисована сцена патристического подъема, охватившего московское дворянство при встрече с императором Александром I. Когда он призвал дворян оказать сопротивление Наполеону, «все зало огласилось словами: «Готовы умереть скорее, государь, нежели покориться врагу! Все, что мы имеем, отдаем тебе: на первый случай десятого человека со ста душ крестьян наших на службу». Все бывшие в зале не могли воздержаться от слез. Государь сам был чрезмерно тронут и добавил: «Я много ожидал от московского дворянства, но оно превзошло мои ожидания».

Нашим читателям, у которых эта сцена, вполне возможно, и сегодня вызывает умиление, хорошо бы иметь в виду, что их предков в зале Слободского дворца скорее всего не было. Они с гораздо большей вероятностью могли оказаться среди тех, кем так щедро распорядилось патристичное дворянство. Будто это не живые люди, а часть состояния, ничуть не более одушевленная (хоть их и называли «души»), чем пашни, лес, домовые постройки, фамильное серебро.

А через сто с лишним лет, в 1938 году, И. А. Бунин в знаменитом рассказе «Темные аллеи», описывая встречу своего героя с некогда страстно любимой женщиной «из простых», заключает этот рассказ очень характерными словами: «Да, пеняй на себя! Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но Боже мой, что же было бы дальше? Что если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда, не содержащаяся постоянно Ии, закрывая глаза, качал головой...»

Сегодняшние читатели Бунина, восхищаясь этим поистине гениальным произведением и ностальгируя по «России, которую мы потеряли», все же не должны забывать, что прообразом героини, которую барин Николай Алексеевич соблазнил в тринадцать лет, а потом, как было принято в то время и в том кругу, бросил, вполне могла послужить его прабабушка. Это, конечно, не значит, что нужно проникнуться классовой ненавистью к большому писателю, но забывать, «откуда ноги растут», глупо и подло.

«Если вы забыли, чьи вы дети, я вам напомню», — говорила одна учительница своим расшалившимся ученикам.

Вот так и нам сама жизнь быстро напомнит о наших корнях. Как уже напомнила многие печальные уроки истории.

Но чем же психологически чревата для нас реставрация монархии? Даже если она будет, как уверяют многие, чистым символом, декорацией. (Хотя в таком случае уж тем более нелепо так рисковать!)

Прежде всего это чревато усилением социальной шизофрении. И так-то трудно уместить в одной голове папу-банкира, дедушку-партийца, прадедушку — стойкого «солдата революции» и прапрадедушку — просто солдата, которого — цитируем по Куприну — «унтер-офицеры жестоко били... за ничтожную ошибку, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю». Или не солдата, а рабочего. Или портного из местечка в черте оседлости... Сочетать все это с романтическими образами царя и господ-офицеров можно было только в бесклассовом обществе, которое худо ли, бедно ли, но сложилось у нас после войны. Теперь эта роскошь будет нам недоступна.

Пока, правда, еще действует инерция — видно, слишком сильна была эгалитарная советская привычка. Даже у людей, которые любят порассуждать о естественности неравенства и о том, как, в сущности, хорошо, когда человек по праву своего

происхождения возвышается над другими,— даже у них за этими рассуждениями не встает реальных, зримых образов.

Но они очень быстро встанут. Как сейчас уже для многих, населяющих постсоветское пространство, за словами «гражданская война» стоят не только образы любимых актеров, но и лица своих убитых детей.

Особенно полезно подготовиться к восприятию слова «реванш». А то вчерашних комсомольцев, которые любили петь в стройотряде у костра про поручика Голицына и корнета Оболенского, могут ждать неприятные сюрпризы при встрече с героями песен. Точнее, с их потомками, которые, вполне возможно, захотят вернуться в Россию и занять подобающее их происхождению место в иерархической структуре. А учитывая, что в дворянской среде принято чтить предков и что многие из этих предков (хотя и не все), работая в эмиграции таксистами и официантами, не считали такую судьбу справедливым возмездием, вернувшись потомки, немного освоившись, начнут восстанавливать свою истинную, по их представлениям, справедливость и захотят посчитаться с потомками «отъевшегося хамья» (выражение З. Гиппиус).

И если наши политические актеры, похоже заигравшиеся во всероссийском балагане, самоуверенно рассчитывают, что купленный графский титул послужит им надежной индульгенцией на все времена, то мы вынуждены их разочаровать: расчет наивен. То будет лишь первый акт представления. Новым спасителям России не усидеть в одной лодке с внуками сотрудников ГУЛАГа. Им не позволит это сделать та самая дворянская честь, о которой они получали представление не из советских песен.

Из пепла возгорится пламя

Шизофренический раскол сознания — вещь мучительная. Человек не в состоянии примирить непримиримое, и либо раскол перерастает в распад, либо (если это, конечно, не настоящая болезнь) люди отсекают и отбрасывают за борт сознания все то, что мешает им жить.

Так, в советское время многие вытесняли из сознания мысли о лагерях, а теперь вытесняют воспоминания о погибших во время октябрьского расстрела 1993 года, во время «странной» чеченской войны и того, что так умиротворяюще-лукаво называется «локальными конфликтами». (Типичная манипуляция сознанием: война — это нечто запредельно страшное и из ряда вон выходящее, а конфликты — дело житейское, обыкновенное, да и слово «локальный» успокаивает — следовательно, конфликт маленький, ограниченный, тебя не затронет, спи спокойно.)

И в общем-то желание вытеснить из памяти советскую историю вполне понятно. Слишком много там трагического, а значит, принципиально непримиримого. Ну а как в данном случае легче всего снять трагическую неразрешимость? Нужно объявить всех жертвами системы.

Пожалуй, выразительнее, чем сын Берии, об этом не скажешь:

«У правящей верхушки не было никогда и не могло быть каких-либо доказательств вины отца, а скомпрометировать его в глазах народа было крайне необходимо... Мой же рассказ об отце — лишь штрихи к портрету человека, который честно делал свое дело, был настоящим гражданином, хорошим сыном и хорошим отцом, любящим мужем и верным другом. Я, как и люди, знавшие его многие годы, никогда не мог смириться с утверждениями официальной пропаганды о моем отце, хотя и понимал, что ждать другого от Системы, в основе которой ложь,— по меньшей мере наивно».

Если уж для такого легендарного злодея находят оправдания, то что говорить о других, действительно «без вины виноватых», о тех, кто сам никого не погубил, о людях, далеких от аппарата власти и от политики?! В определенном смысле их потомки находятся в лучшем положении: они могут обойтись без шизофренического раздвоения при взгляде на прошлое. У них на самом деле дедушка был хороший — хороший врач, хороший инженер, хороший агроном и вообще хороший.

Поэтому соблазн объявить жертвами всех и таким образом снять со всех ответственность вполне объясним. Кому-то даже может показаться, что это почва для примирения и объединения. Раз все жертвы, никто никому не должен мстить. Виновата пагубная коммунистическая идея. Вот только суд над коммунизмом устроим, приговорив его к смерти на веки вечные — и заживем!

Но давайте посмотрим на ситуацию глазами сегодняшних детей. Как они будут относиться к взрослым, которых им представляют в виде коллективной жертвы? И

жертвы отнюдь не героической — это бы, наоборот, возвысило авторитет предков, — а какой-то ужасающе бессмысленной.

Когда несколько поколений неизвестно за что положило свою жизнь, это свидетельствует, уж во всяком случае, не в пользу их интеллекта. «Страна дураков» да и только! Что, собственно, широко тиражируется уже десять лет. Но если для взрослых людей подобные сентенции являются частью сложнейшего комплекса, который замешан не только на самоуничтожении, но и на самовозвеличивании (Иван-дурак по канонам русской мифологии и есть самый умный), то для ребенка, еще не успевшего освоить этот архитипический русский образ во всей его полноте, «дурак» звучит вполне однозначно: быть дураком стыдно. Не случайно это самое первое ругательство, которое усваивают наши дети.

Конечно, в мире нет народа, который не ценил бы ум, но для нашей культуры это чуть ли не самый главный приоритет. Базовая ценность, как теперь принято выражаться.

Изобразив целый народ скопищем облапошенных дураков (а как еще квалифицировать многомиллионные бессмысленные жертвы?), детей ставят в совершенно несвойственное и непосильное для их возраста положение: они должны либо презирать своих дедов и прадедов, либо — в лучшем случае — их жалеть.

О каком авторитете старших может после этого идти речь? И о каком уважении к законам, которые эти старшие создавали? А если вспомнить, что традиционная русская культура не внушает нам священного трепета перед законом, то как, спрашивается, вы в условиях демократии заставите «непуганое» и своевольное поколение втиснуться в рамки правового государства?

И сколько бы ни создавалось комиссий по борьбе с преступностью, сколько бы средств ни вкладывалось в оснащение нашей милиции новейшей техникой, все будет уходить в песок, пока мы не признаем, что падение авторитета взрослых — в том числе и в исторической перспективе! — главная причина роста подростково-юношеской преступности. Точно так же, как главная причина быстрого распространения сифилиса среди подростков — это вовсе не сексуальная непросвещенность, не отсутствие презервативов, а падение нравов, непросвещенность души. Что, кстати, тоже непосредственно связано с утратой многими взрослыми права на роль наставников.

Действительно, разве может серьезно претендовать на наставничество известный писатель, который, выступая перед старшеклассниками, истерически восклицает:

— Мы так виноваты перед вами! Мы вам страшно лгали. Лгали безбожно! Лгали всю жизнь!

Обратите внимание на это «мы». Даже в момент покаяния он снова лжет. Ему не хватает честности сказать: «Я лгал». Писателю эта ложь, конечно, «во спасение», но юным слушателям, сидящим в зале, — во вред. Ибо для них его «мы» — значит «все». Все взрослые люди.

И сколько подобного слышали наши дети за последнее десятилетие!

«Потому у нас и нет совести, что нечего делить. Это делят по совести» (Святослав Федоров). «Гомо советикус» (Александр Зиновьев). «Место русских у параша» (Валерия Новодворская). «Совки», «манкурты», «шариковы и швондеры»... Ну, скажите на милость, кому захочется быть детьми **таких** отцов?

— Да, но отцы-то как раз порвали с тоталитарным прошлым, — возразите вы, — и теперь идут тернистой, конечно, дорогой, но зато к...

Да-да, можно не продолжать. «Старая погудка», как выражался Владимир Ильич. Опять через тернии к звездам. Но дело даже не в этом. В конце концов модель вполне традиционная. Только «звезды» какие-то тусклые, даже тухлые.

Если наши деды и прадеды погибли за то, чтобы вчерашние фарцовщики и цевковские холуи все больше жирели на оголтелом воровстве и ратовали за добровольную стерилизацию маргиналов, которые роются в помойных баках, и чтобы все это вместе называлось свободой, тогда, конечно, все жертвы были напрасны. За **такое** не стоило отдавать жизнь.

И отцов, которые дали на это добро и до сих пор, когда все уже ясно даже слепому, не стыдятся именовать беспредельное зло «издержками», таких отцов дети вправе обзвать не только идиотами, но и подлецами.

Новые «зияющие высоты» и новые принципы («мир дворцам, война хижинам») обесмысливают не только советский период нашей истории, но и всю русскую культуру.

Трудно заподозрить архиепископа Сан-Францисского Иоанна, урожденного князя Дм. Шаховского, долгие годы выступавшего по «Голосу Америки», в симпа-

тиях к революции, но даже он писал: «В эмиграции потом я встречался со многими лицами как дореволюционной, так и февральской России. Все они были жертвами, но, как я замечал с горечью, не все принимали на себя нравственную ответственность за все происшедшее и еще реже доходили до сознания своей вины перед Богом и перед своим народом».

А в его же «Поэме о русской любви» есть такое признание:

«Мы все гршили в старые года
Сословною корыстью, равнодушьем
К простым, живущим в этом мире душам.
Мы помогали братьям не всегда!
И вот стекла дворянская вода,
Изъездив облака, моря и сушу,
Я понимаю, что случилось тут,—
Благословен великий Божий Суд.

Несмотря на то что в конце приведенной строфы нет восклицательного знака, она воспринимается как скорбно-торжественное восклицание. Более того, последняя строка по сути катарсическая: понимая вину своего сословия, автор не сетует по поводу бессмысленного народного бунта, а признает высший смысл случившегося и даже благословляет справедливое возмездие. Вот традиционный русский подход к теме «униженных и оскорбленных». И, ставя крест на нем, мы ставим крест на всей русской культуре.

Однако революция очень быстро перешла в стадию пожирания своих детей, и именно с этим все мы до сих пор не можем справиться и примириться. Шарахаемся из стороны в сторону, проклиная и славословим, ссоримся друг с другом и все доказываем, доказываем, доказываем... что? Что никакой справедливости на этом свете нет и быть не может? Что миром всегда правили и будут править подонки и это нормально? И что неотмщенные жертвы должны спокойно взирать на оставшихся у власти палачей, которые плодят новых жертв?

Так не будет.

Эти постыдные обывательские штампы на фоне множущихся жертвоприношений только распалют очистительный огонь. Суд, он уже идет. Криминализация общества — это по большому счету месть истории за ГУЛАГ. Отсроченная, конечно, ибо история сначала дает возможность отомстить людям. А не дождавшись, мстит сама. В том числе и за трусость. Нарушая законы природы, пламя возгорается из пепла. Из пепла Клааса, так и не достучавшегося до оглохших сердец.

Итоги предательства. Истоки надежды

Когда думаешь о сегодняшнем массовом «одворянивании», на ум приходит известная поговорка, только в несколько измененном виде: «Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно». Гнусно, во-первых, потому, что отождествление идет по самым дешевым, недостойным подражания признакам: копируются дворцы и особняки с их роскошными интерьерами, любовь к гольфу и верховой езде, светская суета, тяга ко всему с наклейкой «элитарное», высокомерное пренебрежение к тем, кто не «свой круг», и прочая дребедень. При этом лучшему, что было во дворянстве — готовности жертвовать собой ради Отечества, никто подражать не собирается. Вспомните хрестоматийный пример с генералом Раевским, который бросился в атаку, увлекая за собой двух юных сыновей. Кто из сегодняшней элиты способен на такое? Хотя нет... Один генерал все-таки нашелся. По фамилии Пуликовский. Его сын воевал в Чечне (что само по себе феноменально в нынешней генеральской среде) и погиб там. Однако никому даже в голову не пришло преклониться перед жертвой отца, для которого, как вы понимаете, не составляло особого труда уберечь сына от войны. Кто-нибудь восхитился его самоотверженностью? Призвал политиков и военных чинов последовать примеру генерала? Да мы, наверное, даже и не узнали бы о случившемся, если бы Пуликовского-старшего не потребовалось потом дискредитировать! А тогда... тогда нам, конечно же, сообщили о гибели его сына, но в каком контексте? Дескать, отец повредился в рассудке и жаждет мести. Мол, разве можно было доверить такому человеку серьезную операцию, в которой противники — чеченцы?

Ну а во-вторых, массовое «хождение во дворяне» гнусно потому, что это самое натуральное предательство. Предательство своих предков, тех страданий, которые пришлось пережить людям, связанным с нами узами родства. О многом, наверное, думали наши деды и прадеды, но даже в страшном сне им не могло присниться, что

потомки так легко отрекутся от них и будут набиваться в родные к их притеснителям. Вот для кого, а не для народа вообще актуален разговор про гены рабства!

Да, есть роковая закономерность в том, что тема предательства постепенно становится ведущей темой нашей жизни. Это как не отданный вовремя долг, который все обрастает и обрастает процентами.

Разоблачение культа на XX съезде... разве это было возмездие? Раз уж мы об этом заговорили, то невозможно не процитировать стихотворение «Амнистия» поэта-эмигранта второй волны И. Елагина:

Еще жив человек, расстрелявший отца моего
летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел. Живет на покое
и дело привычное бросил. Ну а если он умер,
наверное, жив человек, что пред самым расстрелом
толстою проволокою закручивал руки отцу моему за спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел. А если он умер,
то, наверное, жив человек,
что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир еще жив, что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться.
Я слышал, что все эти люди простили меня.

А ведь именно тогда, в эпоху XX съезда, была, как нам кажется, упущена уникальная возможность разомкнуть цепь предательств, не порвав при этом связи времен: наказать палачей, то есть восстановить справедливость, и обрести свободу. И палачей, кстати, было не так уж и много. Их никогда не бывает много, но, чтобы уйти от личной ответственности, они старательно внушают людям, что таких, как они, полстраны. Если вы помните, этот мотив назойливо звучал в начале перестройки, заменившись затем, когда номенклатура сожгла партбилеты, не менее назойливым мотивом суда над коммунизмом. Вина таким образом была окончательно деперсонализирована: никто якобы не виноват, а виновата идея.

Но, увы, сколько ни перекрашивайся, ни маскируйся, ни меняй вывески, флаги и гербы, а вина куда не денется. Это понятие метафизическое. Ее невозможно избыть с помощью дикарских ритуалов. Наша власть подобна леди Макбет, которая с маниакальным упорством моет руки. А пятна крови никак не смываются, и на старую кровь налипают новая, свежая. И снова палачи милостиво прощают своих жертв (яркий тому пример — амнистия 1993 года, когда посмертно «простили» безоружных людей, расстрелянных из танков). И так будет всегда, пока не разомкнется порочный круг!

Причем преступления будут не только множиться, но и становиться все более запредельными по своему размаху и бессмысленности. И соответственно предательство будет все ближе подходить к той черте, за которой уже нет ничего. В буквальном смысле этого слова.

Как быстро все произошло! Сначала «сдали» людей, живущих в республиках. Всего через три-четыре года после армянского землетрясения, сотрясшего всю страну и вызвавшего массовое участие в судьбах пострадавших, граждане независимой России безучастно смотрели, как их недавние соотечественники убивают друг друга, не щадя даже грудных детей. И все это под бесстыжие камлания про «слезинку ребенка»!

Внутреннее отчуждение было молниеносным. Как будто мы не учились с этими людьми в институтах, не дружили, не переписывались, не объяснялись в любви — кто Армении, кто Грузии, кто горам Тянь-Шаня и Памира... Как будто не осталось у нас в брошенных на произвол судьбы республиках родственников или знакомых.

Потом настал черед русского Кавказа. И коренных кавказцев, и тех, кого принято теперь называть «русскоязычными». В разгар чеченской войны по ОРТ прошел фильм про людей, которых после прихода Дудаева к власти за их нечеченское происхождение выгнали на улицу. Кто-то из этих людей на момент съемки уже два года (!) жил в мусорном баке. Фильм видели сотни тысяч зрителей. Реакция была нулевой. В лучшем случае можно было услышать: «Конечно, ужасно, но что делать? Сталин же выслал чеченцев, вот они и мстят...» И разговор поспешно переводился на другую тему.

Далее на очереди оказалась провинция. Рассказываешь какому-нибудь вполне приличному человеку, что в деревнях уже позабыли, как выглядят деньги, а он в ответ: «Не знаю... Я лично давно из Москвы не выезжал, а в Москве живут неплохо. Грех жаловаться. Я привык верить тому, что вижу своими глазами». А сле-

дующим тактом заводятся шарманка про то, как при Сталине колхозники работали за трудодни и у них не было паспортов. (Будто матери, которая **сейчас** вынуждена давать своим детям комбикорм, от этих исторических справок станет легче!)

Круг тем, трогавших за живое, стремительно сужался. И на любые доводы находились контраргументы. Старики вынуждены сигаретами и водкой торговать? Ничего страшного! А так бы бездельничали, лясы точили, сидя на лавочках. Некоторые старикашки, между прочим, еще очень даже шустрые. И пенсию получают, и подрабатывают. А в транспорте ездят бесплатно! С какой такой стати? Это несправедливо. Нас надо пожалеть, а не их...

Институты научно-исследовательские закрывают? И правильно делают! Нам не нужно столько ученых. Настоящих-то среди них кот наплакал, а остальные дармоеды.

Писатели продают газеты в электричках? Иначе и быть не может. В нормальных странах даже нобелевские лауреаты не живут на гонорары.

Мы не станем утомлять вас перечислением остальных профессий, а лишь отметим, что на нынешний момент, похоже, не осталось такой категории людей, которую не готов сдать, отбредиваясь дежурно-либеральными фразами, московский обыватель. И сдает он уже не только взрослых, но и детей. И не только чужих (например, в среде штатных правозащитников можно услышать, что борьба с детской беспризорностью — вопрос дискуссионный, т. к. у ребенка есть... право ночевать на улице!), но и своих. Потому что, когда в стране ежегодно пропадает около двадцати тысяч детей, это может коснуться каждого. И отмена бесплатного здравоохранения коснется каждого. И приход в школы старых педофилов, которые будут заниматься с детьми «снятием стыда» (с последующим снятием штанов), это тоже затронет каждого. Добавьте сюда помолодевшую уличную преступность, наркоманию, моду на терроризм, пугающий рост заболеваний туберкулезом, сифилисом, неврозами — и вы получите такое мелкое сито, через которое уже трудно будет просочиться. Не одно, так другое, не там, так здесь, не сегодня, так завтра... Большинство, конечно, старается не додумывать этого до конца — слишком страшно! — но опасность нигде не уходит от того, что люди закрывают глаза.

А что все-таки наш либерал не готов отдать? И есть ли оно вообще, это заветное, за что он не пожалеет живота своего? Может, ему, как и положено истинному либералу, больше всего на свете дорога свобода слова? Да нет. Во время предвыборной президентской кампании ею благополучно поступились и нисколько не стеснялись утверждать, что политическая цензура в такой ответственный момент просто необходима. Да и теперь нисколько не страдают, читая газеты, про которые давно известно, что это рупор определенных финансовых группировок и настоящей свободой слова там и не пахнет. А журналисты без тени возмущения заявляют: «Нет, у нас такая резкая статья не пройдет. Главный ни за что не пропустит». И до чего же старая, до тошноты знакомая интонация: дескать, зачем лукавить, мы с вами взрослые люди, все понимаем!..

Так что, условно говоря, без Солженицына наш либерал может и обойтись. Конечно, скрепа сердце, но в крайнем случае он на это пойдет. Что, кстати, и показало устранение Солженицына с телевидения, не вызвавшее никаких заметных волнений в либеральной среде.

Остаются свободный выезд за границу и «мир еды» (название одного московского магазина)... Свобода колбасы. Тот вид свободы, которую в Москве отменять опасно. Вот круг и сузился до ярко-розового кружочка датского сервелата. Какая-то зоология получается... Хотя почему зоология? Животные берегут своих детенышей, а если надо, то и гибнут, защищая их от хищников. Поэтому сравнение с животными в данном случае оскорбительно для «братьев наших меньших». Нет, здесь не просто деградация, не просто регресс, а серьезная порча. Ведь когда в угоду тактическим интересам (разнообразно покушать, купить новую вещь, отдохнуть на Кипре) регулярно приносятся в жертву стратегические (государство, культура, будущее детей), можно заподозрить, что *инстинкт самосохранения поврежден*.

Быть предателем не только стыдно, но и нецелесообразно. Это быстро приводит к иссякновению рода, прекращению жизни. Чувство стыда за предков пробуждает в потомках разрушительные инстинкты: им бессознательно хочется вытравить память о позоре. И уничтожить пространство, на котором этот позор происходил. А главное, логика жизни рано или поздно вынуждает предателей самих намылывать себе веревку. Вот суть того, что произошло с либеральной интеллигенцией. Совершив серию предательств, которые условно можно было бы обозначить как «отречение от маленького человека», она кончила в октябре 1993 года призывом к его расстрелу. И кончилась на этом сама. Кончилась в качестве властительницы дум, то

есть утратила свою роль. Разумеется, по привычке она еще выходит на сцену, но играет уже в пустом зале. Да иначе и быть не может, если из уст правозащитников мы ныне слышим такие речи: «Чем дальше во времени отстоят октябрьские события, тем бессмысленней и претенциознее становятся траурные поминания. Народу собирается все меньше, и виной тому не мерзопакостная погода, а очевидная бессмысленность ритуальных действ. О мертвых либо хорошо, либо ничего; по прошествии времени мы узнали, что защищать Конституцию на свою погибель пошли не только безумные дяди в черных формах и пребывающие в глубоком маразме старухи, но и юная девушка, разработчик компьютерных систем, писавшая стихи и песни и собиравшаяся замуж за инженера-спелеолога. Вот вместе их там и убили... Мероприятия (в том числе имеется в виду траурная панихида! — **Примечание авторов**) были унылы и тягостны не только для наблюдателей, но и для большинства участников... уже сейчас на них ходят не для того, чтобы поминуть погибших, а по тягостной привычке» (Я. Амелина, правозащитный еженедельник «Экспресс-хроника», 11 октября 1997 года). Думаем, комментарии излишни.

Сходная судьба ждет и учителей, если они не опомнятся и будут по-прежнему лепетать про свою беспомощность, а то и про принципиальное невмешательство в политику. Дескать, зачем нам лезть не в свое дело? Как наверху решат, так мы и будем учить. Хотя если все будет так, как решат наверху, то очень скоро им учить станет просто некого. И соответственно они станут никому не нужны.

Да и остальным пора бы очнуться от предательской спячки. Потому что, когда на фоне такого демографического спада в больших количествах закупается оборудование и расширяются показания для мужской и женской стерилизации, это действительно пахнет концом. И вполне реальным.

Но, слава Богу, далеко не все готовы утешаться иронической формулой, которую любит повторять один наш знакомый: «Скажите спасибо, что по утрам не пытаются». И людей, у которых другие «символы веры», становится все больше и больше. Они не хотят говорить спасибо временно подобрешшим палачам. А главное, уже начинают понимать, что само не рассосется. Они очень разные, эти люди, и во вчерашней жизни могли никогда не соприкоснуться, принадлежа к различным кругам, порой просто далеким, а порой и враждебным. В те уже почти легендарные времена люди гораздо чаще, как нам кажется, сходились и отчуждались по довольно второстепенным, не сущностным, признакам: цеховым, вкусовым, характерологическим. Конечно, и по политическим тоже, но это было, как показала жизнь, поверхностно и держалось на немногочисленных пароях: «Совдепия», «тамиздат», «архипелаг ГУЛАГ»...

Сейчас, когда обнажились глубинные пласты жизни, обнажилась и человеческая сущность. Пароли и оболочки обветшали, зато высветилась основа для новой, подлинной, более содержательной общности. Что это за основа? Наверное, точнее всего она определяется выражением И. Ильина «совестная впечатлительность». Это не значит, что у остальных нет совести. Она есть почти у всех, но не у всех выступает в качестве доминанты. В брежневские времена совестная впечатлительность не позволяла людям молчать про лагерь, а сейчас не позволяет эксплуатировать трагедию ГУЛАГа, используя ее как кляп, которым затыкают рот собеседнику, едва он заикнется про преступления сегодняшней власти.

И, наверное, не случайно в нарождающейся постсоветской общности так много женщин. Ведь у них более чуткая, более отзывчивая душа. Это, по выражению генетиков, «признак, сцепленный с полом». Да и охрана детства — женское дело. Тут даже трусиха может превратиться в львицу. Так что приход женщин в реальную политику сулит сегодняшней власти много неожиданностей.

Но, пожалуй, самое неожиданное и интересное в данном контексте — это роль церкви. Неожиданное потому, что власть, конечно, ничего подобного не замышляла. «Верхи» были уверены, что они всего лишь сменили декорации. «Велика важность, — рассуждали они, — вместо красных знамен — хоругви! Какая разница, где постоять: на трибуне Мавзолея 7 ноября или в Елоховской церкви на Пасху?» Будучи циниками, они и предположить не могли, что религия кем-то будет воспринята всерьез. И теперь простить себе не могут такого прокола, лепечут про фундаментализм, но вступать в открытый конфликт с церковью не решаются, видя ее растущий авторитет. В последние годы в церковь пришло много священников из интеллигенции. И молодых, и среднего возраста. Они совсем не похожи на тот карикатурный образ толстопузого попа, который усиленно внедрялся в сознание не один десяток лет. Эти новые священники прежде всего очень разные. Но вот что, пожалуй, их объединяет: на фоне массовой дисгармонии они являют собой норму. Сейчас почти ни в ком не увидишь такого гармонического сочетания

традиционности и современности. А ведь именно это дает в наши дни возможность найти общий язык с большим количеством людей!

Мы уже много раз говорили о парадоксах. Вот один из самых удивительных: революционность обычно ассоциируется с авангардными и даже ультра-авангардными новациями в культуре. Однако в конце второго тысячелетия после Рождества Христова прогресс превратился в свою противоположность и грозит нам чудовищной деградацией. А парадокс заключается в том, что в этих условиях истинно авангардную, прогрессивную и, значит, жизнетворную роль начинают играть носители традиционной культуры. И в этом поле возникает пассионарный накал.

Для «начальников» настают последние времена. Деградировавшая, разложившаяся элита должна уйти. Пока этого не произойдет, жизнь в нашей стране будет отравлена группным ядом. Мы не настолько наивны, чтобы надеяться на добровольный уход властолюбивых чиновников с исторической сцены. Но под давлением крепнущих «структур» им придется это сделать.

И тут возникает вопрос: а что придется сделать нам? Неужели с волками (т. е. бандитами) жить — по-волчьи выть? Но зачем тогда рожать и воспитывать детей, отдавать их в лицеи, водить в музыкальную школу и художественную студию? Зачем растить их *людьми*, если востребован будет зверь? Чтобы ответить на это, зададим еще один вопрос: а может ли кто-то победить волков? И скажем: «Да! С волками может совладать человек, сила духа которого победит животную энергию хищников».

Вот уж действительно, «мы диалектику учили не по Гегелю»! Кому могло прийти в голову лет 15—20 назад, что русское духовенство станет пассионарным, а значит, по сути, революционным классом? Вспомните, кто посещал церковь в советские времена. Казалось, вымрут набожные полудеревенские старухи, и она опустеет безвозвратно. Если уж в тех странах, где не было никаких гонений на религию, осталась одна оболочка, одна форма, то что говорить про нас!

Но, когда культура жива, пассионарность как бы кочует, перемещается от одной группы к другой. Иссякла у рабочих, иссякла у либеральной интеллигенции, но прорезалась у священников «последнего призыва» и у людей не обязательно воцерковленных, но обязательно ощущающих себя частью традиционной русской культуры. Не мыслящих без нее жизни и потому готовых ее защищать, как саму жизнь. И, даже если бы пассионариев была жалкая горстка (хотя это уже не так!), исход их борьбы с субпассионариями все равно был бы предрешен — потому они и пассионарии, что могут чуть ли не в одиночку свернуть горы. Пассионарных людей и не должно быть очень много — иначе быстро происходит перегрев и занимается пожар, в котором сгорают все, кто оказался поблизости. А перемещение пассионарного заряда в церковную среду радует нас еще и потому, что дает надежду на более или менее мирное развитие событий.

Думаем, что оплевывание церкви будет сейчас нарастать, но приведет только к дальнейшей консолидации культурных людей. Вообще пора перестать реагировать на наклейки, вывески, фальшивые приманки, однообразные жупелы. Пора повзрослеть и ориентироваться на суть, а не на оболочки. Взрослый человек не должен из подросткового упрямства сохранять верность своим кумирам. Идолопоклонство — признак незрелости. Вот и из свободы не стоит делать идола. Настоящее освобождение ощущаешь тогда, когда черное называешь черным, а белое — белым. И не пытаешься оправдать чужую подлость и собственную трусость.

Впрочем, русская культура все равно не даст нам перепутать правду с кривдой.



Анатолий НАЙМАН

Паладин поэзии

Четыре с лишним десятилетия тому назад в толпе молодых людей, заполнявшей вестибюль Ленинградского технологического института, я заговорил с ясноглазым золотоволосым юношей. Может быть, он заговорил со мной, может быть, нас познакомил кто-то третий. Мы были с разных факультетов, ровесники, один старше другого на десять дней. У него был спокойный, хотя и пристальный, заинтересованный в том, что происходит вокруг, и, в частности, в собеседнике, взгляд, высокий лоб, нежный румянец на матовых щеках. И он, и я писали стихи, но для меня я был я, а он предстал *поэтом*, Лелем, Арионом. Мы вышли на Загородный и несколько часов ходили по городу: разговаривали и читали стихи. У него был баритональный тенор — если такой голос существует.

Кроме собственных, мы читали стихи Пастернака, Багрицкого и Блока. Потом он прочел из «Орды» и «Браги» Тихонова — тогда мы еще не соединяли их с Гумилевым, да и сейчас я ощущаю в них достаточно самостоятельного сырого дыхания. Где-то за Литейным мостом я слушал «мне якут за охотничий нож рассказал, как ты пьешь с медногубым и какие подарки берешь», слушал и смотрел на шевелящиеся крупные губы и необъяснимым образом знал, что вот это поэзия: что поэзия такова и что поэт — таков. И когда он читал свое недавнее «каждый камень на этой улочке, затвердившей его ненастье» — то же самое. Я и сейчас так думаю. Он был первым поэтом, которого я встретил в жизни, и на всю жизнь остался для меня *образом* поэта. Не только потому, что первый, а потому еще, что не «бледный со взором горящим», как я, что — юный, что день был майский, а он — чистый, вдохновенный, красивый. Как поэзия. Его звали Дмитрий Бобышев.

Прошли годы, тучные и тощие, прошла более или менее жизнь, у него вышли в свет четыре книги стихов, вышла в конце 1997-го (какие вавилонские накатили числа!) в Нью-Йорке, в издательстве «Слово-Word», пятая — «Ангелы и силы». О ней, по ее поводу и потянуло завести о нем разговор, но нельзя же с орды-и-браги просто перепрыгнуть к ангелам-и-силам. Наведем шаткий мост.

Он учился в одной студенческой группе с Евгением Рейном: по полдня терлись бок о бок, в обиходе понимали один другого с ползузка, полувзгляда, один другого любили. На стихи друг друга поразительным образом не влияли. Начертательная геометрия, механика, теория машин и механизмов были необсуждаемыми условиями существования, насланным богами роком, силками, но не оковами. В наделавшей много шума в городском — и замеченной даже во всесоюзном — масштабе институтской стенгазете «Культура» Бобышев напечатал статью «Хороший Уфлянд», о нашем общем приятеле-поэте, тогда служившем на севере солдатиком. Не столько статья, сколько название вызвало особую ярость парткомцев, и их можно понять. На летней студенческой практике где-то в Череповце или под Тулой Бобышева прынули местные ножом, ему сделали операцию, и это отметило, отличило его судьбу — невнятным еще знаком, но отметило.

Бродский полюбил его преданно и нежно, звал отдельно ото всех «Митяй», и если Митяй неопределенно замечал, что неплохо бы пива выпить, мог в один миг слетать на велосипеде до ближайшего ларька. Он виделся с Ахматовой, дорожил знакомством с ней, написал ей стихотворение: там было «еще подыщем трех — и всмером, диспетчера выцеливая в прорезь, угнать бы в вашу честь электропоезд, нагруженный печатным серебром», — это отголоски фильма «Великолепная семер-

ка», шедшего тогда по всем кинотеатрам. Ахматова посвятила ему «Пятую розу», вызванную к жизни одной из пяти подаренных им роз, никак не желавшей вянуть. На смерть Ахматовой он написал «Граурные октавы», в которых впервые обозначил нас четверых — «Осю, Толю, Женю, Диму» — «ахматовскими сиротами», что до сих пор вызывает необъяснимое раздражение ряда людей.

В 1963 году его полюбила М. Б., невеста Бродского, он полюбил ее. На личную драму троих наложилась драма, поставленная ленинградскими властями: арест Бродского, суд, ссылка. За считанным исключением, общие друзья отвернулись от Бобышева — самый убедительный и самый необременительный способ демонстрации своей лояльности потерпевшему. Сколько вся история принесла каждому из участников треугольника боли, знают только они, но мы, несколько близко стоявших свидетелей, видели, что им очень больно, очень. Дело тянулось и после освобождения Бродского, они с Бобышевым стали врагами. Ты — жертва давняя моей тщицы, / как я — твоих амбиций и престижа. На сороковую ночь после смерти Бродский приснился ему:

Словно бы узнал он только-только
и еще додумал между строк
важное о нас двоих, но толком
высказать не мог.

Бобышев женился на американке и переехал — в ту же страну, куда Бродский. Не высылка, не бегство — *переезд*, но в любом перемещении содержится что-то, что в скобках, неохотно — и цитатно, из другого поэта — пробормоталось в бобышевской поэме «Жизнь кадета Евгения Гирса»:

А с кормы все мимо, мимо —
пли! — казак стрелял в коня,
плывшего за ним из Крыма...
Боже, так ли Ты — меня?

В эмиграции быть против Бобышева за *Бродского* оказалось еще и выгодно. Круг «творческой интеллигенции» из России не принимал его — да и он этого круга сторонился. Похоже, что он продолжал за границей линию поведения, выработанную в Ленинграде: независимую, не разделяющую общих интересов пишущее-читающей публики, зато исключительно дорожащую ценностями, высмотренными собственным глазом, приобретенными собственным усилием. Еще до отъезда он получил из Америки участливое письмо от Юрия Иваска, поэта второй волны эмиграции, одного из младших собеседников Цветаевой. В Штатах их душевное сродство проявилось явственнее, дружеское расположение набрало силу. Бобышев пожил в Нью-Йорке, потом на Среднем Западе, поработал инженером (пригодился в конце концов Технологический имени Ленсовета) и, наконец, осел в университете Иллинойса, в маленьком городке с громким названием Урбана Шампэйн. Преподает русскую литературу, язык, основы творчества.

В какие бы условия и обстоятельства он ни попадал, какие бы ни приходилось обязанности исполнять и неожиданности встречать, он, насколько я могу судить по десятилетию нашей переписки и по следующему десятилетию встреч и телефонных бесед, являет собой все тот же тип *поэта*. Переменились черты лица, что-то, естественно, ушло, время оставило свои печати, но и незнакомый, и далекий от литературы человек после пяти минут общения с ним не подыщет, чтобы определить его, иного слова. Сорок, тридцать и двадцать лет назад он был русский поэт, петербургский поэт, певец Ленинграда, но еще точнее — певец, дух и язык того конкретно-русского Земли, которая лежит в границах Таврического сада, Рождественских улиц, Смольного собора и реки между Охтенским и Литейным мостами. Это была его Званка, его Михайловское и Слепнево — а именно, *Таврига*, место, привязанное к той самой, «затвердившей его ненастье», Таврической улице. *А судьба, являя ритм, в повтореньях нас творит: оторвавшийся от книги, помню, я гулял в Тавриге.*

Помню воздух, полный птах,
помню мой случайный взмах
и — как горсть запретной доли —
ласточку в моей ладони.

Уже его переезд внутри города, на Петроградскую, выглядел событием вроде путешествия Лариных в столицу — отрыв от родины, от дома. В моих глазах он был самым непредставимым в качестве *уезжающего за границу*. Оказалось, что он уехал

вместе с Тавригой. И тем самым — вместе с Ленинградом, доленинградским Петербургом, петербургской Россией, которыми через Тавригу он владел — так же, как они владели им,— по неписаному, но неоспоримому договору между исключительно им и исключительно его поэзией. Не памятью, а поэзией. Поэта нет только в своем отечестве, там он такая же натуральная и неизбежная компонента и признак, как ландшафт и адрес. Во всех же прочих местах мира он не столько чужак, сколько белая ворона, потому что прибывает туда, оставаясь владыкой и принадлежностью своего отечества, то есть привозя его с собой, продолжая жить в его облаке. Для обитателей тех мест, куда он попадает, оно, естественно, невидимо, но вмещающую его поэзию, даже не отдавая себе в этом отчета, они чувствуют, почему вместо «странное существо» и слетают с их языка «поэт».

Город, не только как Рим, но и, может быть, в особенности как «придуманый» Петербург, это волей-неволей человеческая дерзость Богу. И Ромул, и Петр Романов начинали свое строительство там, где Божий замысел был расположить просто холмы или болото, а не стены и башни. Архитектура — вмешательство в отмеренное и возведенное Богом пространство, и всякий город несет на себе следы и конфликта, и согласия между духом человеческим и Духом Божиим. Бобышев предпочитает видеть прежде всего согласие. Конфликт для него заключается главным образом в позднейшем нарушении той гармонии, которая запечатлела себя в облике Санкт-Петербурга на момент перед революцией — или, точнее, как этот момент представлялся ему и его поколению через сорок лет после революции, когда поколению было двадцать.

Жизнь в этом городе каждый миг осуществляет себя как минимум в двух планах, и оба реальных, ибо приписанность к жилконторе, отделу кадров и бакалейной лавке ничуть не более актуальна, чем к Медному всаднику и Крюкову каналу. Независимо от твоего настроения это — место *прошлого* в той же, если не большей, степени, что и *настоящего*. Прошлым распоряжается память, но все права на *реальность* прошлого — у поэзии. Потому из родившихся в этом городе редко кто хоть на один день не становится поэтом. Подлинно же редкостные — как Бобышев — ни на один день не могут перестать поэтом быть. Главное качество поэта — самовластность, и если он называет херувимом одного из небесных духов и одновременно альковную лепнину, подчеркнуто не делая между ними различия, то не наше дело приставать к нему с благонамеренно-возмущенными поправками. (Тем более что и сам апостол Павел говорит о «херувимах славы, осеняющих очистилище», в таких словах, что и мы не возьмемся утверждать определенно, о скульптурах идет речь или о шестикрылых существах.)

И ангел, возглавлявший небосклон,
был тоже снят — в ремонт, а не на слом:
паять, лудить (пожухла позолота)...
Тогда — я взялся за его пята,
ту золотую запяную,
что небо отделяла от болота,—

рассказывает Бобышев о позолоченном чугунном ангеле, три года назад на время спущенном для реставрации на землю со шпилья Петропавловского собора.

В этих шести строчках два центра: восторг ленинградского мальчишки, которому отродясь не снилось, что он сможет дотронуться хотя бы до пятки этого из туч сияющего хранителя города (*Ангела пята с утра опирается о луч...*), восторг, правда, умеряемый памятью о хромоте сцепившегося с таковым же небожителем патриарха; и запятая, разделяющая, а еще больше соединяющая — небо и болото. Книга «Ангелы и силы» не *написанная* — в том смысле, как мы говорим о поэтических сборниках вроде «Снежной маски» Блока или «Триятий» Мандельштама, то есть возникающих в границах определенного творческого периода,— а *составленная*. В ней стихи 60-х и 70-х годов соседствуют с самыми последними — ориентированные относительно единой, не зависящей от конкретного времени вертикальной оси.

Это ли не побратим
твой, что над Невой навис,
мысля головою вниз,
горный Иерусалим?

Это ось петербургского шпилья, из болота поднимающегося в небеса.

Эта ось — объявляется о ней во всеуслышание или вовсе не упоминается — пронизывает вселенную любого художника. Не столько ради неразрывности нижнего и высшего, сколько ради именно вселенскости, ее цельности и полноты. Мир Божий неделим, и сияющая его часть только тогда оказывается верхом, когда есть темный низ, только тогда небом, когда под ним земля. В городе — в частности, а в Петербурге — в особенности, эта связанность одного с другим и тем самым всего со всем исключительно наглядна. Поэт не философствует на духовные темы, но живет в духовном пространстве. *До чего же она неказистая, дверь в котельню и та же стена, но так жарко, так, Господи, истово и сиротски так освещена:*

Только перышко медленно
до шестого, поди, этажа
подхватилось, и там, незаметное,
все кружит, как живая душа.

Книга «Ангелы и силы» претендует на Духовность с заглавной «Д» — ответственность за это целиком на Бобышеве. Он, действительно, подобрался к материям самым высоким, не называть которые общепринятыми именами небесных сил выглядело бы труднообъяснимой недоговоренностью, если не жеманством. И когда речь идет об ангеле, то за скульптурным его изображением действительно проступает «пламень огненный». Да поэт и не следует догматическим чинам и иерархиям, между престолами, силами и славами он располагает шары, паруса и крылья. И те, и другие одинаково материальны и одинаково духовны, но главное — одинаково конкретны. Бобышев говорит не про то, о чем догадывается, а что знает. Его «души» — это вечная лебединая пара в пруду Летнего сада: лебеди потому души, что они одновременно еще и собственные отражения в воде, настолько не отличимые от себя реальных, что сама реальность двойится на плотскую и бестелесную.

Эти выгнутые выи
(шея — к шее двойника)
пишут буквы беловые
в черной глади, меловые —
мирового языка.

Это не итог поэтического воображения и не извлекаемые из созерцания символы, а наблюдение как таковое: *Клювы в самый миг сближенья / замыкают сердца знак / обоюдный.*

Другое дело, когда поэт *хочет*, чтобы было по его, когда подверстывает под догму, принятую им из вероучения, некий умозрительный, пусть и остроумный, проект, который может из нее проистекать или ее доказывать, но может и нет, который, словом, ее *иллюстрирует*, а не неотменимо выводит. Это касается главным образом цикла стихов «Стигматы». В них тоже сильна бобышевская индивидуальность, им удастся произнести несколько изумительно тонких вещей, но они прежде всего принадлежат жанру «стихер», специальных «духовных стихов», то есть интерпретирующих заведомо известные религиозные положения. И жанр подчиняет поэзию. Когда поэт по вертикали-горизонтали перекрещивает слова «страданье радости» — через общее «д», — то окружающие их терцины воспроизведением дантовского звука достаточно оправдывают возникший крест:

Смысл молнии не выгрохотать грому.
Но в судорогах свято-световых
она и узрит весть яркоогромну.

Однако сведение строчек *ЛИК ДЕСНИЦУ ШУЙЦУ СЕРДЦЕ ХРАМ СПАСИТЕЛЯ, СТУПНИ* к графике распятия отдает все-таки лубком, а не иконой — из-за, хочешь не хочешь, плясовости хорейского ритма: поэзия побеждает, жанр снижается.

Поэт между тем не проигрывает, проигрывает идея. Звук книги непобедим, несомый им смысл внушительен, голос полон, так что наша критика распространяется на вещи второстепенные. Не стоило бы о том и речь заводить, если бы не вынесенные на обложку цитаты из разных авторов, настойчиво внушающие оценить *духовность* Бобышева. Его «духовные переживания» действительно заслуживают высокого признания, но не выбором тем. Трогательные стихи про Ксению Петербургскую (*горяще-тающую истово и яро... Я помолился ей «о нелишени дара»*) не более духовны, чем мелодия Эроса во «Владиславе и Нине»:

И разом для нег и на пытку
готовилось — эдак и так —
и тукало, тычась к напитку
любовному сердце-кулак.

Эрос — постоянный и сильный магнит поэзии Бобышева не только в этой книге. Приближение к нему нередко выводит в область эротики, в стихах последних лет иногда повторяющей формулы ранних (например, *рисовал и совал и размазывал* в «Поздних свиданиях» 1990 года — ритмическая и лексическая цитата из стихотворения конца 50-х). Но Эрос у Бобышева не обязательно «эротический». За

Мастер плавил, мастер мял
сам себя сквозь матерьял,
но меж выдохом и вдохом
оба — в обмороке долгом,—

стоит

Но — случайно ли? — фраза лесная
попадает в само существо:
только так и любить бы, не зная,
Боже, толком-то даже — кого?

Платоновское содержание слова «духовный» не блекнет от последующего наполнения его содержанием христианским.

Поэзия не «занимается» Эросом, она метод его постижения. Ее вещество столь легкотекуче, что проникает и в область, закрытую для других возможностей — философии, этики, психологии,— и в щели, недоступные логическому инструменту. Точно так же открыто ей Пространство как таковое и как категория, его полнота и его закоулки. Больше того, постижение Эроса и есть постижение Пространства и, наоборот, именно по причине метода, единого, общего для того и другого.

Это праздник протоплазм,
влажно-ласковая блазнь,
жизнь ликующего сгустка,
отпечаток чувств моллюска.

Легкотекучесть поэзии сродни легкотекучести света, пронизающего пространство, чтобы обнаружить его как предмет:

Но солнечная призма,
тряся букетом семицветных роз,
дает урок несложного кубизма,
и если кто понять его не смог,
то зеркала пронзительный намек
сверкающей на плоскости дырой
тогда не говорит ли: дверь открой!

И когда возлюбленная спрашивает: *а ты ответь мне: зеркало — предмет?* — следует блестящее доказательство гео- и стереометрической теоремы:

Нет, не предмет, но правда о предмете.
Поверхности дает оно объем.
Объему с отражением вдвоем
оно предоставляет заглянуть
до самого конца другому внутрь
и распознать себя.

В отличие от подавляющего большинства современников — да и предшественников — Бобышев — поэт Пространства. *Стали собственной одой воздух, золото, гранит...* Стихи Бобышева барочны, но прежде всего потому, что так они самым адекватным образом отвечают пространству, в котором и которым поэт воспитан. Барокко Петербурга, усвоенное, как язык младенцем, обнаружило перед ним свою модель и структуру в Пространстве вообще. Как для Мандельштама череп — «тара обаянья», единственная и высшая форма космизации «в пространстве пустом», так для Бобышева он олицетворяется конкретно в Городе, в свою очередь, олицетворенном в Гамлете:

Держит череп город-Гамлет.

Метафора бесконечно емкая — почему в следующей строке поэт и остановил-

вается, как с разбегу (*кто из них — по правде — мертв?*). Череп раз навсегда похороненного Петербурга все еще просматривается на плечах «города-принца». И, замыкаясь хотя бы на этой постоянно двоящейся наглядности, мысль и может только ею мерить весь мир целиком:

Но, проезжая Массачузетс,
остановил кабриолет
на миг. И, взглядываясь в чужость,
установил, что в мире нет
того, что не случилось прежде.
Все — было. И — холмы,
и та же в них надежда брезжит,
и брызжет свет из тьмы.

Случилось не с временем, а с пространством, случились — холмы: холмы земли и холмы света.

Ты помнишь церкви среднерусских мест?
В просторных рощах как они к лицу
спокойно вечерующей России!..
И там у них, где свод идет к концу,
там луковицей купол темно-синий
(там? луковицей? купол? темно-синий?)
и золотые звезды по нему.
Так вот: уж и не знаю почему,
но все-таки всегда сдавалось мне, —
так выглядит вселенная извне.

Четверть века назад в восхищенном созерцании великого дантевского кристалла Бобышев писал «Вещественную комедию». Эта поэма — апофеоз вещества (и еще один поклон химическому вузу), вещества, исследуемого поэтическим словом, как реагентом, и одновременно творимого им, как элементом менделеевской таблицы: *вещество, являя ритм, нас самих само творит*. «Поющий минерал» поэта — это строительный материал Всего: мироздания, человека, города, стиха. Ибо единство сущего, видимое в нанизанности на общую ось земли и небес, все равно не полно, если не явит себя в замысле, едином для звезд и атомов, для атомов и звуков, для звуков и звезд. *Так порой летучий прах, позолоченный впотьмах, каждую своей пылинкой пляшет в радости великой*. То есть все то же — помните: *стали собственной одой воздух, золото, гранит...*

То отечество, то облако, которое поэт привозит, как собственный горб, туда, куда его заносит судьба, заключено не в воспоминании, а в выговаривании.

Там дома, собор собой закрывши,
и кресты, сияющие выше,
образуют кладбище на крыше,
золотое кладбище в душе.

Так это видно из трамвая, с виолончельным стоном поворачивающего вдоль ограды Никольского собора в Петербурге-Ленинграде. Как всякую церковь, его облегает погост, остатки погоста, но в щель поверху замерзшего трамвайного окна видны лишь кресты над куполами. А вернее всего, что и щель замерзла:

Белая, средь белых листьев, роза
в состоянии анабиоза
вдруг нарисовалась на стекле.
Это — мысль мороза о тепле.

Так что «золотое кладбище» существует только потому, что существует *в душе*; и только потому, что существует *мысль*, существует мороз — и из этой души и мысли и поворачивает зимний трамвай с улицы Глинки на проспект Римского-Корсакова.

Эта живопись, эта музыка, архитектура и кино разворачиваются на глазах и в ушах читателя единственно *словом* поэта. Это слово не «царственное», почтительно возражает Бобышев Ахматовой, «но — жалкое, но в свой же мрак /, до Божьего огарка / так пролепеченное, так / прорыданное жарко». На пути к нему множество препятствий, соблазнов, волчьих ям: «То ли вишенья, то ли буру / подмешали в чернила: / что ни выпишется перу — / все — кроваво, червиво», — почему и

то ли жертва любовных ловитв
под рукой сердцелова,—
растлеваемое, вопит,
вырывается слово.

Но когда ты его достиг, оно достигло тебя, вы друг друга достигли и пока вы неразлучны, то есть

но пока, светлячок слаботочный,
в мировой накрённой ночи
незаметно пульсируешь строчкой,
значит — жив. А живешь, и молчи.

И тогда — «прощай, печаль», «прощайте, все века», «прощайте, жены», «и музыка, и музы», «прощайте, Женя, Толя, даже ты — да, ты, Иосиф, наконец, прости же», «родители, чита- (те ли, которых нет?)...» *И только жизни — до свиданья!*

Потому что *не корить же, не карать,— спасти Отец Небесный*

сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь... Что наша жизнь? — предлог?
— Для песни лебединой!..



Маканин и Цветков ищут героя «внизу»

Культуре трудно дышится без андеграунда. Еще лет десять назад истеблишмент воротил нос от «поколения дворников и сторожей», которое нынче само стало истеблишментом. Теперь Владимир Маканин публикует роман «Андеграунд, или Герой нашего времени», в котором рисует портрет подземного человека, вознамерившегося сохранить в эпоху повсеместной суеты и торгашества представления о чести, совести и самостоянии. И эта проблема, по Маканину, оказывается центральной для всего перестроечного-постперестроечного десятилетия.

Андеграунд бывает разный. Бывает культурный, бывает социальный, бывает духовный, бывает еще андеграунд в значении «метрополитен». Герой Маканина живет в последних трех. В метро он отдыхает, читает там книжки. Духовно и социально он пытается выжить и сохранить чистоту упомянутой чести (ради чего некоторых других героев ему приходится убивать, но сейчас у нас речь не об этом).

Но культурный андеграунд — это не спасение души отдельного человека, а институция. Это критическая масса индивидов, создающая свои системы ценностей и приоритетов, свои иерархии, это такая маленькая страна, которую населяет шептунной народец, чурающийся усредненных ценностей большинства. Такой андеграунд не может существовать в смутные времена. Ему нужна стабильность. В советскую эпоху у нас потому сформировалось великолепное подполье, что было кому противостоять: стабильному официозу и социалистическому мещанству (тому, которое исповедовало «образ жизни — советский»).

Буржуазное мещанство у нас только формируется. Возможно, это и есть главная задача текущей культуры — создать скучные, но неперемные (водопроводная труба, в общем, тоже невесела, но без нее никуда) механизмы буржуазной культуры. Скажем, жанровое кино и жанровую литературу, в рамках которой от боевика следует требовать не только крутизны, но и качества, а элитарной продукции достанется свой чахленький, может быть, но тоже неперемный уголок. Систему премий, общественных объединений, официальных и любительских структур, средств массовой информации... Все вот это хозяйство.

И вот когда появится мощная буржуазно-обывательская культура, тогда имеет шанс расцвести и культура альтернативная. Но два этих процесса, очевидно, синхронизированы: художники, музыканты и поэты, предпочитающие альтернативные способы существования, продолжают появляться вне зависимости от отсутствия структур, а новорусская буржуазность может раздражать вполне вне зависимости от того, что толком еще не сформировалось.

У новых, образца конца девяностых, альтернативщиков совсем нет или очень мало своих альманахов, журналов, издательств. Существует ориентированный на изобразительное искусство и на густой матерный радикализм журнал «Радек», но степень его отвязности совершенно не предполагает диалога с обществом. Существует последовательно контркультурный журнал «Забриски Rider», но его эстетические предпочтения плотно увязли в хиппарстве шестидесятых. Острорадикальный и современный глянецовый «Птуч» быстро сделал из контркультуры товар и превратился в качественный и «продвинутый», но рутинный вариант «Ровесника». Вышел первый номер журнала «Шестая колонна», принципиально посвященного маргинальной культуре, но ни концепция, ни подборка текстов пока не производят серьезного впечатления. Словом, контркультура дана публике либо как коммерческая мода, либо как художественная самодеятельность, но отсутствует как полноценная социальная институция.

Между тем среди новых альтернативщиков есть талантливые авторы. Один из них — молодой московский прозаик Алексей Цветков (иногда к его имени добавляют «младший», чтобы не путать с эмигрантским поэтом). В прошлом году он выпустил книгу рассказов «ТНЁ», где учитывал опыт прошедших почти бесследно для нашего литературного мейнстрима западных эстетик (типа «нового романа»), отечественной густопсовой мистики (рецензенты проводят аналогию с Мамлеевым), и одобрил все это яркой галлюцинаторной образностью. Рассказ Цветкова, который сегодня представлен вашему вниманию, написан, напротив, предельно ясно, в стилистике газеты: «альтернативность» ему обеспечивает неожиданно жесткий социальный ракурс.

Алексей ЦВЕТКОВ

ГЕРОЙ РАБОЧЕГО КЛАССА

I

Он очнулся на льду пустой хоккейной коробки среди бела дня, возле проволочных ворот. Никого не было, наверное, подростки испугались лежащего у борта, неизвестно, живого ли, человека и не стали сегодня гонять шайбу. Будет скоро утро или вечер, он точно сказать не мог, потому что еще не помнил, в какую сторону обычно движется день. Некоторое время он пытался выдавливать снег, который намело в складки жесткой кожаной куртки за несколько часов оцепенения, но пальцы не слушались, он с трудом встал на ноги, схватив ржавую сетку хоккейных ворот полутроможенной рукой, и пару раз шагнул по исцарапанному льду. Почувствовал сквозь куртку на сгибе руки зияние и глубокий укол. Это означало, что вчера он поставил себе «узел» на вене. Память возвращалась.

II

Подобно всем своим знакомым он «косил» от армии, но, когда его доставили в военкомат двое милиционеров силой, неожиданно для себя попросил отправить его добровольцем в Чечню. И его отправили с радостью.

Поначалу он искал случая выстрелить в спину ротного, потому что ротный на его глазах застрелил в деревне ичкерийского ребенка, но потом передумал, увидев в городе перед дворцом срубленные головы танкистов на арматурных шестах, и мысленно ротного помиловал.

Вместе с горячей кашей им привозили на позиции в поле брошюрки на газетной бумаге, но ему не нравилось их читать. Брошюрки напоминали школу, по ним получалось, что вся эта страна населена бандитами, гораздо популярнее среди солдат был «PLAYBOY».

Сейчас, когда он целился в какие-то тени на той стороне реки, его доставала назойливая мысль. Вязаную черную шапочку он прихватил из Питера как талисман, и она грела ему голову; такую же, но казенную не носил, казенная как-то связалась в его сознании с неминуемой смертью.

Пар из ноздрей мешал смотреть, он разгреб мерзлые комья берега, чтобы лечь поудобнее, может быть, оттуда кто-нибудь целится в него и, если он останется жить, в этой шапочке вернется, а если по-другому, в ней пускай похоронят, хотя будет уже не важно в чем, но все равно хотелось бы.

Теперь мешал прицелиться пар изо рта соседа. И краешком зрения он заметил, какие красивые горы вдали и между ними пушистые многоэтажные облака.

III

К старым питерским друзьям, выписавшись после ранения, он не пошел. Один, нельзя было узнать, сектант, вызубрил наизусть Библию и целыми днями приставал к прохожим у метро. Второй пропадал ночами по дискотекам, «впаривая» там подросткам кислоту, а днем отсыпался. Третий погиб ни за что в какой-то перестрелке, куда его позвали просто как «свидетеля»; тот надеялся подняться в среде братков, потому что не только умел ногами махать, но имел диплом экономиста.

После госпиталя он устроился учеником на завод, хотя зарплату там давно не платили. Деньги он в крайнем случае мог отнять у вечернего прохожего или заработать на разгрузке платформ. На заводе он искал другого — коллективности, занятости, нужности, того, к чему привык в окопах, лекарства от одиночества. И нашел,

даже больше, чем думал, потому что на заводе действовала партия. Сначала ему было скучновато, на собраниях все больше пенсионеры, и слишком длинный строй томов сочинений Сталина за спиной выступавших угнетал, но зато теперь ему было, куда идти. Другое, конкурирующее пролетарское развлечение — водку — он не любил, тошнило его мгновенно, с тех еще времен, когда пил ее с одноклассниками по подъездам.

Все решил митинг. Выступал блокадник, рабочий ветеран, начав говорить, он разрыдался, прорывались только отдельные слова: «Эта жизнь... хуже блокады... Ельцин... геноцид народа... судить преступников». Блокадник спрятал перекошенное серое лицо в мохеровый шарф.

Больше этого рабочего он не видел, но митинги полюбил, вспыхнул, как хвост. Торговал газетой, особо бедным по виду бесплатно выдавал. Слушать выступления ему нравилось, строиться, грохотать сапогами, скандировать. Нравился даже дождь, под которым он метался по митингу с разбухшей от сырости охапкой газет в окоченевших руках. Полюбил митинги за месть, объединявшую всех, пришедших сюда, за солидарность, за какую-то непобедимость людей под красными флагами — несмотря на все победы врага.

Он отказался от музыки, доармейского увлечения, подарил соседскому пацану кассеты с «Валькириями» и «Страстями по Матфею», теперь ему хватало речей и советского гимна на митингах. Магнитофон он продал.

И, когда началась забастовка, он первым предложил на общем собрании запереть директора в его кабинете и перекрыть железную дорогу, хотя бы на два часа, для предупреждения. Ему аплодировали. Первый раз в жизни.

А когда получал билет, с ним случилось то, на что он надеялся когда-то давно, при крещении.

Ему было тогда пятнадцать, и он, как обычно, летом гостил у бабушки. Церковь открылась в обыкновенном деревянном доме, который купил священник и прибил на крыше фанерный крест. Тоскливо ему было, когда его привели туда, хотя он знал, что креститься модно и что вся семья давно об этом мечтала. До последнего и сам он ожидал какого-то чуда или на крайний случай фокуса. Читали на непонятном языке, мазали лоб и руки клейким сладким сиропом, макали головой. Единственное, что его немного развлекало, — раздевшаяся до бюстгалтера стройная девка в джинсовой юбке, она была старше него, и у нее была стоячая грудь.

Теперь он получил то, на что тогда рассчитывал, и прошло чувство, как будто его обманули. Взял партбилет из рук секретаря заводской организации и крепко пожал ему руку, громко сказав «клянусь», хотя по процедуре этого и не требовалось.

IV

Партия шла против власти, потому что больше они не хотели друг друга терпеть. Активистов уволили. На их место наняли тех, у кого не было «требований», кто насиделся на пособии и был по горло в долгах.

Они шагали по улице, ускоряясь, хотя мегафон на той стороне неистовствовал, напоминал об ответственности, предупреждал о том, что демонстранты перекрывают дорожное движение и их шествие не разрешено городскими властями. Омоновцы, куклы с пластиковыми лицами, угрожающе били палками по щитам, но колонна было уже невозможно затормозить.

Он шел вместе с другими, сцепившись с ними локтями, многие были старше, чем он, и веселели, глядя на него, подстраивались под его широкий солдатский шаг, он был им нужен как подтверждение того, что они правы, того, что все еще впереди и главный бой в будущем.

Он впечатывал свой след в историю, строй щитов и рев милицейских мегафонов становился все ближе. На ту самую улицу, где запер их ОМОН, из-за угла выбирался пожарный водомет. Он услышал такой знакомый «армейский» щелчок передегиваемых затворов. Это готовилась к встрече вторая шеренга оцепления, спрятавшаяся пока за пластиковыми людьми и их щитами.

Партийная колонна набирала скорость. «Первый залп будет, наверное, все-таки в воздух, а потом посмотрим, куда бить», — лихорадочно соображал он.

Это был уже почти бег. Он сохранял ритм дыхания, как учили его на фронте, и теперь ему было радостно, даже если через минуту предстоит смерть.

Павел БАСИНСКИЙ

Обратная сторона солнца

Существуют ложные мифы и стереотипы сознания, бороться с которыми тем сложнее, что в их реальности убеждены не только люди злые, глупые, недобросовестные, но и добрые, понимающие, ответственные... В этом случае борьба напоминает искусство хирурга, отделяющего больную плоть от здоровой... Какая-то часть здоровой непременно окажется под ножом.

Вот один из мифов: *Великая Русская Литература*. «Как?!» — возопиет горячий защитник этого понятия, страдающий от многочисленных издевательств в адрес классической русской словесности, история которой стараниями ловких журналистов и телевизионщиков превращается в балаган, где строчки Пушкина и Тютчева используются в целях рекламы, а фразочка «зачем Герасим утопил Муму?» становится расхожим анекдотцем... И все-таки я настаиваю, что *Великая Русская Литература* — как раз ложный миф, и притом созданный людьми, по каким-либо причинам *ненавидящими* русскую литературу (возможно, им просто неправильно преподали ее в школе).

Я хотел бы обратить внимание любителей прописных букв, что *Великая Русская Литература* — такая же великая нелепость, как сегодня Великая Китайская стена. И даже еще бóльшая нелепость, потому что Китайская стена, привлекая иностранных туристов, отчасти кормит современный Китай. А вот *Великая Русская Литература* — совершенно бессмысленный и бесполезный Объект, наглухо задраенная система, не только не способная, грубо говоря, себя кормить, но нуждающаяся в постоянной защите, реставрации, подмалевке. Но в России не было такой литературы!

Быть может, главная заслуга Пушкина состоит в том, что он создал замечательно экономичный язык, равного которому для живого общения не было, нет и не будет. Это язык не XIX и даже не XX, а какого-то будущего века. Когда Россия наконец устанет от болтовни и займется настоящим *делом* — в том числе и делом собственного познания и совершенствования, которым мы еще не занимались по существу. Это тот язык, на котором заговорят *культурные* российские политики, экономисты, бизнесмены, просто работающие в разных сферах жизни люди. Они не будут подобно иным нынешним мучительно подыскивать эпитеты, сравнения и иностранные слова для выражения своих мыслей и чувств. Они заговорят просто и откровенно и будут объясняться в любви столь же дельным языком («Я Вас люблю, хоть я бешусь...»), каким станут говорить с экрана об «экономическом положении страны», то есть: «как государство богатеет... и почему не нужно золота ему, когда *простой продукт* имеет...»

Когда в недавней книжечке о необходимости платить налоги я прочитал: «Я не ропщу, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги...» (А. С. Пушкин), — то прежде всего подивился не безвкусию ее составителей, а тому, что фраза Пушкина и в этой сугубо прагматической книжечке, необходимой государству для выколачивания денег из своих граждан, звучит вовсе не чужестранно и несет в себе вместе с легкой иронией здравую и *глубоко нравственную* мысль, верную на все времена. Налоги надо платить! Ибо боги отказали нам в «сладкой участи» пренебрегать своими земными делами и обязанностями. Вот отдай Богу богово, а кесарю (государству) кесарево. Дальше так и просится что-то из современного телеролика: «Заплати налоги и спи спокойно!» Только последнее звучит вульгарно, панибратски и даже почти хамски, вроде угрозы от рэкетира. А Пушкин — о том же! — говорит

языком культурным, соединяя религию с экономикой и деньги с моралью. Это и есть задача всякой истинной культуры: гармония разнородных понятий, а не вражда.

Идеал русской литературы (Великой Русской Литературы) *нравственный* — слышу со всех сторон. Это говорят и те, кто искренне любит Толстого и Достоевского. И те, кто считает, что наша литература повинна в излишнем морализаторстве, в «персте указующем», что она недостаточное внимание уделяла *эстетической* стороне искусства. Но я решительно не понимаю: о чем идет речь? Можно ли говорить о том, что наша литература *более нравственна*, чем прочие: английская и французская, например? С другой стороны, можно ли согласиться, что русская литература *менее эстетична* (то есть художественно состоятельна), чем все прочие? Элементарные аналогии обнаруживают элементарную нелепость самой постановки вопроса. *Свое* понимание нравственности, как и *свое* понимание эстетического совершенства, присуще каждой национальной культуре. «Эмиль» Руссо и «Джен Эйр» Шарлотты Бронте — такие же нравственные и эстетически состоятельные произведения, как и «Капитанская дочка» и «Анна Каренина». Вопрос в том, каким образом эти понятия (мораль и красота) соединяются, что их интегрирует.

Вот здесь и стоит говорить об *особости*. Быть может, открытием для защитников (и хулителей) *особой нравственной роли* русской литературы будет тот очевидный факт, что русский нравственный идеал более склоняется в эстетическую область, а не наоборот. Из летописей известно, что послы князя Владимира Святого были пленены как раз *красотой* византийского богослужения, что и стало одним из решающих стимулов принятия Русью христианства. Одной из важнейших причин бегства русских старообрядцев из мира была убежденность, что мир во власти антихриста стал *нечист*, то есть осквернен. Из мира исчезла *лепота*, то есть красота. Крупный этнограф Дмитрий Зеленин писал, что русское понятие «нравственной святости» возникло из более древнего понятия «абсолютной чистоты». «Все святое не только устрашает и отпугивает всякого рода нечисть, но вместе и поглощает, говоря точнее, уничтожает такую нечисть. Так, одна капля святой воды может освятить и очистить целую кадку меда или масла, испоганенную упавшею туда мышью» (Избранные статьи по духовной культуре. М., 1994). Пушкинский Гринев постоянно соотносит свои понятия о чести с красотой поступка. Ему прежде всего омерзительны и кровавый карнавал ряженого «императора» Пугачева, и подлое низкопоклонство Швабрина. Достоевский: «Мир спасет красота...» Изображение религиозных скорбей и праздников в «Лете Господнем» Ивана Шмелева восхищает прежде всего красотой, благолепием... И откуда взялась эта мысль об эстетической ущербности русской культуры?

Не оттуда ли, откуда рождается и страсть писать простые и здравые понятия с прописных букв — для вящей значительности, что ли... Но — нам вовсе нет необходимости заботиться о своей Китайской стене... Нам просто надо чаще дышать воздухом нашей культуры.



ЛАВКА БУКИНИСТА

Роберт ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. М., «Прогресс». [Б. г.].
Тир. 150 000 экз.

Сочинитель взял на себя труд восстановить единство, может быть, никогда и не существовавшее. И хотя в мифах, пересказанных Грейвсом, выделены основные мифологемы, даны варианты и приведена подробная библиография, это скорее художественное произведение, чем научная работа. В те же годы хотел воссоздать свод русских былин — и не успел этого сделать — Н. Заболоцкий. Нужда в эпосе характеризует дарование обоих поэтов, которых по ошибке считают лириками.

Жан РЕЙ. ГОРОД ВЕЛИКОГО СТРАХА. Обнинск, «Титул», 1992.
Тир. 100 000 экз.

Хотя фантастические и детективные рассказы, созданные в пределах «черной» литературы, снискали ему известность, лучшая его книга, без сомнения, роман «Мальпертуй». История о страшном доме, наполненном причудливыми обитателями, в конце концов оказывающимися античными богами, что не умерли, а существуют рядом с людьми, прочитывается как аллегория нашей культуры.

Луи ПОВЕЛЬ, Жак БЕРЖЬЕ. УТРО МАГОВ. Посвящение в фантастический реализм. Киев, «София», 1994. Тираж не указан.

Без этого внушительного тома не было бы ни «Маятника Фуко» Умберто Эко, ни десятков прочих популярных и беллетристических книг. Но сочинение Повеля и Бержье в отличие от книг, рожденных им, надо бы перечитывать как можно чаще. И не потому, что все факты, упомянутые здесь, сразу и не запомнишь. Рассказывая об оккультизме, Атлантиде или Гурджиеве, авторы ведут речь не об отдельных тайнах истории, они размышляют о жизни, прелестной до тех пор, пока не утратила таинственности: «Жизнь Человека оправдывается только усилием, даже несчастным, для того, чтобы лучше понять. А лучше понять — значит лучше участвовать. Чем больше я понимаю, тем больше я люблю, потому что все, что понятно, — хорошо». Тут настоящая причина появления теории относительности Эйнштейна и теории полой земли, повлиявшей на Гитлера.

Роберт ИРВИН. АРАБСКИЙ КОШМАР. М., «Глас/Планета», 1995.
Тир. 25 000 экз.

На страницах то возникают, то исчезают вновь такие странные персонажи, как Фатима Смертоносная, Кошачий Отец, Зулейка или Шикк, левая половина которого живет в Африке, и потому он одновременно ужасен и несчастен: «...хотя есть он может правой рукой, задницу в арабских странах можно подтирать только левой. Так предписано правилами этикета, поэтому Шикк непрестанно ищет мужчин, дабы поработить их в их сновидениях и заставить выполнить за него это дело». Пересказывать сюжет романа, состоящего из череды снов, нет смысла, ибо внешние впечатления — только фабула сна, а сюжет его — сам сновидец. Каждый поймет роман по своему.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КЛАДБИЩА ПЕТЕРБУРГА. Справочник-путеводитель. СПб., Издательство Чернышева, 1993. Тир. 10 000 экз.

Прогулка по кладбищу — жанр, давно вышедший из моды, возрождать его вряд ли следует, а вот взглянуть, как менялось отношение к смерти, какие воздвигали надгробия и что на них выводили, стоит.

Аз тысяща семь сот двадцать девята лета
В 28 ноября жителем стал света.
А год, месяца семь сот был сорок четвертый,
13 июля, как вкусил я смерти.
В Голландии живота я тогда лишился,
Когда дел отечеству полезных учился,
При российском министре с братом, что в середине
Зде же лежит погребен в день и час единый.

Фрагмент силлабической эпитафии более говорит не об усопшем, а о стихотворной практике XVIII века. Двустипшие же, отметившее могилу человека, причастного кровельному ремеслу, звучит так двусмысленно, что вместо благоговейной серьезности рождает ироническую улыбку:

Я крыл и храмы и дворцы,
Простите, братия отцы.

Рид ГРАЧЕВ. НИЧЕЙ БРАТ. М., «Слово». [Б. г.]. Тир. 5000 экз.

«Интеллигенция, считающая свои заслуги количеством пережитых бед, есть моральный банкрот — она ничего не знает, кроме себя, но и из своего опыта не способна извлечь никаких освобождающих выводов», — слова, написанные еще в шестидесятые годы и должные бы устареть, уйти вместе с прошедшим временем, вдруг оказались актуальными. Нарисован точный словесный портрет «шестидесятников». Но сейчас, когда его ровесники подсчитывают старые синяки и получают запоздалые премии, сам Рид Грачев уже не относится ни к какому поколению. Силою обстоятельств он выброшен из литературы. И все-таки поразившая его болезнь имеет, кроме физических, и социальные корни: в России не публикующийся писатель лишен возможности влиять на чужие умы, и оттого страдает его собственный разум.

Давид САМОЙЛОВ. В КРУГУ СЕБЯ. Вильнюс—Москва, «VIMO», 1993. Тир. 5000 экз.

Насколько сомайловские «Памятные записки» крупнее его поэзии, настолько шуточные стихи и проза, опубликованные в сборнике, мельче ее. Кларна Ваас, Ссална Ваас, М. Вошкэ и созвучные с ними герои и героини должны были бы остаться в частных бумагах и устных преданиях. Издатели и составитель ошиблись, обрекая их печатному бытию. Единственное, что искупает выход книги,— ее оформление.

СЛОВАРЬ ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНО-БЛАТНОГО ЖАРГОНА. Речевой и графический портрет советской тюрьмы. [Б. м.], «Края Москвы», 1992. Тир. 50 000 экз.

Книгу стоит рекомендовать в качестве учебного пособия журналистам, желающим расширить словарный запас, бизнесменам, планирующим дальнейшую карьеру, а также политикам, устремленным в будущее. Интерес представляют и толкование жаргонных слов и выражений, и расшифровки аббревиатур, каталог татуировок и словарь народно-блатных топонимов Ленинграда и Ленинградской области. А пословица: «Подохни ты сегодня, а я — завтра», — взятая из раздела с поговорками и прибаутками, формулирует тот социальный идеал, что никак не желают сформулировать государственные идеологи.

Жан МАРЭ. О МОЕЙ ЖИЗНИ. М., ТПФ «Союзтеатр», 1994. Тир. 10 000 экз.

Внятный пример того, как разнятся жизнь мемуариста и образ жизни, воссозданный в мемуарах. Центральный эпизод — любовный роман Жана Марэ и Жана Кокто — лишь часть судьбы актера (тем более что обращенные к Марэ стихи, опубликованные в приложении, показывают: Кокто — стихотворец слабый, но с претензиями).

Б. ФИЛЕВСКИЙ



От редакции. В рецензии Л. Володарской на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса» (№ 7 с. г.) искажена фамилия автора. Приносим свои извинения.

Уважаемые читатели!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 1999 ГОД

Стоимость подписки на первое полугодие (индекс 73293) — 105 рублей,
на один месяц — 17 руб. 50 коп.,
на три месяца — 52 руб. 50 коп.
плюс надбавка местных отделений связи.

Вы также можете оформить подписку сразу на год. В этом случае предоставляется существенная скидка.

Стоимость годовой подписки (индекс 72375) — 210 рублей плюс надбавка местных отделений связи.

Ф.СП-1	МС РФ ГПС (Госпочтамт) АБОНЕМЕНТ на <u>журнал</u> ОКТЯБРЬ <u>газету</u> (наименование издания)	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">73293</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">(Индекс издания)</td> </tr> </table>	73293	(Индекс издания)																						
73293																										
(Индекс издания)																										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 10%;">Количество комплектов:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>		Количество комплектов:																							
	Количество комплектов:																									
	на 1999 год по месяцам																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">7</td><td style="width: 5%;">8</td><td style="width: 5%;">9</td><td style="width: 5%;">10</td><td style="width: 5%;">11</td><td style="width: 5%;">12</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
	Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес) _____																									
	Кому _____ (фамилия, инициалы)																									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ПВ</td> <td style="text-align: center;">место</td> <td style="text-align: center;">ли-тер</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						ПВ	место	ли-тер			ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА на <u>журнал</u> <u>газету</u> (Индекс издания)														
ПВ	место	ли-тер																								
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">73293</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">(Индекс издания)</td> </tr> </table>	73293	(Индекс издания)																						
73293																										
(Индекс издания)																										
	ОКТЯБРЬ																									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Стоимость</td> <td style="width: 15%;">подписки пере-адресовки</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;">руб руб.</td> <td style="width: 15%;">Количество комплектов:</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>	Стоимость	подписки пере-адресовки		руб руб.	Количество комплектов:																				
Стоимость	подписки пере-адресовки		руб руб.	Количество комплектов:																						
	на 1999 год по месяцам																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">7</td><td style="width: 5%;">8</td><td style="width: 5%;">9</td><td style="width: 5%;">10</td><td style="width: 5%;">11</td><td style="width: 5%;">12</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
	Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес) _____																									
	Кому _____ (фамилия, инициалы)																									

Москвичи и жители Подмосковья могут оформить подписку непосредственно в редакции (ул. «Правды», д. 11/13) по льготной цене:

**стоимость подписки на первое полугодие — 90 рублей,
на один месяц — 15 руб.,
на три месяца — 45 руб.**

В редакции также можно будет заказать очередной номер журнала по 15 рублей за экземпляр.

Если вы пожелаете оформить годовую подписку, то получите еще одну льготу:

стоимость годовой подписки — 174 рубля.

Телефон для справок: 214-31-23.

Читайте в девятом и десятом номерах

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА

**«ПРИЗВАНИЕ РЮРИКОВИЧЕЙ,
ИЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЗАГАДКА РОССИИ».**

«Жизнь природы, пока человек не вмешивается в нее со своим видением бытия, развивается гармонично, в соответствии с естественными законами; жизнь людских сообществ, строящаяся по произволу поводырствующего разума монархов, президентов, премьеров, вождей и «отцов народов», олигархических кланов, жаждущих власти, напротив, вроде бы не только не подпадает под понятие гармонии, но кажется прямо-таки сотканной из непримиримых (хотя, впрочем, тысячелетиями уживающихся вместе) противоречий, как если бы Творец, создававший ее (на чем настаивают теологи, да и недалеко отходят от них в своих «реалистических ревностях» историки и философы), и в самом деле не знал, что и для чего творит — ради забавы, насмешки или благоденствия; да, жизнь людских сообществ, если верхоглядно или со специальной (тронно-исходной) заданностью смотреть на нее, действительно-таки не подпадает под понятие гармонии, и остается загадкой, каким образом человечеству все еще удастся сохранять некую, пусть даже бутафорскую вроде бы, целостность в мире бесконечных раздоров, войн, нашествий, духовных и экономических экспансий, направленных на истребление наций, народов и государств, наконец, в мире религиозных междуусобиц, кровавого дележа богатства, славы, власти и всеглобального порабощения».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 1999 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя**
загадка России. Конец второй книги. Книга третья.

Павел БАСИГЕСКИЙ. **Гражданин мира.** Повесть.

Юрий БУЙДА. **Сумма одиночества.** Рассказы.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Купол.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Золото гоблынов.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Любви́нный интерес.** Роман, фрагмент романа.

Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

С. А. ТОЛСТАЯ. **Моя жизнь.** Записки.

Леонид ФИЛАТОВ. **Лизистрата.** Народная комедия.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

А. Ф. ЛОСЕВ. **Дневник 1914 года.**

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.